

**СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**



ОТРАЖЕНИЯ

Первые опыты художественного перевода

Альманах

Выпуск 11

Редакторы и составители:
К. С. Корконосенко, О. В. Матвиенко

Санкт-Петербург — Донецк
2021

УДК 82-822=03
ББК 84(0)
О-862

Ответственная за выпуск А. В. Кузьмина

С предложениями и пожеланиями обращаться по адресу:

Донецк, 83001, ул. Университетская, 24. ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», кафедра зарубежной литературы. Матвиенко О. В.

Тексты для публикации можно также направлять по электронной почте kmlkf@list.ru или на адрес редактора сборника matvizar@gmail.com. Присланные материалы не возвращаются и не рецензируются.

Издание носит некоммерческий характер и не поступает в продажу.



Проект реализован при поддержке Института перевода в Москве и Российского общества преподавателей русского языка и литературы

Рецензенты:

В. Е. Багно, член-корреспондент РАН, научный руководитель ИРЛИ РАН

В. И. Теркулов, д. филол. н., проф. кафедры языкознания и русского языка
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

Печатается по решению ученого совета факультета иностранных языков ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», протокол № 9 от 24.11.2021 г.

О-862 **Отражения. Первые опыты художественного перевода:**
Альманах. Вып. 11. Ред. и сост. К. С. Корконосенко,
О. В. Матвиенко; [отв. за выпуск А. В. Кузьмина]. СПб.; Донецк,
2021. 216 с.

В очередном выпуске сборника «Отражения» представлены лучшие переводы мировой литературной классики и современной литературы, выполненные победителями Международного конкурса начинающих переводчиков им. Э. Л. Линецкой (2016 г. и 2020 г.), который проводится Институтом русской литературы (Пушкинский Дом) в Петербурге. Кроме того, здесь опубликованы переводы, выполненные студентами и преподавателями Донецкого национального университета.

УДК 82-822=03
ББК 84(0)

ISBN 978-5-6045236-4-3

© Союз писателей Санкт-Петербурга, 2021
© Донецкий национальный университет, 2021
© Корконосенко К. С., Матвиенко О. В.,
составление, 2021

**Посвящается светлой памяти Михаила Давидовича Яснова (1946–2020) –
Мастера, Учителя, Человека**

От составителя

Дорогой читатель!

Представляем Вашему вниманию очередной, одиннадцатый выпуск переводческого альманаха «Отражения». Мы посвящаем его памяти Михаила Давидовича Яснова (1946–2020) — волшебника детской поэзии, непревзойденного переводчика с французского, бессменного председателя французской секции конкурса переводов им. Э. Л. Линецкой...

Вспоминаю свой первый визит в Пушкинский Дом в 2015 г. и встречу с М. Д. Ясновым. Мастер принял привезенные в подарок выпуски «Отражений», с интересом их листал, подробно расспрашивал обо всем: преподавании зарубежной литературы в вузе, состоянии дел с художественным переводом, о жизни и настроениях моего родного Донбасса... Эта встреча теперь воспринимается как символическая эстафета, посвящение в традицию — и благословение нашего совместного с Пушкинским Домом издательского проекта.

Одной из задач «Отражений» было опубликовать весь имеющийся архив Международного конкурса начинающих переводчиков им. Э. Л. Линецкой. В этот раз мы предоставили страницы победителям 2016-го и 2020-го гг. Конкурс, который ежегодно проводится под эгидой Пушкинского Дома в Санкт-Петербурге и популяризирует классические традиции Петербургской (Ленинградской) школы перевода, объединил в виртуальном русскоязычном пространстве людей, увлеченных художественным переводом. Приятно отметить, что география участников конкурса и соответственно альманаха «Отражения» ширится с каждым новым выпуском; авторы присылают свои работы отовсюду, от Западной Европы до Дальнего Востока, от Санкт-Петербурга до Донецка. Благодаря конкурсу «Отражения» регулярно пополняются, по выражению классика, «хорошими и разными» переводами с английского, немецкого, французского, испанского, итальянского, венгерского, китайского. Публикуя лучшие переводы иностранной поэзии и прозы, надеемся, что читатели смогут обогатить свое представление о классической и современной словесности, порадоваться удачным переводческим решениям.

Рубрика «В переводческой мастерской» предлагает ознакомиться с талантливыми переводами постоянных участников и многократных победителей конкурса им. Э. Л. Линецкой. Это Ольга Комарова из Воронежа, работающая с итальянской, испанской и английской прозой, и Игорь Волокитин с Алтая, сделавший подборку переводов польской поэтессы Виславы Шимборской.

Кроме того, в разделе «Опыт художественного перевода в Донбассе» мы публикуем лучшие тексты региональных переводчиков. Конечно, до настоящей школы нам, донбассовцам, предстоит еще расти и расти. Но первые шаги — самые трудные и самые значимые.

Пользуясь случаем, напоминаю, что редколлегия ждет Ваши переводческие подборки. То, что Вы переводите «для себя», чему посвящаете свободное время и отдаете душевные силы. Тексты, которые Вы шлифуете и совершенствуете, добываясь идеального звучания, безупречного стиля.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Приятного Вам чтения!

Ольга Матвиенко

Слово о конкурсе

Каждый год, начиная с 2009-го, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) совместно с Союзом писателей Санкт-Петербурга проводит Конкурс начинающих переводчиков имени Э. Л. Линецкой. С идеей организации такого конкурса выступили ученики Эльги Львовны, бывшие участники ее семинара — М. Д. Яснов, Т. Н. Чернышева, В. Е. Багно и В. Н. Андреев.

Конкурс проводится при финансовой поддержке Института перевода в Москве, при поддержке Союза писателей Санкт-Петербурга и Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ); цель его — сохранение традиций отечественной школы художественного перевода, а задача — на конкурсной основе отметить лучшие переводы поэзии и прозы, выполненные начинающими переводчиками на материале предложенных заданий.

Для участников Конкурса не устанавливается ограничений по возрасту, гражданству и месту жительства. Начинать может себя всякий переводчик, делающий первые шаги в художественном переводе, не состоящий ни в каком профессиональном союзе и имеющий не более трех переводных публикаций.

Диапазон заданий год от года меняется: на конкурс предлагаются тексты на английском, венгерском, испанском, итальянском, китайском, немецком и французском языках по номинациям Проза и Поэзия. Информация о конкурсе помещается на сайт Пушкинского Дома (pushkinskiydom.ru), а потом, уже без усилий оргкомитета, передается по социальным сетям.

Награждения в Большом зале Пушкинского Дома проходят и торжественно, и весело. Это праздник для всех любителей перевода. Отраднo, что на этом празднике завязывается общение лауреатов и с профессиональными переводчиками, и между собой, и этот заинтересованный диалог продолжается и потом, выходя за рамки конкурсных заданий.

Один из результатов такого общения — издание лучших переводов 2016 и 2020 годов в нынешнем выпуске «Отражений» под двойным грифом — Союза писателей Санкт-Петербурга и Донецкого национального университета. В 2020 году подведение итогов не удалось провести вживую — из-за ограничительных мер в Петербурге. Михаил Давидович Яснов успел оценить работы в номинации «французская поэзия», а уже через несколько дней его не стало... Зато в 2021 году закрытие Конкурса впервые прошло в гибридном формате — с прямой трансляцией из Пушкинского Дома. Пишу об этом с гордостью, ведь уже на следующий день в городе снова объявили локдаун, а мы успели собраться! И несколько постоянных участников в добавок к призам и дипломам получили и бумажный выпуск альманаха со своими опубликованными переводами.

Мне было и лестно, и приятно участвовать в подготовке этого выпуска вместе с Ольгой Матвиенко, многократной победительницей Конкурса начинающих переводчиков. Это уже третий выпуск «Отражений», который мы готовим сообща. Уверен, такая совместная работа продолжится и в будущем, 12-й выпуск «Отражений» не за горами!

*Кирилл Корконосенко,
эксперт и организатор Конкурса начинающих переводчиков*

**МАТЕРИАЛЫ КОНКУРСА
НАЧИНАЮЩИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ
ИМ. Э. Л. ЛИНЕЦКОЙ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2016, 2020)**



ПЕРЕВОДЫ С АНГЛИЙСКОГО



АНГЛИЙСКАЯ ПРОЗА

James Joyce (1882–1941). *Araby*

North Richmond Street, being blind, was a quiet street except at the hour when the Christian Brothers' School set the boys free. An uninhabited house of two storeys stood at the blind end, detached from its neighbours in a square ground. The other houses of the street, conscious of decent lives within them, gazed at one another with brown imperturbable faces.

The former tenant of our house, a priest, had died in the back drawing-room. Air, musty from having been long enclosed, hung in all the rooms, and the waste room behind the kitchen was littered with old useless papers. Among these I found a few paper-covered books, the pages of which were curled and damp: *The Abbot*, by Walter Scott, *The Devout Communicant*, and *The Memoirs of Vidocq*. I liked the last best because its leaves were yellow. The wild garden behind the house contained a central apple-tree and a few straggling bushes, under one of which I found the late tenant's rusty bicycle-pump. He had been a very charitable priest; in his will he had left all his money to institutions and the furniture of his house to his sister.

When the short days of winter came, dusk fell before we had well eaten our dinners. When we met in the street the houses had grown sombre. The space of sky above us was the colour of ever-changing violet and towards it the lamps of the street lifted their feeble lanterns. The cold air stung us and we played till our bodies glowed. Our shouts echoed in the silent street. The career of our play brought us through the dark muddy lanes behind the houses, where we ran the gauntlet of the rough tribes from the cottages, to the back doors of the dark dripping gardens where odours arose from the ashpits, to the dark odorous stables where a coachman smoothed and combed the horse or shook music from the buckled harness. When we returned to the street, light from the kitchen windows had filled the areas. If my uncle was seen turning the corner, we hid in the shadow until we had seen him safely housed. Or if Mangan's sister came out on the doorstep to call her brother in to his tea, we watched her from our shadow peer up and down the street. We waited to see whether she would remain or go in and, if she remained, we left our shadow and walked up to Mangan's steps resignedly. She was waiting for us, her figure defined by the light from the half-opened door. Her brother always teased her before he obeyed, and I stood by the railings looking at her. Her dress swung as she moved her body, and the soft rope of her hair tossed from side to side.

Every morning I lay on the floor in the front parlour watching her door. The blind was pulled down to within an inch of the sash so that I could not be seen. When she came out on the doorstep my heart leaped. I ran to the hall, seized my books and followed her. I kept her brown figure always in my eye and, when we came near the point at which our ways diverged, I quickened my pace and passed

her. This happened morning after morning. I had never spoken to her, except for a few casual words, and yet her name was like a summons to all my foolish blood.

Her image accompanied me even in places the most hostile to romance. On Saturday evenings when my aunt went marketing I had to go to carry some of the parcels. We walked through the flaring streets, jostled by drunken men and bargaining women, amid the curses of labourers, the shrill litanies of shop-boys who stood on guard by the barrels of pigs' cheeks, the nasal chanting of street-singers, who sang a come-all-you about O'Donovan Rossa, or a ballad about the troubles in our native land. These noises converged in a single sensation of life for me: I imagined that I bore my chalice safely through a throng of foes. Her name sprang to my lips at moments in strange prayers and praises which I myself did not understand. My eyes were often full of tears (I could not tell why) and at times a flood from my heart seemed to pour itself out into my bosom. I thought little of the future. I did not know whether I would ever speak to her or not or, if I spoke to her, how I could tell her of my confused adoration. But my body was like a harp and her words and gestures were like fingers running upon the wires.

One evening I went into the back drawing-room in which the priest had died. It was a dark rainy evening and there was no sound in the house. Through one of the broken panes I heard the rain impinge upon the earth, the fine incessant needles of water playing in the sodden beds. Some distant lamp or lighted window gleamed below me. I was thankful that I could see so little. All my senses seemed to desire to veil themselves and, feeling that I was about to slip from them, I pressed the palms of my hands together until they trembled, murmuring: 'O love! O love!' many times.

At last she spoke to me. When she addressed the first words to me I was so confused that I did not know what to answer. She asked me was I going to Araby. I forgot whether I answered yes or no. It would be a splendid bazaar; she said she would love to go.

'And why can't you?' I asked.

While she spoke she turned a silver bracelet round and round her wrist. She could not go, she said, because there would be a retreat that week in her convent. Her brother and two other boys were fighting for their caps, and I was alone at the railings. She held one of the spikes, bowing her head towards me. The light from the lamp opposite our door caught the white curve of her neck, lit up her hair that rested there and, falling, lit up the hand upon the railing. It fell over one side of her dress and caught the white border of a petticoat, just visible as she stood at ease.

'It's well for you,' she said.

'If I go,' I said, 'I will bring you something.'

What innumerable follies laid waste my waking and sleeping thoughts after that evening! I wished to annihilate the tedious intervening days. I chafed against the work of school. At night in my bedroom and by day in the classroom her image came between me and the page I strove to read. The syllables of the word Araby were called to me through the silence in which my soul luxuriated and cast an Eastern enchantment over me. I asked for leave to go to the bazaar on Saturday

night. My aunt was surprised, and hoped it was not some Freemason affair. I answered few questions in class. I watched my master's face pass from amiability to sternness; he hoped I was not beginning to idle. I could not call my wandering thoughts together. I had hardly any patience with the serious work of life which, now that it stood between me and my desire, seemed to me child's play, ugly monotonous child's play.

On Saturday morning I reminded my uncle that I wished to go to the bazaar in the evening. He was fussing at the hallstand, looking for the hat-brush, and answered me curtly: 'Yes, boy, I know.'

As he was in the hall I could not go into the front parlour and lie at the window. I felt the house in bad humour and walked slowly towards the school. The air was pitilessly raw and already my heart misgave me.

When I came home to dinner my uncle had not yet been home. Still it was early. I sat staring at the clock for some time and, when its ticking began to irritate me, I left the room. I mounted the staircase and gained the upper part of the house. The high, cold, empty, gloomy rooms liberated me and I went from room to room singing. From the front window I saw my companions playing below in the street. Their cries reached me weakened and indistinct and, leaning my forehead against the cool glass, I looked over at the dark house where she lived. I may have stood there for an hour, seeing nothing but the brown-clad figure cast by my imagination, touched discreetly by the lamplight at the curved neck, at the hand upon the railings and at the border below the dress.

When I came downstairs again I found Mrs Mercer sitting at the fire. She was an old, garrulous woman, a pawnbroker's widow, who collected used stamps for some pious purpose. I had to endure the gossip of the tea-table. The meal was prolonged beyond an hour and still my uncle did not come. Mrs Mercer stood up to go: she was sorry she couldn't wait any longer, but it was after eight o'clock and she did not like to be out late, as the night air was bad for her. When she had gone I began to walk up and down the room, clenching my fists. My aunt said:

'I'm afraid you may put off your bazaar for this night of Our Lord.'

At nine o'clock I heard my uncle's latchkey in the hall door. I heard him talking to himself and heard the hallstand rocking when it had received the weight of his overcoat. I could interpret these signs. When he was midway through his dinner I asked him to give me the money to go to the bazaar. He had forgotten.

'The people are in bed and after their first sleep now,' he said.

I did not smile. My aunt said to him energetically:

'Can't you give him the money and let him go? You've kept him late enough as it is.'

My uncle said he was very sorry he had forgotten. He said he believed in the old saying: 'All work and no play makes Jack a dull boy.' He asked me where I was going and, when I told him a second time, he asked me did I know The Arab's Farewell to his Steed. When I left the kitchen he was about to recite the opening lines of the piece to my aunt.

I held a florin tightly in my hand as I strode down Buckingham Street towards the station. The sight of the streets thronged with buyers and glaring with gas recalled to me the purpose of my journey. I took my seat in a third-class carriage of a deserted train. After an intolerable delay the train moved out of the station slowly. It crept onward among ruinous houses and over the twinkling river. At Westland Row Station a crowd of people pressed to the carriage doors; but the porters moved them back, saying that it was a special train for the bazaar. I remained alone in the bare carriage. In a few minutes the train drew up beside an improvised wooden platform. I passed out on to the road and saw by the lighted dial of a clock that it was ten minutes to ten. In front of me was a large building which displayed the magical name.

I could not find any sixpenny entrance and, fearing that the bazaar would be closed, I passed in quickly through a turnstile, handing a shilling to a weary-looking man. I found myself in a big hall girded at half its height by a gallery. Nearly all the stalls were closed and the greater part of the hall was in darkness. I recognized a silence like that which pervades a church after a service. I walked into the centre of the bazaar timidly. A few people were gathered about the stalls which were still open. Before a curtain, over which the words *Café Chantant* were written in coloured lamps, two men were counting money on a salver. I listened to the fall of the coins.

Remembering with difficulty why I had come, I went over to one of the stalls and examined porcelain vases and flowered tea-sets. At the door of the stall a young lady was talking and laughing with two young gentlemen. I remarked their English accents and listened vaguely to their conversation.

'O, I never said such a thing!'

'O, but you did!'

'O, but I didn't!'

'Didn't she say that?'

'Yes. I heard her.'

'O, there's a... fib!'

Observing me, the young lady came over and asked me did I wish to buy anything. The tone of her voice was not encouraging; she seemed to have spoken to me out of a sense of duty. I looked humbly at the great jars that stood like eastern guards at either side of the dark entrance to the stall and murmured:

'No, thank you.'

The young lady changed the position of one of the vases and went back to the two young men. They began to talk of the same subject. Once or twice the young lady glanced at me over her shoulder.

I lingered before her stall, though I knew my stay was useless, to make my interest in her wares seem the more real. Then I turned away slowly and walked down the middle of the bazaar. I allowed the two pennies to fall against the sixpence in my pocket. I heard a voice call from one end of the gallery that the light was out. The upper part of the hall was now completely dark.

Gazing up into the darkness I saw myself as a creature driven and derided by vanity; and my eyes burned with anguish and anger.

Джеймс Джойс (1882–1941). Аравия

Норд Ричмонд-Стрит, заканчиваясь тупиком, была тихой улочкой, за исключением часа, когда Христианская братская школа отпускала мальчишек с уроков. Брошенный двухэтажный дом, стоявший в конце улицы, расположился поодаль от своих соседей по участку. Бурые фасады других домов на этой улице невозмутимо смотрели друг на друга, словно были уверены в том, сколь порядочная жизнь течёт в их стенах.

Последний хозяин нашего жилища, священник, умер в гостиной в задней части дома. От долгого простоя воздух в комнатах был затхлым, а чулан за кухней был завален старыми ненужными бумагами. Среди них я отыскал пару книг в тонких бумажных обложках, влажные страницы которых пошли волнами от сырости: «Аббат» Вальтера Скотта, «Благочестивый коммуникант» и «Записки Видока». Больше всего мне понравилась последняя, из-за её пожелтевших страниц. В центре запустелого сада, позади дома, высилась яблоня, а вокруг неё, в полном беспорядке, росли кусты, под одним из которых я обнаружил проржавевший велосипедный насос, который, по-видимому, принадлежал прошлому владельцу. Этому священнику была не чужда благотворительность. Он даже завещал всё своё имущество государству. За исключением домашней мебели, которая отошла его сестре.

Когда дни, с приходом зимы, становились короче, солнце заходило едва мы успевали отужинать. Когда мы встречались на улице, дома уже были погружены во мрак. Осколок неба над нашими головами постепенно окрашивался в фиолетовый, а уличные фонари воздевали к нему свой едва уловимый свет. Прохладный воздух жалил кожу, но мы играли, пока тела могли сохранять тепло. Эхо разносило наши возгласы по безлюдной молчаливой улице. По ходу игры, минуя темные и грязные проулки, преодолев все препятствия суровых туземцев, обитающих в местных коттеджах, мы оказывались у калиток отсыревших садов, где в воздухе витал аромат золы из костра, заглядывали в пахучие конюшни, где кучер гладил и вычёсывал конскую гриву или мелодично позвякивал сбруей. К тому времени, как мы возвращались на улицу, свет из кухонных окон уже заполнял округу. Вдруг завидев дядю, заворачивавшего за угол, мы скрывались в тени, покуда он не заходил в дом. А если сестра Мэнгэна выходила на порог, чтобы позвать своего братца на чай, мы, не покидая спасительной тени, выжидали, пока она оглядывала улицу. Мы ждали, что же она предпримет: останется стоять на пороге или зайдёт внутрь. И если она оставалась, мы выходили из тени и покорно шли к крыльцу. Её силуэт,

очерченный светом из приоткрытой двери, ожидал нас на пороге. Её братец всегда пытался поддразнить сестру перед тем, как послушаться, а я, тем временем, стоял у перил и смотрел на неё. Подол её платья покачивался при каждом движении, как и её коса, из стороны в сторону.

Каждое утро я устраивался на полу гостиной, наблюдая за её дверью. Штора была плотно задвинута, оставляя лишь дюймовую щелку, через которую невозможно было меня заметить. И когда она показывалась на пороге, моё сердце трепетало. Я мчался в прихожую, хватал учебники и неотступно следовал за ней. Я не сводил глаз с её смуглой фигурки и, дойдя до места, где нам было суждено разойтись, я ускорял шаг и проходил мимо. И так день за днём. Я никогда не решался заговорить с ней. Разве что бросить пару обыденных фраз. Но одно её имя было способно заставить вскипеть кровь в моих венах.

Образ её преследовал меня даже там, где, казалось бы, и думать не стоит о романтике. Субботними вечерами, когда моя тётя уходила за покупками, я шёл с ней, тащась позади с пакетами. Мы прохаживались по залитым светом улицам, расталкивая подвыпивших мужчин и поглощённых торговлей женщин, под аккомпанемент ругающихся работяг, пронзительные крики мальчишек-посыльных, стороживших бочонки со свиными щеками, под песни гнусавых уличных музыкантов, исполнявших народную песню про О'Донована Россу или баллады, повествующие о горестях нашей родины. И весь этот шум сливался для меня в единое ощущение жизни: я представлял, словно доношу чашу святых даров сквозь полчища врагов. Порой её имя срывалось с моих уст в каких-то молитвах и одах, смысл которых не доходил даже до меня самого. Глаза мои наполнялись слезами (я не знал почему) и иногда казалось, словно сердце испускает какие-то волны, заливавшие всю грудь. Я не думал о будущем. Я не знал, решусь ли я когда-нибудь заговорить с ней, а если и решусь, то как мне выразить ей свои чувства, своё восхищение. Но моё тело было арфой, по струнам которой, словно пальцы, пробежали её слова и жесты.

Как-то, тёмным дождливым вечером, я вошёл в гостиную, где когда-то простился с жизнью священник. В доме стояла полнейшая тишина. Я слышал, как за разбитым стеклом дождь колотит по земле, его иглы неустанно вонзаются в и без того раскисшие грядки. Где-то внизу, в отдалении, мерцала лампа или лился свет из окна. Я был рад, что вижу так немного. Казалось, что мои чувства угасают и когда я почти потерял их, я вжал ладони друг в друга с такой силой, что они задрожали, и принялся раз за разом шептать: «Любимая! Любимая!».

А однажды она наконец заговорила со мной. И я не знал что сказать, что ответить на её первые слова в мой адрес — так я был сбит с толку. Она поинтересовалась, не собираюсь ли я в «Аравию». Я уже и не вспомню, что я тогда ответил. Она говорила, что это будет прелестный базар, что она бы очень хотела сходить туда.

«И почему бы тебе не сходить?» — спросил я.

Пока мы говорили, она не переставая крутила серебряный браслет на запястье. Она ответила, что не может, ведь на этой неделе в монастыре будет говение. Её брат затеял свару из-за шапок с парой мальчишек, и у перил я стоял один. Она держалась за перекладину, наклонив голову ко мне. Свет фонаря двери напротив выхватывал из тени бледный изгиб её шеи, освещая её пряди и руку, мирно покоившуюся на перилах. Свет падал и на платье, открывая взору краешек её нижней юбки, видневшийся, когда она стояла неподвижно.

«Хорошо тебе», — сказала она.

«Если я пойду, я и тебе чего-нибудь там захвачу», — ответил я.

Сколько же наивных мечтаний крутилось в моей голове с того вечера, не давая мне покоя ни днём, ни ночью. Я желал, чтобы дни этого тягостного ожидания, оставшиеся до ярмарки, просто испарились, вместе с нестерпимо долгими занятиями в школе. Пытаясь читать книгу перед сном или в школе, на страницах я видел один лишь её образ. И звучащее в тишине моей души, слово «Аравия» накладывало на меня свои восточные чары. Я отпросился у тёти на базар, который должен был состояться в субботу вечером. Она была весьма удивлена и надеялась, что это не какая-нибудь франкмасонская затея. В классе я отвечал неважно. Приветливое лицо учителя быстро сменилось гримасой строгости. Он надеялся, что я не обленился в конец. Но мысли мои, разбредясь в разные стороны, совсем не хотели сходиться обратно. У меня не хватало терпения на важные ежедневные заботы, ведь теперь, отделяя меня от моих мечтаний, они казались глупой и нудной детской возней.

В субботу утром я решил напомнить дяде о своем желании вечером сходить на базар. Он хлопотал у вешалки, пытаясь отыскать щетку и коротко бросил:

«Да-да, парень, я знаю».

Так как он был в прихожей, я не мог устроиться на своём обычном месте у окна в гостиной. В никудышнем настроении я вышел из дома и неспешно направился к школе. Погода была откровенно паршивой, а сердцем я уже чувствовал беду.

Вернувшись домой к обеду, я не застал там дядю. Хотя было еще довольно рано. Я уселся, поглядывая на часы и, спустя какое-то время, когда их тиканье стало сводить с ума, вышел из комнаты. По ступенькам я вскарабкался на верхний этаж. Под высокими потолками этих холодных, мрачных и пустых комнат мне стало легче, и я стал бродить из одной комнаты в другую, напевая. Через окно я увидел, что мои товарищи играют на улице. Из-за расстояния я слышал лишь нечеткие и тихие обрывки их криков. Прильнув лбом к холодному окну, я взглянул на дом, где она жила. Я, должно быть, простоял там целый час, не увидев ничего кроме её фигурки в коричневом платье, созданной моим разыгравшимся воображением, бледного изгиба шеи, каймы юбки и руки на перилах, выхваченной фонарём.

Спустившись вниз, я обнаружил Миссис Мерсер, сидящую у камина. Это была болтливая старуха, жена оценщика, собиравшая использованные марки ради какой-то богоугодной цели. Пришлось мне терпеть её светские сплетни. Ужин решили отложить на часок, а дядя так и не пришел. Миссис Мерсер встала с места и направилась домой: она бы с радостью подождала ещё, но было уже за восемь и не пристало ей гулять столь поздно, да и ночной воздух ей вреден. Когда она ушла, я стал бродить по комнате, стиснув кулаки. Тётя сказала:

«Боюсь, тебе придется отложить свой поход на базар до завтра».

В девять я услышал, как ключ дяди врезается в замочную скважину, как он бормочет себе под нос, как покачивается вешалка под весом его пальто. Пока он ужинал, я попросил у него денег, чтобы пойти на базар. А он забыл.

«Все нормальные люди уже в постели, первый сон досматривают», — сказал он.

Я даже не улыбнулся. А тётя принялась энергично заступаться:

«Да дай ты ему эти деньги и отпусти. Он и так весь вечер тебя прождал».

Дядя очень сожалел, что забыл, сказал, что верит в старую поговорку «Умей дело делать — умей и позабавиться». Он спросил, куда я собирался идти и после того, как я во второй раз всё рассказал, поинтересовался, не знаю ли я «Прощание араба с конём». Когда я уходил с кухни, он начал декламировать тёте первые строки этого стиха.

Крепко сжимая флорин в руке, я зашагал по Бакингом Стрит в направлении станции. Улицы, наводненные покупателями и залитые светом газовых ламп, напомнили мне о цели моего путешествия. Я сел в вагон третьего класса. Поезд был абсолютно пустым. И наконец, после невыносимо долгой задержки, поезд медленно отбыл от перрона. Он медленно тянулся мимо разрушенных домов, прокладывая свой путь над сверкающей гладью реки. На станции Вестланд Роу куча людей столпилась у дверей вагона, но проводник заставил их отступить, объяснив, что поезд предназначался исключительно для посетителей ярмарки. Так что в вагоне я по-прежнему остался один. Спустя несколько минут, поезд сбавил ход и остановился у импровизированной деревянной платформы. Сойдя на перрон, я увидел светящийся циферблат, стрелки которого сообщали, что до десяти часов осталось всего десять минут. А прямо передо мной выросло огромное здание, на фасаде которого я увидел то буквы, из которых складывалось то самое волшебное название.

Не найдя входа за шесть пенсов, и в страхе, что базар вот-вот закроется, я быстро проскочил через турникет, протянув уставшему портеру шиллинг. Я оказался в большом холле, который на половине высоты был опоясан галереей. Ставни почти всех прилавков уже были закрыты, а большая часть помещения погрузилась во мрак. Тишина здесь напомнила мне церковь после службы. Несмело, я побрёл в центр базара. Вокруг ещё

открытых прилавков собрались люди. У занавеса, где из разноцветных лампочек было выложено название «Café Chantant», двое мужчин пересчитывали деньги. А я стал вслушиваться в звон монет.

Я едва смог вспомнить, зачем я сюда пришел и, опомнившись, направился к одному из прилавков, где красовались фарфоровые вазы и украшенные цветами чайные сервизы. У дверей стояла девушка, которая, посмеиваясь, болтала с двумя джентльменами. Заприметив их акцент, я невольно стал вслушиваться в их разговор.

«Эй, я такого не говорила!»

«Нет, говорила!»

«Нет, не говорила!»

«Говорила она или нет?»

«Да, я всё слышал».

«Ах вы... врун!»

Заприметив меня, девушка подошла и спросила, не желаю ли я что-нибудь приобрести. Но тон её не воодушевлял. Кажется, говорила она со мной только из необходимости. Я смущенно взглянул на два огромных кувшина, стоявших по бокам прилавка, словно часовые, и пробормотал:

«Нет, благодарю».

Девушка передвинула одну вазочку и вернулась к своим собеседникам. Они продолжили обсуждать ту же тему. Пару раз девушка поглядывала на меня через плечо.

Я задержался у прилавка, делая вид, что его ассортимент меня хоть сколько-то интересует, хотя знал, что смысла в этом не было. А затем развернулся и медленно побрёл к центру базара. Я уронил свои два пенса в карман, где уже лежала шестипенсовая монета. С дальнего конца галереи я услышал голос, возвещавший о том, что свет выключается. И теперь верхнюю часть помещения объяла тьма.

Взглянув в темноту, я осознал, что я лишь божья тварь, влекомая тщеславием и осмеянная; глаза мои обожгло от обиды и злобы.

Перевод Михаила Верецука (tanker227@yandex.ru). В 2016 г. был студентом Марийского государственного университета (г. Йошкар-Ола, респ. Марий Эл), факультет иностранных языков, специальность: Педагогическое образование (иностранные языки). Сейчас — студент НИУ ВШЭ, г. Москва, Школа иностранных языков, специальность: Лингвистика: иностранный язык и межкультурная коммуникация. Благодаря конкурсу им. Э. Л. Линецкой решил попробовать себя в переводе и увлекся им. Работал как устным, так и письменным переводчиком, но к художественному переводу испытывает с тех пор особый трепет и почтение. Перевод занял второе место в номинации «английская проза» (2016).

Дж. Джойс (1882–1941). Аравия

Норт Ричмонд Стрит, заканчивающаяся тупиком, была тихой улочкой, если не считать того часа, когда по окончании уроков в школе Христианских братьев мальчиков отпускали на волю. В тупике несколько поодаль от

соседей на квадратной лужайке стоял опустелый двухэтажный дом. Другие дома на этой улице невозмутимо взирали друг на друга своими бурными фасадами, будто гордились благопристойностью жизней, которые вели их обитатели.

Бывший владелец нашего дома, священник, умер в задней гостиной. Так как помещения давно не проветривались, во всех комнатах повис затхлый воздух, а чулан за кухней был завален старыми ненужными бумагами. Среди них я отыскал несколько книг в бумажной обложке: страницы в этих книгах отсырели и скрутились в трубочку. Среди книг я нашёл «Аббата» Вальтера Скота, «Благочестивого причастника» и «Воспомятая Видока». Больше всего мне нравилась последняя книга, так как страницы в ней были жёлтого цвета. В запущенном саду за домом посередине росло яблоневое дерево, а вокруг боролись за выживание разные кусты, под одним из которых я нашёл ржавый велосипедный насос, принадлежавший прежнему хозяину дома. Это был очень милосердный и щедрый священник: все свои деньги он оставил различным учреждениям, а всю мебель — своей сестре.

Когда наступили короткие зимние деньки, сумерки спускались ещё до того, как мы успевали закончить наш обед. Когда мы встречались, дома стояли мрачные и хмурые. Небесный свод над нами был всё сгущавшегося тёмно-лилового цвета, и фонари устремляли в высь свои тусклые огоньки. Холод пощипывал нас, и мы играли до тех пор, пока всё тело не начинало гореть. Крики наши эхом разносились по тихой улице. Сюжет игры заводил нас на грязные задворки, где мы скрывались от обстрела диких туземцев, обитавших в хижинах, чтобы потом очутиться у задних калиток сырых огородов, где сильно пахло золой, или у грязной зловонной конюшни, в которой кучер поглаживал и расчёсывал лошадей или мелодично брэнчал украшенной пряжками сбруей. Когда мы возвращались на улицу, кухонный свет пронизывал тёмное пространство. Едва заметив появившегося из-за угла дядю, мы прятались в тени и ждали, пока он наконец не зайдёт в дом. Или если сестра Мангана выходила на порог, чтобы позвать его к чаю, мы наблюдали из той же тени, как она оглядывает всю улицу. Мы ждали, уйдёт она или останется. Если оставалась, мы выходили из тени и покорно шли к дому. Она ждала нас на пороге, и её очертания были видны в свете полуоткрытой входной двери. Брат всё время немного дразнил её, прежде чем покориться, а я смотрел на неё из-за ограды. Её платье парило в воздухе, когда она двигалась, и мягкий жгут косы колебался из стороны в сторону.

Каждое утро я лежал на полу в передней гостиной и наблюдал за её дверью. Штора была опущена и буквально дюйм не доходила до подоконника, так что с улицы меня не было видно. Едва она выходила на порог, моё сердце начинало биться сильнее. Я выбегал в прихожую, хватал книжки, выходил на улицу и следовал за ней. Я никогда не выпускал из виду её коричневую фигурку, а когда мы доходили до места, где наши пути должны были разойтись, я ускорял шаг и обгонял её. Это происходило из

дня в день каждое утро. Я никогда не говорил с ней, за исключением нескольких фраз, произносимых из вежливости, но её имя, будоражившее мою глупую кровь, было точно призывом сдаться.

Её образ сопровождал меня даже в местах, абсолютно враждебных романтике. Субботними вечерами я должен был помогать тётке, которая делала покупки на рынке, тащить сумки. Мы шли по ярко освещённым улицам, в толкотне пьяниц и торговков, под чертыханье рабочих, пронзительные возгласы лавочных мальчишек, охранявших бочки со свинными потрохами, гнусавое распевание народной баллады про О'Донована Россе или о горестях нашей Родины. Все эти шумы сливались для меня в единое ощущение жизни: мне чудилось, будто я несущий потир сквозь скопище врагов. Её имя срывалось с губ в виде каких-то странных молитв и гимнов, значение которых я и сам не понимал. Мои глаза были полны слёз (не могу объяснить этого), и порой мне казалось, что волна поднимается из сердца и разливается по всей груди. Я мало думал о будущем. Я не знал, обмолвлюсь ли с ней когда-нибудь хоть словом, и если да, то как я расскажу ей о своём постыдном (для меня) поклонении. Тело моё было подобно арфе, а её слова и жесты были подобны пальцам, скользящим по струнам.

Как-то вечером я зашёл в заднюю гостиную, в которой умер священник. То был мрачный дождливый вечер, и в доме царила совершенная тишина. Через одно из разбитых окон я слышал, как дождевики падают на землю, точно водяные иглы прыгали на грядки. Позади меня был свет, исходящий от какого-то далёкого фонаря или горящего окна. Я был благодарен за то, что так мало вижу. Все мои чувства, казалось, хотели исчезнуть, и понимая, что они вот-вот выскользнут из меня, я крепко стиснул ладони, пока не стало больно, и без конца бормотал: «Любовь моя! Любовь моя!».

Наконец мы с ней поговорили. Когда она первыми несколькими фразами обратилась ко мне, я был так смущён, что даже не знал, что ответить. Она спросила, пойду ли я на благотворительный базар «Аравия». Не помню, что я ответил: да или нет. Она сказала, что это будет восхитительный базар, она очень бы хотела туда пойти.

«А почему бы тогда не пойти?» — спросил я.

Она всё время крутила серебряный браслет на запястье, пока говорила. Она не сможет пойти, так как на той неделе в её монастырской школе будут говеть. Её брат и двое других мальчишек сражались за шапки, так что я один стоял у ограды. Она держалась за один из её прутьев, чуть наклонившись ко мне. Свет фонаря, стоявшего напротив её дома, выхватывал из тьмы белый изгиб её шеи, локоны, лежавшие на плечах, и руку, держащую прут ограды. Свет падал на одну из сторон её платья и выхватывал из тени белый краешек нижней юбки, чуть заметный, когда она стояла, не двигаясь.

«Счастливый», — сказала она обо мне.

«Если пойду на базар, я обязательно что-нибудь куплю для Вас», — сказал я в ответ.

Какие бесчисленные мечты кружились в моем сознании во сне и наяву после того вечера! Как мне хотелось, чтобы утомительные дни ожидания исчезли раз и навсегда. Я еле выносил все эти школьные занятия. Вечерами в спальне и днём в классе её образ вставал между мной и страницей, которую я пытался прочесть. Слово «Аравия» звучало мне в тишине, в которой нежилась моя душа, будто околдованная восточными чарами. Я умолял разрешить мне пойти на базар субботним вечером. Моя тётя была сильно удивлена и переживала, не какая-нибудь ли это франкмасонская затея. В классе я мог ответить на очень небольшое количество вопросов. Я видел, как с лица учителя исчезала приветливость и как лицо становилось всё суровее. Он спросил, не вздумал ли я лениться. Я не мог собрать мои блуждающие мысли воедино. Я едва ли проявлял терпение при выполнении каких-нибудь серьёзных житейских дел, которые теперь, в момент, когда они стояли между мной и моими желаниями, казались мне детской игрой, ужасно нудной детской игрой.

Субботним утром я напомнил дяде, что собирался вечером пойти на базар. Он суетился у вешалки в прихожей, отчаянно пытаясь найти щётку для шляп, и отрывисто ответил: «Да, мой мальчик, я знаю».

Так как дядя был в прихожей, я не мог лечь в передней гостиной, чтобы наблюдать из окна. Я покинул дом в дурном расположении духа и побрёл в школу. Было ужасно промозгло, и я сердцем чувствовал, что что-то не так.

Когда я вернулся домой к обеду, дяди ещё не было. Было ещё слишком рано. Присев, я разглядывал часы какое-то время, и, когда их тиканье начало меня раздражать, я вышел из комнаты. Я взобрался по лестнице и оказался в верхней части дома. В высоких, холодных, пустых, мрачных комнатах мне стало легче, я ходил из одной комнаты в другую, напевая. В окно я увидел, как играют мои друзья. Слабыми и невнятными доходили их крики до меня. Прижавшим лбом к холодному стеклу, я смотрел на мрачный дом, в котором она жила. Возможно, я простоял так целый час, не видя ничего, кроме коричневой фигурки, нарисованной моим воображением, до которой слегка дотрагивался свет фонаря, вырывая из тьмы изгиб её шеи, руку на ограде и краешек юбки.

Когда я вновь спустился вниз, я заметил миссис Мерсер, сидящую у камина. Это была болтливая пожилая дама, вдова хозяина ломбарда, которая для какой-то богоугодной цели собирала гашёные марки. Мне пришлось сидеть за чайным столиком и выслушивать слухи и сплетни. Обед уже на час задерживался, а дяди всё не было. Миссис Мерсер встала, чтобы пойти: дескать, она просит прощения, что не может больше ждать, но уже восемь часов, и она не хочет выйти на улицу поздно, так как ночной воздух вреден ей. После того как она ушла, я ходил по комнате взад и вперёд, крепко стиснув руки в кулаки. Тётя сказала мне: «Боюсь, тебе придётся отложить свой поход на базар до воскресения».

В девять часов я услышал, как дядин ключ поворачивается в замочной скважине. Я слышал, как дядя говорил сам с собой и как содрогнулась

вешалка, ощутившая всю тяжесть его пальто. Я знал, что всё это значит. Во время ужина я попросил его дать мне денег и отпустить на базар. Он забыл об этом.

«Добрые люди уже в кроватях видят первый сон», — ответил он мне.

Я даже не улыбнулся. Тётя энергично вступилась: «Ты не можешь просто дать ему денег и отпустить на базар? Ты и так заставил его слишком долго ждать».

Дядя попросил прощения за то, что забыл о своём обещании, отметив, что верит в старинную поговорку: «Мешай дело с бездельем, проживешь век с весельем». Он спросил, куда я иду, и, когда я во второй раз сказал ему о базаре, он спросил, не знаю ли я «Прощанье араба с конём». Когда я вышел из кухни, он декламировал первые строки стихотворения тётке.

Я крепко зажал в руке флорин, пока шёл по Бакингом Стрит к вокзалу. Улицы, заполонённые покупателями, в ярком свете газовых фонарей, напомнили о цели моего похода. Я сел в пустой вагон третьего класса. После трудно выносимой задержки поезд очень медленно тронулся с вокзала. Состав буквально крался среди разрушенных домов и по мосту через мерцающую реку. На станции Уэстленд-Роу толпа осадила двери вагона, но кондуктора никого не пускали, говоря, что это специальный поезд, идёт он только до базара. Я остался совсем один в пустом вагоне. Через несколько минут поезд остановился у импровизированной деревянной платформы. Я вышел на дорогу и, взглянув на освещённый циферблат часов, понял, что было без десяти десять. Передо мной было огромное здание с чарующей вывеской.

Я никак не мог найти шесть пенсов на вход и, боясь, что базар могут закрыть, быстро проскочил через турникет, протянув шиллинг человеку с усталым лицом. Я оказался в огромном зале, на половине высоты которого опоясывала галерея. Практически все лавки были закрыты, да и большая часть зала пребывала во тьме. Тишина показалась мне похожей на ту, что наполняет церковь по окончании службы. Я неуверенно прошагал в центральную часть базара. Несколько человек толпились у лавок, которые всё ещё были открыты. Перед занавесом, на котором цветными лампочками было составлено «*Café Chantant*», двое мужчин считали деньги на подносе. Я слышал звон падающих монет.

С трудом вспомнив, зачем я пришёл, я подошёл к одной из лавок и начал разглядывать фарфоровые вазы и чайные наборы, украшенные цветами. На пороге лавки юная девушка беседовала с двумя молодыми джентльменами. Я заметил, что они говорят с британским акцентом, и невольно прислушался к их разговору.

— О, я никогда ничего такого не говорила.

— О нет, говорили.

— О нет, не говорила.

— Она ведь говорила что-то такое?

— Да, я сам слышал.

— О, всё это...ложь.

Увидев меня, девушка подошла ко мне и спросила, не хотел бы я купить что-нибудь. Тон её был неприветлив, казалось, она заговорила со мной только потому, что была обязана. Я робко взглянул на огромные кувшины, точно стражи Востока, охранявшие вход в лавку по обе стороны, и пробормотал: «Нет, спасибо».

Юная леди передвинула одну из ваз и вернулась к молодым джентльменам. Они вновь начали говорить о том же самом. Раз или два юная леди оглянулась на меня.

Я задержался у витрины (хотя и знал, что это бесполезно), чтобы моя заинтересованность её товарами выглядела реалистичнее. Затем я медленно повернулся и побрёл обратно в центральную часть базара. Я уронил два пенни на дно кармана, где лежал шестипенсовик. Я услышал возглас с другого конца галереи, что сейчас выключат свет. Верхняя часть зала стала абсолютно тёмной.

Вглядываясь в темноту, я увидел себя существом, движимым и посрамленным собственным тщеславием. Взгляд мой был полон тоски и гнева.

Перевод Никиты Плюснина (n.plyusnin@spbi.ru), выпускника бакалавриата факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, в настоящее время студента второго курса магистерской программы «Исследования Балтийских и Северных стран». Художественный перевод с различных языков (английский, немецкий, скандинавские языки) является одним из самых страстных увлечений. Перевод занял третье место в номинации «английская проза» (2016).

Liam O'Flaherty. The Wave

The cliff was two hundred feet high. It sloped outwards from its grassy summit, along ten feet of brown gravel, down one hundred and seventy feet of grey limestone, giant slabs piled horizontally with large slits between the slabs where sea-birds nested. The outward slope came to a round point twenty feet from the base and there the cliff sank inwards, making a dark cavern along the cliffs face into the bowels of the earth. At the mouth the cavern was twenty feet high and at the rear its roof touched its floor, a flat rock that stretched from the base of the cliff to the sea. The cavern had a black-slate roof and at the rear there was a large streak of yellow gravel.

The cliff was semicircular. And at each corner a black jagged reef jutted from its base out into the sea. Between the reefs there was a little cove. But the sea did not reach to the semicircle of the cliff. Only its waves swept up from the deep over the flat rock to the cliff. The sea had eaten up the part of the cliff that rested on that semicircle of flat rock, during thousands of years of battle.

It was nearly high tide. But the sea moved so violently that the two reefs bared with each receding wave until they seemed to be long shafts of black steel sunk into the bowels of the ocean. Their thick manes of red seaweed were sucked stiff by each fleeing wave. The waves came towering into the cove across both reefs, confusedly, meeting midway in the cove, chasing one another, climbing over one another's backs, spitting savage columns of green and white water vertically, when their arched manes clashed. In one monstrous stride they crossed the flat rock. Then with a yawning sound they swelled up midway in the cliff. There was a mighty roar as they struck the cliff and rebounded. Then they sank again, dishevelled masses of green and white, hurrying backward. They rose and fell from the bosom of the ocean, like the heavy breathing of a gluttonous giant.

Then the tide reached its highest point and there was a pause. The waves hardly made any noise as they struck the cliff, and they drivelled backwards slowly. The trough of the sea between the reefs was convulsing like water in a shaken glass. The cliffs face was black, drenched with brine, that streamed from its base, each tiny rivulet noisy in the sudden silence. Then the silence broke. The sea rushed back. With the speed and motion of a bladder bursting it sprang backwards. Then it rose upwards in a concave wall, from reef to reef, across the cove, along whose bottom the slimy weeds of the ocean depths were visible through the thin sheet of water left to cover the sea's nakedness by the fury of the rising wave.

For a moment the wave stood motionless, beautifully wild and immense. Its base in front was ragged uneven and scratched with white foam, like the debris strewn around a just-constructed pyramid. Then a belt of dark blue ran from end to end across its face, sinking inwards in a perfect curve. Then came a wider belt, a green belt peppered with white spots. Then the wave's head curved outwards, arched like the neck of an angry swan. That curved head was a fathom deep, of a transparent green, with a rim of milky white. And to the rear, great lumps of water buttressed it, thousands of tons of water in each lump.

The wave advanced, slowly at first, with a rumbling sound. That awful mass of water advanced simultaneously from end to end of its length without breaking a ripple on its ice-smooth breast. But from its summit a shower of driven foam arose, from east to west, and fell backwards on to the shoulders of the sea, that came behind the wave in mountains pushing it to the cliff. The giant cliff looked small in front of that moving wall of blue and green and white water.

Then there was a roar. The wave sprang upwards to its full height. Its crest broke and points of water stuck out, curving downwards like fangs. It seemed to bend its head as it hurled forward to ram the cliff. In a moment the wave and the cliff had disappeared in a tumbling mass of white water that yawned and hissed and roared. The whole semicircle of the cliff vanished in the white water and the foam mist that rose above it blotting out the sky. Just for one moment it was thus. In another moment the broken wave had fallen, flying to the sea in a thousand rushing fragments. The cliff appeared again.

But a great black mouth had opened in its face, at the centre, above the cavern. The cliffs face stood ajar, as if it yawned, tired of battle. The mouth was

vertical in the cliff, like a ten-foot wedge stuck upwards from the edge of the cavern. Then the cliff tried to close the mouth. It pressed in on it from either side. But it did not close. The sides fell inwards and the mouth grew wider. The whole centre of the cliff broke loose at the top and swayed forward like a tree being felled. There was a noise like rising thunder. Black dust rose from the tottering cliff through the falling foam of the wave. Then with a soft splash the whole centre of the cliff collapsed into the cavern. The sides caved in with another splash. A wall of grey dust arose shutting out everything. The rumbling of moving rocks came through the cloud of dust. Then the cloud rose and went inland.

The cliff had disappeared. The land sloped down to the edge of the cove. Huge rocks stood awkwardly on the very brink of the flat rock, with the rim of the sea playing between them. Smoke was rising from the fallen cliff. And the wave had disappeared. Already another one was gathering in the cove. Лайам

Лайам О'Флаэрти. Волна

Утёс возвышался над землёй на двести футов. Его отвесная верхушка была покрыта зеленью, под ней было десять футов бурого гравия, а ниже — сто семьдесят футов серого известняка. Гигантские известняковые пласты громоздились друг на друге, образуя широкие щели, где гнездились морские птицы. Внешний скат утёса закруглялся в двадцати футах от основания. В этом месте на лице утёса образовался тёмный провал, ведущий в недра земли. Провал достигал двадцати футов в высоту, снизу его свод упирался в основание утёса, плоскую скалу, что вытягивалась в сторону моря. Свод грота был из чёрного сланца, а на дне его была большая полоса жёлтого гравия.

Утёс представлял собой полукруг. С обеих сторон его были чёрные зубчатые рифы, уходящие в море. Между ними был небольшой грот. Но море не достигало этого места. Лишь волны иногда перехлёстывали плоскую скалу. За тысячелетия борьбы море выгрызло часть утёса на этом полукруге.

Почти наступил прилив. Но море так бушевало, что с каждой отступающей волной оба рифа обнажались, пока они не стали напоминать длинные тёмные стальные лезвия, пронзающие нутро океана. Их рыжие гривы водорослей опадали всё сильнее после очередной волны. Волны вздымались между двух рифов, беспорядочно сталкиваясь, преследуя друг друга, забираясь друг другу на плечи. Белая и зелёная вода бешено выстреливала вверх после каждого столкновения. Одним чудовищным броском они пересекли плоскую скалу. Затем со стоном преодолели половину пути до утёса. Раздался могучий рёв, когда они ударили в утёс и отступили. Всклокоченной бело-зелёной массой они спешили назад. Они поднимались и опускались, словно грудь тяжело дышащего прожорливого великана.

Прилив достиг наивысшей точки, и наступила пауза. Без единого звука волны бились об утёс и медленно уходили назад. Ключок моря между рифами содрогался, будто вода в стакане, который трясли. Лицо утёса было черно, пропитано солёной водой, стекавшей вниз. Во внезапно наступившей тишине был слышен шум каждой капли. Затем тишина была нарушена. Море спешно возвращалось. Со скоростью и стремительностью лопнувшего воздушного шара оно несло обратно. Вогнутой стеной оно поднялось, от одного рифа до другого, по всей ширине грота. На обнажённом яростью надвигающейся волны дне теперь была видна склизкая масса водорослей, прикрытая лишь тонким слоем воды.

На мгновение волна застыла, невообразимо огромная и преисполненная дикой красоты. Спереди её основание было испещрено пятнами белой пены, будто руинами, раскинувшимися на фоне только что построенной пирамиды. Над основанием был слой тёмно-синей воды, простирающийся по всей ширине волны и плавно изгибающийся кверху. Ещё выше был более широкий слой зелёной воды, усеянный белыми пятнами. Верхушка волны выгибалась вперёд, будто шея рассерженного лебедя. Она была глубиной в морскую сажень, зеленовато-прозрачная, с молочно-белым ореолом. Сзади её подпирала огромные тысячетонные массы воды.

Волна приближалась, поначалу медленно, с грохотом. Невероятная масса воды двигалась равномерно по всей своей ширине, зеркально гладкая, без единой ряби. С верхушки волны по всей её длине слетала пена, опадая назад, на могучие плечи моря, что следовало позади и толкало волну вперёд на утёс. Огромная скала словно уменьшилась на фоне этой двигающейся сине-зелёно-белой стены воды.

Раздался рёв. Волна поднялась на полную высоту. Её плюмаж распался. Стекающая вода походила на клыки. Она будто бы наклонила голову и бросилась на утёс. Через мгновение и волна и утёс исчезли в бурлящей массе побелевшей воды, стонущей, шипящей, ревушей. Полукруг утёса полностью исчез в белизне воды и пенной дымки, что поднялась над ним, закрыв небо. Лишь на мгновение. В следующий момент сломленная волна пала, возвращаясь в море тысячей стремительных частиц. Утёс снова появился.

На его лице, в центре, над пещерой, открылся большой чёрный рот. Лицо утёса было распахнуто, словно в зевке, как будто от усталости после сражения. Рот представлял собой вертикальную расселину, будто в скалу был вбит десятифутовый клин. Утёс попытался закрыть рот. Он давил на него с обеих сторон. Но у него не получилось. Стороны обрушились внутрь, и рот стал ещё шире. Вся центральная часть утёса обломилась и рухнула вперёд, будто срубленное дерево. Послышался шум, словно от надвигающейся грозы. Сквозь опадающую пену от шатающегося утёса поднялось облако чёрной пыли. Затем, с тихим плеском, весь центр утёса обвалился внутрь грота. Снова плеск, и бока его осели следом. Серая туча пыли, поднимавшаяся над утёсом, накрыла всё непроницаемой пеленой. Только грохот движущихся

каменной доносился сквозь неё. Затем туча поднялась и двинулась вглубь суши.

Утёс исчез. По краям грота опадала земля. Огромные булыжники неустойчиво стояли на самом краю плоской скалы, и море слегка задевало пространство между ними. От павшего утёса поднимался дым. И волна исчезла. Но новая уже собиралась в гроте.

Перевод Юрия Котляра (kotlyar_u_98@bk.ru), студента 2 курса магистратуры Гуманитарного института СПбПУ Петра Великого, направление «Перевод и Межкультурная коммуникация», г. Санкт-Петербург. Перевод занял второе место в номинации «английская проза» (2020).

Лиам О’Флаэрти. Волна

Утес возвышался на двести футов. Скошенный выступ его нависал от самой вершины, где под слоем травы обнажался срез бурого гравия, венчавшего сто семьдесят футов серого известняка — нагромождение гигантских плит, в расщелинах которых гнездились морские птицы. Футах в двадцати от подножья стена утеса плавно уходила внутрь, открывая чернеющий провал куда-то в самые недра земли. Грот, просторный у входа, в глубину становился все уже и уже, пока его свод, выстланный черным сланцем с полосой желтого галечника понизу, не касался, наконец, плоской плиты, служившей утесу основанием и соединявшей его с морем.

В море утес вдавался полукругом. По обоим краям от него из воды выступали черные зубчатые рифы. Между ними образовалась маленькая бухта, но море все равно не могло достать утес. Лишь редкие волны, исторгнутые пучиной, прокатывались по плоскому камню, чтобы лизнуть основание скалы. За тысячи лет они только и смогли, что вылизать в ней грот.

Прилив уже почти поднялся, но море бурлило так, что, откатываясь, оголяло рифы, и те становились похожи на черные, отливающие сталью стволы деревьев, затопленных в океане. Каждая отхлынувшая волна жадно всасывала в себя их густые кроны из красных водорослей. Вернувшись обратно, волны переваливали с двух сторон через рифы в бухту, удивлялись, встречаясь на полпути к берегу, и тут же наперегонки устремлялись к нему, вскарабкиваясь друг другу на спины, громяхая и сталкиваясь вздыбленными гривами, яростно выплевывая вверх столбы зеленой и белой воды. Одним броском они перемахивали плоский камень, по дороге издавая утробный рев, и с грохотом разбивались об утес. Всклокоченная пенная масса опадала, отступала назад, на океанское дно, но лишь затем, чтобы возвращаться снова и снова, как дыхание ненасытного великана.

Когда прилив достиг высшей точки, все будто остановилось. Волны почти бесшумно ударились о скалу и медленно откатились. Вода в котловине между рифами мелко задрожала, точно в трясущемся стакане. Внезапно

воцарилось такое безмолвие, что стало слышно, как по черному намокшему лицу утеса слезами стекают струйки воды.

Тишина была недолгой. Молниеносно, как лопнувший пузырь, море отпрянуло назад и стало нарастать между рифами огромной вогнутой стеной, а сквозь тоненький слой воды, оставленный в бухте этой яростно восходящей волной, проступили во всей наготе склизкие донные водоросли.

Какую-то секунду волна стояла неподвижно — огромная, восхитительно дикая. Россыпи белой пены, словно обломки породы у подножья только что возведенной пирамиды, прикрывали ее основание спереди. Потом поперек волны пробежала иссиня черная полоса, задавая вздыбленной зелено-белой воде совершенный изгиб. Верхушка волны выгнулась, будто шея разгневанного лебедя, а сзади ее, изумрудную, с молочно-белой каймой, прозрачную на сажень в глубину, подпирали тысячетонные водяные бугры.

Медленно рокочущая волна покатила вперед. Водяная глыба наступала всей своей массой, гладкая, как стена льда. Ее гребень, протянувшийся от рифа до рифа, оставался незыблем, но за ним развевался пенный шлейф, уносимый назад, на запад, и опадавший среди мрачных валов, что толкали волну к утесу. Только что такой неприступный, теперь он, казалось, съезжился перед надвигающейся стеной трехцветной воды.

Раздался оглушительный рев. Волна встала во весь свой рост. Ее гребень надломился, словно склоняя голову перед броском, обнажил кривые водяные клыки и ринулся на таран утеса. И волну, и утес моментально поглотил хаос — грохот и шипение белой воды, облако пены, от которой на секунду затмило небо. Но уже через мгновение волна разлетелась тысячами водяных осколков и осыпалась в море. И вновь показался утес.

Однако теперь, прямо над гротом, открылась чернеющая десятифутовая пасть. Усталый утес словно зевал после битвы. Зевнув, он попытался сомкнуть челюсти, но ничего не вышло. Вместо этого его щеки вдруг ввалились внутрь, а рот стал еще шире. Вся центральная часть скалы от самой вершины разом ослабла и качнулась вперед, как подрубленное дерево. Нарастающий звук был подобен раскату грома. Сквозь еще опадающую водяную пену дрогнувший утес выбросил облако черной взвеси. Затем неожиданно мягко его центр осел внутрь грота. Следом обрушились боковые склоны. Серая стена каменной пыли заслонила собой все. Выпустив наружу чудовищный грохот обвала, какое-то время она еще клубилась, пока ветер не начал сносить пелену вглубь острова.

Утеса больше не было. Берег полого спускался к морю. По самому краю плоской плиты нелепо торчали останцы, вокруг которых играл прибой. Лишь легкая дымка напоминала об исчезнувшем утесе. И о волне. Вот только новая волна уже опять собиралась в бухте.

*Перевод Михаила Белоголовского (allistext@outlook.com), г. Екатеринбург.
Редактирует, переводит, любит письма. Перевод занял третье место в номинации «английская проза» (2020).*

Лиам О'Флаэрти. Волна

Утес был огромен. Вершина его поросла травой, чуть ниже протянулись десять футов бурой гальки, оканчивающиеся огромными плитами серого известняка, в щелях между которыми гнездились птицы. Внешний его склон оканчивался округлой вершиной в двадцати футах от основания. Здесь утес обнажал темную пещеру, уходящую глубоко в недра земли. У входа пещера достигала двадцати футов в высоту, внутри же потолок соприкасался с полом — плоской скалой, протянувшейся от подошвы холма к морю. Под угольно-черным потолком пещеры у противоположной от входа стены виднелся огромный пласт желтого булыжника.

С каждой стороны полукруглого утеса черная зубчатая скала своим основанием уходила в море. Между скал притаилась маленькая бухточка. Но море не достигало вершины утеса: волны омывали лишь его пологий склон. За тысячи лет жестоких схваток море поглотило часть утеса, покоившуюся на склоне.

Подступал прилив. Вода приближалась так неумолимо, что скалы обнажались с каждой убегающей волной, пока не стали походить на длинные стальные стержни, уходящие в пучины океана. Волны растрепали густые космы красных водорослей, громоздясь, подступали к скалам, сталкивались, словно догоняя, взбирались на могучие спины друг друга, вздымая гривы бело-зеленой пены. Одним могучим прыжком они преодолели пологую скалу и со стоном вздыбились почти у самого утеса. С грозным ревом волны врезались в утес и отступили. Море утихло вновь, спешно увлекая с собой зелено-белую кипень. Волны то вновь вздымались, то опадали словно дно океана было грудью могучего исполина.

Затем прилив достиг своей наивысшей точки, и все затихло. Волны, едва шумя, разбивались об утес и, что-то лопоча, бежали вспять. Меж скал море бурлило и кипело, словно исполин встряхивал огромный стакан с водой. Утес был черен, пропитан солью; вода стекала с подножья, и каждый крошечный ручей казался неожиданно шумным в наступившей тишине. Но вскоре вода стала отступать, нарушая ее. Потом она вновь поднялась изогнутой стеной, протянувшись от скалы к скале через всю бухту, на дне которой сквозь тонкую пелену воды, прикрывающую наготу моря, виднелись водоросли океанских глубин.

На секунду волна застыла неподвижно, прекрасная, необузданная, дикая стихия. У основания она была исцарапана белой пеной, походившей на мусор, разбросанный вокруг только что построенной пирамиды. Вскоре вдоль волны протянулась темно-синяя лента, образуя идеальный изгиб. Потом лента сменилась другой, зеленой, усеянной белыми пятнами. Затем волна изогнулась, напоминая рассерженного лебедя, готового напасть. Глубиной в сажень, она была прозрачно-зеленая, молочно-белая по краю, подпираемая тысячами тонн воды.

Волна надвигалась, сначала медленно, грохоча. Ужасная толща воды приближалась, и рябь на ее гладкой как лед груди была неподвижна. С ее вершины прямо на плечи моря обрушилась стена пены, пока буйные воды несли волну прямо к утесу. Прежде огромный, он теперь казался крошечным по сравнению с надвигающимся сине-зелено-белым валом.

Затем раздался рев. Волна поднялась прямо перед утесом. Из гребня, изгибаясь вниз, выросли белые клыки. Волна, казалось, склонила голову, готовясь протаранить утес. Мгновение спустя, волна и утес с ревом, стоном и шипением исчезли в бурлящей воде. На мгновение густой белый туман заслонил небо. Еще через мгновение волна обрушилась, разлетевшись на тысячи осколков. Утес еще стоял.

Но прямо над пещерой обнажилась огромная черная пасть. Скалы будто зевали, утомленные битвой. Пасть разрезала утес от вершины до основания, словно десятифутовый клин пронзал пещеру. Пасть уже не закрылась. Стороны утеса проваливались внутрь, и она лишь становилась шире. Затем обрушилась середина, качнувшись, словно срубленное дерево. Раздался шум нарастающего грома. Из пены волн поднималась черная пыль от падающего утеса. С тихим плеском весь он обвалился в пещеру. Серая пыль стеной заслоняла все вокруг. Сквозь облако пыли донесся грохот движущихся камней. Ветер поднял облако и унес его вглубь острова.

Утес исчез. Берег спускался к самому краю бухты. Огромные скалы причудливо застыли на самом краю плоской скалы, а между ними резвилось море. От поверженного утеса поднимался дым. Волна исчезла, уступая место той, что вот-вот должна была родиться в бухте.

Перевод Дарьи Мочаловой (mo4alova.dascha@yandex.ua), студентки 4 курса, направление «Лингвистика», профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур». В старших классах школы стала участвовать и побеждать в региональных конкурсах перевода для школьников. Обучалась художественному переводу по книге Норы Галь «Слово живое и мертвое». Перевод удостоен почетной грамоты конкурса в номинации «английская проза» (2020).

Лайэм О'Флаэрти. Волна

Скала была высотой двести футов. От покрытой растительностью вершины вниз спускались ярусы: сверху десять футов бурого камня, ниже — сто семьдесят футов серого известняка, гигантские плиты, взгроможденные одна на другую, с крупными щелями, в которых гнездились морские пернатые. Наружный склон заканчивался круглым отверстием в двадцати футах от основания: там в скале образовался крутой провал — темная пещера, которая опоясывала всю каменную гряду и уходила в недра земли. На входе высота пещеры достигала двадцати футов, а в глубине ее свод смыкался с полом — плоской плитой, простиравшейся от основания скалы

до самого моря. Пещерный свод был из черного сланца, а в глубине виднелась большая прожилка желтой породы.

Скала располагалась полукружьем. По краям черный зубчатый риф выдавался из основания в море. Между оконечностями рифа укрылась небольшая бухточка. Но само полукружье оставалось для моря недостижимым. Только волны, вздымаясь из пучин и перекатываясь через отмель, достигали скалы. В тысячелетней битве море поглотило ее часть, покоившуюся на плоском каменном полукружье.

Близился прилив. Но море так буйствовало, что два рифовых отрога обнажались с каждой отхлынувшей волной все сильнее, пока не превратились в длинные черные стальные винты, впившиеся в океанское нутро. Стоило волне отпрянуть, и густые их гривы из красных морских водорослей сразу становились жесткими. Волны обрушивались на бухточку с обоих отрогов, встречались посередине, преследовали и настигали одна другую с перекатами и переплесками, яростно плюясь вверх белесо-зеленоватыми струями, когда их извитым гривам случалось схлестнуться. Одним чудовищным рывком захватывали они отмель. Со звуком, напоминающим зевок, наливались и набухали, пока не становились высотой с полскалы. Потом ударяли о скалу с неистовым ревом и отпрядывали. И снова эти всклокоченные бело-зеленые массы воды убывали, спеша обратно. Они вздымались из океанских глубин и опускались, как тяжелое дыхание ненасытного исполина.

Затем прилив достиг высшей точки, наступила передышка. Волны бились о скалу почти беззвучно и медленно катили назад. Вода в бухточке между рифами колыхалась, как содержимое стакана при взбалтывании. Черная скальная гряда была насквозь просолена морской водой, брызжущей у ее основания крошечными струйками-ручейками, чье журчание стало особенно отчетливым посреди внезапной тишины. Но вот тишина оборвалась. Море устремилось обратно. Стремительно и неудержимо, как лопается пузырь, оно ринулось вспять. Взмыло вверх вогнутой стеной, от рифа до рифа, через всю бухту, на дне которой сквозь пелену отмели, прикрывающую морскую наготу от неудержимо растущей волны, виднелись глубоководные склизкие водоросли.

На мгновение волна застыла, прекрасная в своем неистовстве и громадности. Спереди она была неровной, рваной, с царапинами-зазубринами белой пены, похожими на обломки, разбросанные вокруг свежевоздвигнутой пирамиды. От края до края по всей поверхности волны простерлась темно-синяя полоса, ввинчиваясь вовнутрь безукоризненным изгибом. Затем возникла полоса пошире — зеленая, усеянная белыми пятнышками. Гребень волны выгнулся наружу и стал похож на шею рассерженного лебедя. Этот изогнутый гребень был глубиной в морскую сажень, прозрачно-зеленый, с молочно-белой каймой. А сзади уже напирали громадные валы, тысячи тонн воды в каждом.

Волна приближалась сперва медленно, с рокочущим звуком. Необозримая масса воды надвигалась одновременно из конца в конец по всей ширине бухточки; на ее гладкой, как лед, поверхности совсем не было ряби. Но вот с гребня брызнула скопившаяся пена и ливнем обрушилась на шедший следом с запада морской вал, который толкал эту гору-волну к скале. Гигантская скала казалась крохотной перед этой подвижной стеной из голубой, зеленой, белой воды.

Раздался оглушительный рев. Волна взвилась в полный рост. Гребень у нее разломился, вода хлынула вниз кривыми струями-клыками. Волна как будто набычилась и рванулась вперед, на таран скалы. Через мгновение обеих поглотил шипящий и ревуший водоворот. Полукружье скалы исчезло в белесом прибое; пенный туман, поднявшись над ними, застил небо. Но только на миг. В следующее мгновение волна разбилась и рухнула в море, разлетевшись тысячью стремительных осколков. Скала появилась снова.

Но на ее поверхности, над входом в пещеру, разверзся огромный черный провал. Скала словно широко зевнула, утомленная битвой. Провал был отвесным и походил на десятифутовый клин, забитый снизу вверх, через отверстие пещеры. Скала силилась сомкнуть зев. Она словно поднатужилась, свела скулы... Но тщетно. Бока у скалы ввалились, провал расширился. От скальной верхушки отделилась сердцевина и подалась вперед, как подрубленное дерево. Раздался шум, похожий на раскат грома. Скала зашаталась, черная пыль поднялась и смешалась с пеной новой волны. С тихим всплеском вся сердцевина скалы грузно просела в пещеру. Еще один всплеск — и обрушились склоны. Серая пыль поднялась стеной и закрыла все кругом. Сквозь пылевое облако донесся грохот пришедших в движение камней. Наконец облако поднялось в воздух и уплыло куда-то вглубь суши.

Скала исчезла. Теперь земля отлого спускалась к самому берегу бухты. Огромные обломки неуклюже громоздились на краю плоского полукружья, а между ними плескался прибой. Над рухнувшей скалой курился дымок. И волна тоже исчезла. Но ей на смену в бухте уже собиралась другая.

Перевод Ольги Матвиенко (matvizar@gmail.com), доцента кафедры зарубежной литературы Донецкого национального университета.

АНГЛИЙСКАЯ ПОЭЗИЯ

Wystan Hugh Auden. Who's Who

A shilling life will give you all the facts:
How Father beat him, how he ran away,
What were the struggles of his youth, what acts
Made him the greatest figure of his day;
Of how he fought, fished, hunted, worked all night,
Though giddy, climbed new mountains; named a sea;
Some of the last researchers even write
Love made him weep his pints like you and me.

With all his honours on, he sighed for one
Who, say astonished critics, lived at home;
Did little jobs about the house with skill
And nothing else; could whistle; would sit still
Or potter round the garden; answered some
Of his long marvellous letters but kept none.

Уистен Хью Оден. Кто есть кто

В грошовой книжке каждый факт учтён:
Как был отцом побит и как бежал,
Что закалило в юности, чем он
Себя навек в историю вписал.
Как вёл борьбу, работал на износ,
Дал морю имя, покорял хребты;
По самым свежим сведениям, слёз
Не избежал в любви, как я и ты.

Не всякий верит: он вздыхал с тоской
О ком-то, чьих желаний был предел —
Справляться с кругом повседневных дел,
Не более; беречь в душе покой,
Лелеять сад, порой писать ответ
Ему на письма — не храня их, нет.

Перевод Андрея Шабашова (andrju-sha@bk.ru). Родился в 1981 г. в Вологде, где и проживает. Окончил филологический факультет ВГПУ. Работает в библиотеке. В конкурсе начинающих переводчиков участвовал дважды — в 2015 и 2016 гг. На досуге занимается художественным переводом с английского и собственным творчеством. Перевод занял третье место в номинации «английская поэзия» (2016).

Dante Gabriel Rossetti.
The Honeysuckle

I plucked a honeysuckle where
The hedge on high is quick with thorn,
And climbing for the prize, was torn,
And fouled my feet in quag-water;
And by the thorns and by the wind
The blossom that I took was thinn'd,
And yet I found it sweet and fair.

Thence to a richer growth I came,
Where, nursed in mellow intercourse,
The honeysuckles sprang by scores,
Not harried like my single stem,
All virgin lamps of scent and dew.
So from my hand that first I threw,
Yet plucked not any more of them.

Данте Габриэль Россетти.
Жимолость

Я жимолости взял цветок
В живой ограде в вышине,
Приз нелегко достался мне:
Порвал одежду я, промок.
Шипы, шальные ветерки
Чуть обтрепали лепестки,
Но чудно пахнул мой цветок.

И вдруг нашёлся закуток,
Где жимолость сплела стеной
Побегов мощных сотни, — мой
Так жалок был и одинок,

Данте Габриэль Россетти.
Жимолость

Сорвав цвет жимолости нежной,
Растущей очень высоко,
Я поцарапался рукой
И вымазал в грязи одежду.
И хоть примят был ветром цвет,
И от шипов виднелся след,
Я любовался им, как прежде.

Но куст другой я разглядел,
Где сладко жимолость росла,
И не было цветам числа.
Мой цвет в сравнении бледнел
С их свежей юной красотой.
Я ж, выбросив его долой,
Срывать другие не посмел.

Перевод Анны Кувишиновой (kasatochka27@mail.ru). Живет в г. Волгодонске Ростовской области, дает частные уроки английского языка. Окончила Горловский институт иностранных языков, со студенчества увлекается переводом поэзии с английского и немецкого. Перевод занял первое место в номинации «английская поэзия» (2020).

Данте Габриэль Россетти (1828-1882).
Жимолость

Шипами жимолости я
Весь ободрался, но достал
Цветок с высокого куста,
И в грязь ногами угодил;
Цветок от ветра и шипов
Утратил свежесть лепестков
И всё же был мне очень мил.

Но дальше, в зарослях густых,
Десятками росли цветы,
Среди их пышной красоты,
Росы и аромата мой —

Где девственной красы кутёж.
Его я выбросил, и всё ж
Других не тронул... нет, не смог.

Перевод Веры Соломахиной (veroniquesvrn@yandex.ru). Окончила факультет романо-германской филологии Воронежского университета, преподаватель английского языка. Второй язык — французский. Самостоятельно понемногу знакомилась с другими языками (испанским, итальянским, немецким, чешским, польским). Перевод занял второе место в номинации «английская поэзия» (2020).

**Данте Габриэль Россетти.
Жимолость**

Я жимолость сорвал в лесу:
Пролез по зарослям густым,
Изранил ноги о кусты,
Измазал руки о листву;
Бездушный ветер и репей
Поистрепали мой трофей,
Но я берёг его красу.

А после в пышный сад попал,
Где, нежась в мареве тепла,
Обильно жимолость цвела
И томно-сладкий дух витал,
Соцветья падали к ногам...
Я свой цветок оставил там
И новых тоже рвать не стал.

Перевод Ольги Комаровой (olya34@mail.ru). Окончила Воронежскую государственную лесотехническую академию и Воронежский государственный университет. Научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института лесной генетики, селекции и биотехнологии.

Совсем стал блеклый стебелёк.
Я бросил сорванный цветок
И не посмел срывать другой.

Перевод Владимира Курьянова (vlad@yahoo.com). Родился и вырос в Подмосковье, образование дважды высшее — техническое и экономическое. Дипломант и лауреат ряда поэтических конкурсов и конкурсов художественного перевода. Публикации стихов и переводов поэзии на Украине, в России, Великобритании, Бельгии, Финляндии. Автор двух сборников стихов, работает в международной судоходной компании в Лондоне, где и проживает в настоящее время. Перевод занял третье место в номинации «английская поэзия» (2020).

**Данте Габриэль Россетти.
Жимолость**

За жимолостью я пробрался
Сквозь изгородь живую в глушь,
Весь исцарапался, к тому ж
В грязи порядком измарался.
Там среди терний, на ветрах
Заморыш одинокий чах —
Его добыть я так старался!

Потом набрел на уголок,
Где ветви жимолость пустила
И щедро зелень расцветила.
Как светоч, каждый был цветок —
Благоуханный, росный, чистый...
Я бросил первый, неказистый, —
И больше рвать цветы не смог.

Перевод Ольги Матвиенко (matvizar@gmail.com), доцента кафедры зарубежной литературы Донецкого национального университета.

ПЕРЕВОДЫ С НЕМЕЦКОГО



HEМЕЦКАЯ ПРОЗА

Klabund (1890–1928). Aus dem «Kriegsbuch» (1921)

Der Flieger

Als der Fliegerunteroffizier Georg Henschke, Sohn eines märkischen Bauern, vom Kriege nach Hause auf Urlaub kam, stand sein Heimatdorf schon einige Tage vorher Kopf. Bei seiner Ankunft lief alles, was Beine hatte, ihm halber Wege, einige Beherzte sogar eineinhalb Stunden bis zur Bahnstation Baudach entgegen, und die Kinder und die halbwüchsigen Mädchen saßen auf den Kirschbäumen, welche die Straße säumten, die er kommen mußte.

Nun war er da. Das ganze Dorf drängte sich eng um ihn, daß er kaum Luft holen konnte, seine Mutter weinte: »Georgi, mein Georgi!«, und der Pastor sagte: »Welch eine Fügung Gottes!« »Kinder,« lachte Georg Henschke, »Kinder, ich habe einen Mordshunger!« Da stob man auseinander, um sich gleich darauf zu einem Zuge zu gruppieren, der ihn würdevoll zur Tafel geleitete. Sie war unter freiem Himmel aufgeschlagen. Das Dorf nahm sich die Ehre, ihm ein Essen zu geben. Man zählte ungefähr sieben Gänge, und in jedem kam in irgendeiner Form Schweinefleisch vor. Dazu trank man süßen, heurigen Most.

Nach dem Essen, als der Wein seine Wirkung tat, wurde man keck. Man wagte Georg Henschke anzusprechen, zu fragen, zu bitten. »Georgi,« staunte zärtlich seine Mutter, »du kannst nun fliegen!« »Wollen Sie uns nicht einmal etwas vorfliegen?« fragte schüchtern die kleine Marie. »O,« lachte Georg Henschke, »das geht nicht so ohne weiteres. Da gehört ein Apparat dazu!« »Er hat ihn sicher in der Tasche,« grinste verschmitzt der Hirt, »er will uns nur auf die Folter spannen.« »Ein Apparat, das ist so etwas zum Aufziehen?« fragte seine jüngste Schwester Anna. Denn sie dachte daran, daß er ihr einmal aus Berlin einen Elefanten aus Blech mitgebracht hatte. Eine Stange lief unbarmherzig durch seinen Bauch, und wenn man sie ein paarmal herumdrehte, begann der Elefant zu wackeln, mit seinem Rüssel auf den Boden zu klopfen und plötzlich wie ein Wiesel und in wirren Kreisen im Zimmer herumzulaufen.

»Nein,« sagte Georg Henschke, »ich habe den Apparat nicht bei mir, denn er gehört dem Staat.« »So, so,« meinte der Hirt mit seinem weißhaarigen Kopf, »der Staat. Das ist auch so eine neue Erfindung.« »Ganz recht,« lachte Georg Henschke.

»So erzähle uns doch etwas vom Fliegen, und wie man es lernt, Georgi,« bat seine Mutter. Sie war so stolz auf ihn.

Da stand Georg Henschke auf, und alle mit ihm.

»Gut, ich will es tun. Hört zu !«

Er sprang auf einen Stuhl. Sie scharten sich um ihn. Aufgeregt, seinem Willen hingegen, wie die Herde um das Leittier. Sie hoben ihre Köpfe, sehnsüchtig, und der blaue Himmel lag in ihren Augen. Georg Henschke aber reckte die Arme, schüttelte sie gegen das Licht, in seinen Blicken blitzte die Freude des Triumphators, und als er sprach, flammte es aus ihm. Er selber fühlte sich so

leicht werden, so lächelnd leicht, der Boden sank unter seinen Füßen, seine Arme breiteten sich wie Schwingen, wiegten sich, und wie ein Adler stieß er hoch und steil ins Blau.

Das ganze Dorf stand wie ein Wesen, das hundert Köpfe in den Himmel bog. Und sie sahen Georg Henschke im Äther schweben, ruhig und klar, fern und ferner, bis er ihren Blicken entschwand.

Die Schlachtreihe

Unser Lateinlehrer, der alte Professor Hiltmann, war wie Fontane ein geschwornener Feind aller feierlichen und hochtrabenden Phrasen. So konnte er es in den Tod nicht leiden, wenn man nach dem Lexikon *acies* mit »die Schlachtreihe« statt einfach und simpel mit »das Heer« übersetzte.

Der Ultimus unserer Klasse war einer derer von Falkenstein, ein herzensguter, aber dummer Junge.

Jahre gingen ins Land.

Der Weltkrieg brach aus.

Hiltmann, als geschwornener Feind aller feierlichen und hochtrabenden Phrasen, konnte sich mit ihm nicht befreunden.

Es tobten die männermordenden Kämpfe vor Verdun. Da erhielt Hiltmann eines Tages eine Feldpostkarte von Falkenstein, der vor Verdun lag. Auf der stand nichts als:

»Sehr geehrter Herr Professor!

Acies heißt doch die Schlachtreihe...

Ergebenster Gruß Ihres Falkenstein.«

Da stützte der alte Hiltmann den weißen Kopf auf sein Stehpult und die Tränen rannen über seine runzeligen Wangen und tropften auf die Korrekturen des lateinischen Extemporale.

Falkenstein fiel vor Verdun.

Клабунд (1890–1928). Из «Книги войны» (1921)

Летчик

Когда унтер-офицер Георг Хеншке, летчик, сын бранденбургского крестьянина, приехал с фронта в отпуск, в родной деревне вот уже несколько дней царил переполох. В тот день все, кто мог ходить, выбежали встречать его уже на полпути, самые отважные полтора часа добирались до станции в Баудахе, а дети и девочки-подростки сидели на вишнях вдоль дороги, что вела от станции.

Наконец он дома. Односельчане так тесно обступили Георга Хеншке, что тот едва переводил дух, мать плакала:

— Сынок, мальчик мой! — а пастор сказал:

— Возблагодарим Господа за его милость!

— Родные мои, — смеялся Георг Хеншке, — родные, я умираю от голода!

Все немедленно расступились, чтобы сразу же выстроиться в процессию, которая торжественно сопровождала его к столу. Трапезу устроили под открытым небом. Жители деревни сочли за честь приготовить для него обед. Подали около семи разных блюд, все со свининой. Запивали сладким молодым вином.

После еды под действием вина все расхрабрились. Отваживались разговаривать с Георгом Хеншке, спрашивать, просить.

— Сынок, — ласково восхищалась мать, — ты ведь теперь у нас летать умеешь!

— Покажете нам разок? — робко попросила малышка Мария.

— Ну, — рассмеялся Георг Хеншке, — так просто не получится. Нужен особый аппарат!

— Да он, небось, у него в кармане, — лукаво усмехнулся пастух. — Он просто хочет потомить нас.

— Аппарат — это такое, что заводится? — спросила Анна, младшая из сестер Георга Хеншке. Она вспомнила, что брат как-то раз привез ей из Берлина жестяного слоника. В живот слоника была безжалостно воткнута палка, и если ее несколько раз повернуть, слоник качался, стучал хоботом по полу и вдруг, как белка, начинал беспорядочно носиться по комнате.

— Нет, — ответил Георг Хеншке, — с собой у меня аппарата нет, потому что он принадлежит государству.

— Вот-вот, — покивал пастух седой головой, — государство. Еще одну штуку выдумали.

— Верно, — засмеялся Георг Хеншке.

— Сынок, а расскажи, как ты летаешь, и как этому учатся, — попросила мать. Она очень гордилась им.

Тогда Георг Хеншке поднялся, и все следом за ним.

— Ладно, расскажу. Слушайте!

Он вскочил на стул. Все столпились вокруг. Взволнованные, покорные его воле, как стая вожаку. Они подняли головы, горя нетерпением, и голубое небо отражалось в их глазах. А Георг Хеншке поднял руки, взмахнул ими в лучах света, во взгляде его сверкнула радость победителя, и когда он заговорил, наружу выплеснулось пламя. Он ощутил легкость, такую радостную легкость, земля ушла из-под ног, руки раскинулись как крылья, закачались, и, словно орел, он круто взмыл в синеву.

Вся деревня стояла, как одно живое существо, поднявшее в небо сотню голов. И они видели, как Георг Хеншке парил в воздухе, спокойно и ровно, все дальше и дальше, пока не скрылся из виду.

Побоище

Наш учитель латинского языка, старик Хильтман, был, подобно Фонтане, заклятым врагом всяческих торжественных и напыщенных выражений. Его, например, до смерти раздражало, если кто-нибудь переводил по словарю «асіес» как «побоище», а не просто и ясно — «бой».

Самым слабым учеником в нашем классе был Фалькенштайн, добродушный, но недалекий парнишка.

Прошли годы.

Началась мировая война.

Хильтман, заклятый враг всяческих торжественных и напыщенных выражений, не нашел с ней общего языка.

Под Верденом бушевали кровопролитные бои. Однажды Хильтман получил полевой почтой письмо от Фалькенштайна, который сражался под Верденом. Там было всего несколько слов:

«Глубокоуважаемый господин учитель!

«Asіes» — это все-таки побоище...

С нижайшим поклоном

Преданный Вам Фалькенштайн».

И тогда старик Хильтман уронил седую голову на кафедру, и слезы заструились по морщинистым щекам, капая на исправленную ученическую работу.

Фалькенштайн погиб под Верденом.

Перевод Светланы Сергеевны Субботенко (swetlana30@mail.ru). Выпускница Курского государственного университета, кандидат филологических наук, доцент кафедры романо-германской филологии Курского государственного университета, переводчик-фрилансер. Переводчик рассказов для сборника «Пикник парикмахеров» Фелицитас Хоппе (издательство «Текст», 2013 г.), дневника С. Цвейга 1914–1918 гг. (издательство libra, в настоящее время перевод редактируется). Участвует в проекте коллективного перевода пьесы К. Крауса «Последние дни человечества» (публикация планируется в издательстве libra). Данный перевод занял третье место в номинации «немецкая проза» (2016).

Peter Bichsel (geb. 1935). Aus: «Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen», 1964. Der Milchmann

Der Milchmann schrieb auf einen Zettel: „Heute keine Butter mehr, leider.“

Frau Blum las den Zettel und rechnete zusammen, schüttelte den Kopf und rechnete noch einmal, dann schrieb sie: „Zwei Liter, 100 Gramm Butter, Sie hatten gestern keine Butter und berechneten sie mir gleichwohl.“

Am andern Tag schrieb der Milchmann: „Entschuldigung.“

Der Milchmann kommt morgens um vier, Frau Blum kennt ihn nicht, man sollte ihn kennen, denkt sie oft, man sollte einmal um vier aufstehen, um ihn

kennenzulernen. Frau Blum fürchtet, der Milchmann könnte ihr böse sein, der Milchmann könnte schlecht denken von ihr, ihr Topf ist verbeult.

Der Milchmann kennt den verbeulten Topf, es ist der von Frau Blum, sie nimmt meistens 2 Liter und 100 Gramm Butter. Der Milchmann kennt Frau Blum. Würde man ihn nach ihr fragen, würde er sagen: „Frau Blum nimmt 2 Liter und 100 Gramm, sie hat einen verbeulten Topf und eine gut lesbare Schrift.“

Der Milchmann macht sich keine Gedanken, Frau Blum macht keine Schulden. Und wenn es vorkommt - es kann ja vorkommen - dass 10 Rappen zu wenig daliegen, dann schreibt er auf einen Zettel: „10 Rappen zu wenig.“ Am andern Tag hat er die 10 Rappen anstandslos und auf dem Zettel steht: „Entschuldigung.“ 'Nicht der Rede Wert' oder 'keine Ursache', denkt dann der Milchmann und würde er es auf den Zettel schreiben, dann wäre das schon ein Briefwechsel. Er schreibt es nicht.

Den Milchmann interessiert es nicht, in welchem Stock Frau Blum wohnt, der Topf steht unten an der Treppe. Er macht sich keine Gedanken, wenn er nicht dort steht. In der ersten Mannschaft spielte einmal ein Blum, den kannte der Milchmann, und der hatte abstehende Ohren. Vielleicht hat Frau Blum abstehende Ohren. Milchmänner haben unappetitlich saubere Hände, rosig, plump und verwaschen. Frau Blum denkt daran, wenn sie seine Zettel sieht. Hoffentlich hat er die 10 Rappen gefunden. Frau Blum möchte nicht, dass der Milchmann schlecht von ihr denkt, auch möchte sie nicht, dass er mit der Nachbarin ins Gespräch käme. Aber niemand kennt den Milchmann, in unserm Quartier niemand. Bei uns kommt er morgens um vier. Der Milchmann ist einer von denen, die ihre Pflicht tun. Wer morgens um vier die Milch bringt, tut seine Pflicht, täglich, sonntags und werktags. Wahrscheinlich sind Milchmänner nicht gut bezahlt und wahrscheinlich fehlt ihnen oft Geld bei der Abrechnung. Die Milchmänner haben keine Schuld daran, dass die Milch teurer wird. Und eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann gern kennenlernen. Der Milchmann kennt Frau Blum, sie nimmt 2 Liter und 100 Gramm und hat einen verbeulten Topf.

**Петер Биксель (род. 1935). Из сборника
«В общем-то, фрау Блум не прочь познакомиться с молочником»,
1964. Молочник**

На клочке бумаги молочник написал: «К сожалению, масла сегодня больше не осталось».

Фрау Блум прочла записку и стала мысленно подсчитывать, потом потрясла головой, пересчитала снова, а после подписала: «Два литра молока, сто граммов масла — у вас и вчера не было масла, однако вы мне все равно его посчитали».

На следующий день молочник оставил новую записку: «Прошу прощения».

Молочник приезжает каждый день в четыре часа утра, и лично фрау Блум его не знает. «Пожалуй, стоит познакомиться, — задумывается она частенько. — Хотя бы разок нужно встать до четырех, чтобы с ним увидеться». Но она опасается: вдруг молочник сердится на нее, вдруг плохо о ней думает, ведь ее бидон для молока во вмятинах.

Молочнику прекрасно знаком помятый бидон — он принадлежит фрау Блум, которая обычно покупает два литра молока и сто граммов масла. Так что фрау Блум он знает. Если бы кто-нибудь поинтересовался у молочника на ее счет, он бы так и сказал: «Фрау Блум всегда берет два литра молока и сто граммов масла, у нее мятый бидон и красивый разборчивый почерк».

Беспокоиться молочнику не приходится, ведь фрау Блум всегда платит исправно. А если и случается — всякое бывает — что она оставляет на десять раппенов меньше, то он пишет: «Не хватает десяти раппенов». На следующий день он непременно видит десять раппенов и записку: «Приношу свои извинения». «Ничего страшного» или «Не стоит» — мысленно отвечает молочник. Слова эти он мог бы подписать и на листке бумаги, но в таком случае это уже будет переписка. Потому ничего и не пишет.

Молочника не интересуется, на каком этаже живет фрау Блум, ведь бидон она всегда оставляет у лестницы внизу. Но если там его вдруг не оказывается, молочник не слишком переживает. Он знал одного мужчину по фамилии Блум, игравшего некогда в первой команде, — так вот у него торчали уши. Кто знает, может быть, у фрау Блум тоже торчат.

«У молочников до противного чистые руки: розовые, пухлые и размякшие от воды», — думает фрау Блум, когда видит записку молочника, и надеется, что он нашел оставленные ею десять раппенов. Ей не хочется, чтобы он плохо думал о ней, так же как не хочется, чтобы он разговаривал с ее соседкой. Но с молочником никто не знаком, в нашем квартале точно. К нам он приходит к четырем часам утра. Он из тех, кто добросовестно исполняет свой долг. А тот, кто разносит молоко в четыре утра, свой долг исполняет ежедневно — и в выходные, и в будни. Должно быть, молочники не так много получают, и, пожалуй, нередко недосчитываются денег. Но ведь они не виноваты в том, что молоко дорожает. И, в общем-то, фрау Блум не прочь познакомиться с молочником. А молочнику фрау Блум знакома хорошо: она берет два литра молока, сто граммов масла, и бидон у нее весь во вмятинах.

Перевод Ксении Ивановой (californiadreaming85@yandex.ru). Родилась и живет в г. Чита. Окончила Читинский институт Байкальского государственного университета экономики и права (финансово-экономический факультет). Иностранными языками увлекается с детства; в школе с начальных классов изучала немецкий и английский. Художественным переводом занимается в качестве хобби. С 2020 г. принимает участие в конкурсах перевода — переводит прозу и стихи в языковых парах немецкий-русский, английский-русский, русский-английский. Перевод занял третье место в номинации «немецкая проза» (2020).

**Петер Биксель. Молочник. Из сборника
«Фрау Блюм не прочь познакомиться с молочником» (1964)**

Молочник оставил записку: «Извините, сегодня масло закончилось».

Фрау Блюм прочла записку, подсчитала расходы, покачала головой и заново пересчитала, а потом написала: «Два литра, 100 грамм масла, вчера масла у Вас не было, а его посчитали».

Наутро молочник написал в ответ: «Извините».

Молочник приходит утром в четыре; фрау Блюм с ним не знакома, а надо бы познакомиться, частенько думает она, надо хоть раз встать в четыре утра, чтоб его увидеть. Фрау Блюм побаивается: вдруг молочник на нее рассердится, вдруг плохо о ней подумает, раз у нее на бидончике вмятина.

Молочнику хорошо знаком бидончик фрау Блюм со вмятиной; его хозяйка обычно берет 2 литра и 100 грамм сливочного масла. Молочнику хорошо знакома и сама фрау Блюм. Спроси его о ней, он бы ответил: «Фрау Блюм берет 2 литра и 100 грамм, у нее бидончик со вмятиной и хороший, разборчивый почерк».

Молочник не беспокоится, фрау Блюм не покупает в долг. И если случается, что не хватает 10 раппенов (а это-таки случается!), он оставляет записку: «Не хватает 10 раппенов». На следующий же день он получает 10 раппенов с ответной запиской: «Извините». «Ничего страшного» или «Пустяки», — думает тогда молочник, и если бы он написал это на бумажке, вышла бы целая переписка. Он ничего не пишет.

Молочнику неинтересно, на каком этаже живет фрау Блюм: горшочек стоит внизу, у подножья лестницы. Он не беспокоится, когда его там нет. В команде, в первом составе играл когда-то знакомый молочнику Блюм, такой лопоухий. Может, и фрау Блюм лопоухая. У молочников до противного чистые руки — розовые, неуклюжие, пухлые, будто разбухшие. Фрау Блюм думает об этом, когда видит его записки. Хоть бы он нашел эти 10 раппенов. Фрау Блюм не хочется, чтобы молочник плохо о ней думал, а еще не хочется, чтобы он беседовал с соседкой. Но никто, никто в нашем квартале не знаком с молочником. Он приходит к нам в четыре утра. Молочник — из тех, кто выполняет свой долг. Приносит молоко по утрам в четыре часа, выполняет свой долг ежедневно, по воскресеньям и в будни. Наверняка молочникам мало платят, наверняка им часто не хватает денег покрыть недостачу. Молочники не виноваты, что молоко дорожает. И вообще-то фрау Блюм не прочь познакомиться с молочником. А молочнику фрау Блюм знакома, она берет 2 литра и 100 грамм и у нее на бидончике вмятина.

Перевод Ольги Матвиенко (matvizar@gmail.com), доцента кафедры зарубежной литературы Донецкого национального университета.

HEMEЦKАЯ ПOЭЗИЯ

Klabund (1890–1928). Die Ballade von den Hofsängern

Wir ziehen dahin von Hof zu Hof.
Arbeiten? Mensch, wir sind doch nicht dof.
Wir singen nicht schön, aber wir singen laut,
Daß das Eis in den Dienstmädchenherzen taut.
Jawoll.

Wir haben nur lausige Fetzen an,
Damit unser Elend man sehen kann.
Der hat keine Jacke und der kein Hemd,
Und dem sind Stiefel und Strümpfe fremd.
Jawoll.

Wir kriegen Kleider und Stullen viel,
Die verkaufen wir abends im Asyl.
Ein Schneider lud mitleidig uns zu sich ein,
Da schlugen wir ihm den Schädel ein.
Jawoll.

Wir singen das Lied vom guten Mond
Und sind katholisch, wenn es sich lohnt,
Auch singen wir völkisch voll und ganz
Für'n Sechser Heil dir im Siegerkranz.
Jawoll.

Unger, Boeger, Ransick, so heißen wir.
Auf die Gerechtigkeit scheißen wir.
Mal muß ja ein jeder in die Gruft,
Und wir, wir baumeln mal in der Luft.
Jawoll.

Клабунд (1890–1928). Баллада бродячих певцов

Идём от дома к дому мы.
Работать? Слушай, не настолько мы глупы.
Хоть некрасиво мы поём, но звонки наши голоса,
Способны растопить они лёд в девичьих сердцах.
Да.

В одних лохмотьях ходим мы,
Чтоб показать, как мы бедны.
Без куртки один, без рубахи другой,
А третий с рождения ходит босой.
Да.

Много одежды и хлеба мы получаем,
По вечерам за них в приюте мы деньги выручаем.
Один портной из жалости нас пригласил домой,
И распрощался вскоре он со своею головой.
Да.

Поём мы песню про добрую луну¹,
Мы католики, когда нам это на руку,
Также, от начала до конца, в исполнении душевном
За монету мы споём «Славься ты в венце победном»².
Да.

Унгер, Бёгер, Ранзик — так нас звать.
На справедливость нам плевать.
Каждый неизбежно в могилу попадёт,
А нас, а нас однажды виселица ждёт.
Да.

Перевод Ирины Есиповой (thatter90@mail.ru), преподавателя английского языка, г. Старый Оскол (Белгородская область). Окончила Старооскольский педагогический колледж в 2013 г. по специальности «Иностранный язык» и Курский государственный университет по специальности «Перевод и переводоведение» в 2017 г. Дебютант в сфере художественного перевода. Перевод занял второе место в номинации «немецкая поэзия» (2016).

¹ Прим. пер.: речь идёт о немецкой колыбельной (нем. Guter Mond, du gehst so stille).

² Прим. пер.: речь идёт об императорском гимне Германской империи с 1871 по 1918 гг.

Клубунд. Баллада уличных певцов

Мы шляемся день-деньской по дворам.
Работать? Парень, это не к нам.
Горланам песни, ни в склад не в лад,
Услышат служанки — не устоят!
Вот так!

Вши в наших лохмотьях кишмя кишат,
Пусть люди видят: у нас ни гроша.
Без робы этот, без куртки тот,
А третий в чужой обуви бредёт.
Вот так!

Еду и одежду, что нам подают,
Мы тащим на перепродажу в приют.
Зазвал нас в дом, пожалев, портной —
Теперь он с раскромсанной головой.
Вот так!

Охотно про добрый месяц поём —
Себя мы католиками признаём.
А также исполним за грошик медный
С подъёмом: «Славься в венце победном».
Вот так!

Нас Унгер, Богер и Ранзик звать,
На справедливость нам плевать,
Всех мертвецов похоронят в земле,
А мы трое будем болтаться в петле.
Вот так!

Перевод Ольги Матвиенко (matvizar@gmail.com), доцента кафедры зарубежной литературы Донецкого национального университета

Erich Kästner (1899–1974). Из сборника: «Lärm im Spiegel», 1963 Sachliche Romanze

Als sie einander acht Jahre kannten
(und man darf sagen: sie kannten sich gut),
kam ihre Liebe plötzlich abhanden.
Wie andern Leuten ein Stock oder Hut.

Sie waren traurig, betrugten sich heiter,
versuchten Küsse, als ob nichts sei,

und sahen sich an und wußten nicht weiter.
Da weinte sie schließlich. Und er stand dabei.

Vom Fenster aus konnte man Schiffen winken.
Er sagte, es wäre schon Viertel nach Vier
und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken.
Nebenan übte ein Mensch Klavier.

Sie gingen ins kleinste Cafe am Ort
und rührten in ihren Tassen.
Am Abend saßen sie immer noch dort.
Sie saßen allein, und sie sprachen kein Wort
und konnten es einfach nicht fassen.

Эрих Кестнер. Но так и бывает порой

Они восемь лет уж друг друга как знали,
(Нет спору, вдвоём им неплохо жилось),
Но вдруг так случилось: любовь потеряли —
Пропала она, словно шляпа иль трость.

В печали лукавить вдвоём стали смело,
Друг друга губами касаясь, они.
Смотрели в глаза и не знали, что делать;
И вдруг зарыдала она, стоя с ним.

Из окон пейзаж голубой с кораблями,
И слышен рояль за стеной хорошо.
Сказал он: на чашечку кофе заглянем —
Уже пятый час, дорогая, пошёл.

Вот в местном кафе они тихо вдвоём
Сидели, свой кофе мешали.
Весь вечер пробыли в кафе небольшом,
И не говорили они ни о чём,
И что происходит — не знали.

1963

Перевод Артёма Степанова (jung_art1304@mail.ru). Москвич, в 2017 г. связал свою жизнь с языками, поступив в Московский государственный лингвистический университет на переводческий факультет. Сейчас студент 4 курса. Обучался у германистов Е. С. Батуриной и О. А. Радченко, учил наизусть и анализировал лирику Гёте, Гейне, Рюккерта, благодаря чему занялся переводами, хотя изначально увлекался русской поэзией. Перевод занял первое место в номинации «немецкая поэзия» (2020).

**Эрих Кестнер. Деловитый романс
(из сб. «Шум в зеркале», 1963)**

Они друг о друге знали немало —
Все-таки восемь совместных лет.
Но вот любовь их внезапно пропала,
Как трость или шляпа: была — и нет.

Они целовались грустно и вяло,
Непринужденный делали вид,
Не зная, как быть... А после стоял он
И слушал, как плачет она навзрыд.

Взглянул он на корабли в окно и
Решился: «Полпятого. Нам пора!
Идем пить кофе». А за стеною
На фортепиано кто-то играл.

По чашке кофе взяли они,
Зайдя в кафе городское,
И долго молча сидели одни,
Не в силах никак себе объяснить,
Что с ними стряслось такое.

Перевод Ольги Матвиенко (matvizar@gmail.com), доцента кафедры зарубежной литературы Донецкого национального университета.

ПЕРЕВОДЫ С ФРАНЦУЗСКОГО



ФРАНЦУЗСКАЯ ПРОЗА

Mme DE SÉVIGNÉ (1626–1696)
DE Mme DE SÉVIGNÉ A Mme DE GRIGNAN.
A Livry, mardi saint 24 mars 1671

Voici une terrible causerie, ma chère enfant; il y a trois heures que je suis ici. Je suis partie de Paris avec l'abbé, Hélène, Hébert et Marphise, dans le dessein de me retirer du monde et du bruit pour jusqu'à jeudi au soir: je prétends être en solitude; je fais de ceci une petite Trappe, je veux y prier Dieu, y faire mille réflexions: j'ai résolu d'y jeûner beaucoup pour toutes sortes de raisons, de marcher pour tout le temps que j'ai été dans ma chambre, et surtout de m'ennuyer pour l'amour de Dieu. Mais ce que je ferai beaucoup mieux que tout cela, c'est de penser à vous, ma fille; je n'ai pas encore cessé depuis que je suis arrivée, et, ne pouvant contenir tous mes sentiments, je me suis mise à vous écrire au bout de cette petite allée sombre que vous aimez, assise sur ce siège de mousse où je vous ai vue quelquefois couchée. Mais, mon Dieu, où ne vous ai-je point vue ici? et de quelle façon toutes ces pensées me traversent-elles le cœur! Il n'y a point d'endroit, point de lieu, ni dans la maison, ni dans l'église, ni dans le pays, ni dans le jardin, où je ne vous aie vue; il n'y en a point qui ne me fasse souvenir de quelque chose; de quelque manière que ce soit, cela me perce le cœur: je vous vois, vous m'êtes présente; je pense et repense à tout; ma tête et mon esprit se creusent: mais j'ai beau tourner, j'ai beau chercher; cette chère enfant que j'aime avec tant de passion est à deux cents lieues de moi, je ne l'ai plus. Sur cela je pleure sans pouvoir m'en empêcher. Ma chère bonne, voilà qui est bien faible: mais pour moi, je ne sais point être forte contre une tendresse si juste et si naturelle. Je ne sais en quelle disposition vous serez en lisant cette lettre; le hasard fera qu'elle viendra mal à propos, et qu'elle ne sera peut-être pas lue de la manière qu'elle est écrite. À cela je ne sais point de remède: elle sert toujours à me soulager présentement; c'est au moins ce que je lui demande: l'état où ce lieu m'a mise est une chose incroyable. Je vous prie de ne point parler de mes faiblesses; mais vous devez les aimer, et respecter mes larmes, puisqu'elles viennent d'un cœur tout à vous.

Мадам ДЕ СЕВИНЬЕ (1626–1696)
Мадам ДЕ ГРИНЬЯН от мадам ДЕ СЕВИНЬЕ.
Ливри, Великий вторник, 24 марта 1671 г.

Вновь утомляю Вас своей болтовней, дитя мое. Вот уже три часа, как я здесь. В сопровождении аббата, Элен, Эбера и Марфизы я оставила Париж до вечера четверга в намерении удалиться от шума и мирской суеты; я жажду уединения; я сделаю здесь свой собственный Ла-Трапп¹ и буду предаваться молитвам и тысячам размышлений: я решила много поститься здесь по

¹ Ла-Трапп — аббатство во Франции, основанное в 1140 г. — *Здесь и далее прим. пер.*

разным причинам, утомлять себя ходьбой за все то время, что я провела, не выходя из комнаты, и, более всего, тосковать во имя Господа. Однако гораздо лучше мне удастся посвятить это время мыслям о Вас, дочь моя, ведь они не оставили меня ни на минуту с момента приезда; обуреваемая чувствами, я принялась за письмо, устроившись в конце той маленькой темной аллеи, что так нравится Вам, на сиденье из мха, где Вы любили прилечь и где я иногда видела Вас. Но, Бог мой, где только я ни видела Вас здесь? И как все эти воспоминания терзают мое сердце! Во всем доме, в церкви, в аббатстве, в саду нет ни одного места, ни одной комнаты, где бы я не видела Вас; здесь нет ничего, что не бередило бы душу, и всякое напоминание пронзает мне сердце: я вижу Вас, я чувствую присутствие Ваше; я все переосмысливаю; разум и дух мои обессилены; но напрасно я мечусь и ищущу; моё драгоценное дитя, которое я так страстно люблю, в двухстах льё¹ отсюда, я лишена радости быть с ним. Вот где источник безудержных слез моих. Вот, душенька, где слабость моя: но я не умею быть сильнее нежности столь праведной и столь естественной. Я не представляю, в каком расположении духа Вы будете пребывать, читая это письмо; может статься, оно придется некстати и Вы прочтете его иначе, чем оно писалось. Но я не знаю против этого средства: мне утешительно просто писать Вам; большего я и не жду, ибо состояние, в которое я здесь пришла, невообразимо. Молю Вас не осуждать мои слабости, но принять их, и уважать мои слезы, ведь они идут от сердца, навеки Вашего.

Перевод Нины Янкелович (nin-y@yandex.ru), выпускницы факультета иностранных языков Карельского государственного педагогического университета (специальность: учитель французского и английского языков). Работает переводчиком, а также консультирует франкоговорящих клиентов по вопросам из самых разных областей жизни, начиная от керамической плитки и заканчивая проблемами с интернет-соединением. Перевод занял первое место в номинации «французская проза» (2016).

*От мадам де Севинье — к мадам де Гриньян.
Ливри, вторник Страстной недели, 24 марта 1671 г.*

Примите эти несколько ужасно праздных слов, дитя мое; вот уже три часа, как я здесь. Я покинула Париж вместе с аббатом, Элен, Эбером и Марфизой, чтобы укрыться от света и шума вплоть до вечера четверга: я намерена провести это время в одиночестве; я хочу молиться Богу, предаваться тысячам размышлений, как если бы жила в маленькой обители траппистов; я решила, по самым разным причинам, усердно поститься, отдавать прогулкам все те часы, что провела затворницей в своей комнате, и, в особенности, скучать — из любви к Богу. Однако с гораздо большим успехом буду я думать о Вас, дитя мое; мысли о Вас не покидали меня с

¹ Одно льё равняется примерно 3,2 км.

самого приезда, и, не в силах сдержать всех своих чувств, я принялась писать Вам в конце той маленькой темной аллеи, которую Вы любите, расположившись на том самом месте во мху, где Вы, бывало, лежали. Господи, где только я Вас здесь не видела! И как только все эти мысли не тревожили душу! Нет такого места, такого уголка, ни в доме, ни в церкви, ни в поле, ни в саду, где бы Вы мне не представлялись; куда ни посмотрю — все пробуждает воспоминания; и все пронзает сердце: я вижу Вас, Вы рядом со мной; вновь и вновь думаю я обо всем; душа и разум мои надрываются: но напрасно я озираюсь, напрасно ищу; дорогое дитя, кого я так страстно люблю, за двести лье от меня, я лишилась его. И я плачу и не могу остановить слез. Милая моя, вот так слабость: но я не нахожу в себе сил сопротивляться столь правильной и естественной нежности. Не знаю, какой Вас найдет это письмо; по вине случая, придет оно некстати, и будет прочитано не так, как было написано. Ничего не поделаешь: и все же сейчас оно приносит мне утешение; большего мне и не нужно: Вы и представить себе не можете, что творится у меня теперь в душе. Прошу Вас не судить о моих слабостях; но Вы должны любить их и уважать мои слезы, поскольку они исходят из сердца, целиком преданного Вам.

Перевод Анастасии Глаголюк (appletart@mail.ru). Литературовед-компаративист (специализируется на Латинской Америке и Франции), выпускница романо-германского отделения МГУ имени М. В. Ломоносова (2015). На момент участия в конкурсе была аспиранткой кафедры истории зарубежной литературы, в 2018 г. защитила диссертацию на тему «Роль французской культуры в формировании поэтики О. Паса». В настоящее время является постдокторантом Школы филологических наук НИУ ВШЭ и членом редколлегии журнала «Иностранная литература». Переводит с французского и испанского языков авторов XX века (О. Пас, А. Бретон, Ф. Суну, А. Арто, Р. Деснос, Б. Сандрар, Н. Буве и др.). Данный перевод занял третье место в номинации «французская проза» (2016).

Christian Gailly. L'Incident

1.

Elle avait des pieds pas ordinaires.

A cause de ses pieds, elle était obligée d'aller là où elle ne serait pas allée si elle avait eu des pieds ordinaires.

Ses pieds, très aériens, comme d'autres ont le pied marin, bien que tout à fait normaux, normalement constitués d'une plante, d'orteils, cinq, d'un talon et d'un cou, avaient ceci de particulier, ils étaient longs et minces, pas extraordinairement longs, même pas longs du tout, c'est leur minceur qui les faisait paraître longs, ils étaient en effet extraordinairement minces.

Elle ne pouvait donc pas se chauser n'importe où, chez n'importe qui, elle était obligée d'aller dans Paris chez ce chausseur sis, ah, ça m'échappe, le nom aussi, dans une rue près d'une place à colonne, il y est toujours, toujours est-il, c'est en sortant de ce magasin que l'incident s'est produit.

Quel incident ? Oh, rien de vraiment capital, rien de très important, un incident tout ce qu'il y a de plus banal, quelque chose de tout à fait courant, mais parfois le courant, le banal, peut conduire à. A quoi ? On va voir ça.

Il faisait très beau. Le ciel était bleu, ça, pour être bleu, il était bleu, personne ne le regardait mais il était bleu, personne ne le regardait parce que personne ne pouvait le regarder, c'est bien simple, c'était si lumineux, si cruel pour les yeux, que de ce ciel on eût pu dire qu'il n'était qu'un soleil bleu. En somme, il faisait trop beau. Il en va du temps comme du reste. Quand c'est trop beau, c'est insupportable.

Depuis trois jours une chaleur terrible. On annonçait des orages pour demain. A Paris c'est comme ça, le beau temps ne dure jamais bien longtemps, comment ? si ? ça arrive ? sans doute, mais la plupart du temps on a droit aux orages, une histoire de masses d'air, du très chaud, du très froid, qui se rencontrent.

Les masses d'air, elle connaissait ça, mais ce jour-là elle n'y pensait pas. Cet après-midi-là elle était une femme comme les autres, si on peut dire, puisqu'elle n'a jamais été et ne sera jamais, enfin, pour moi, une femme comme les autres.

Elle était à Paris, donc, pour acheter des chaussures. Une fournaise dans le magasin, ou une étuve, comme on veut, les uns disent fournaise, les autres disent étuve, on a le choix, étuve pour chaleur humide, fournaise pour chaleur sèche, une véritable fournaise.

Elle dut d'abord attendre assise qu'une vendeuse se libère. Elle espérait avoir affaire à la petite qu'elle aimait bien, une brunette à cheveux courts et visage de garçon, précisons, de beaux grands yeux noisette, avec des reflets verts, une bouche pleine de chair d'un brun sanguin presque violet, qui en prenant son pied lui donnait un vague plaisir.

Ensuite choisir, essayer, ça a duré, une histoire de couleurs, de modèles, de pointures, qui ne se rencontrent pas, c'est toujours comme ça, si on veut que ça se rencontre, que ces choses-là se rencontrent, il faut si peu que ce soit, mais même peu c'est encore trop, renoncer, transiger, se compromettre, quoi.

Finalement elle s'arrêta, fixa son choix, sur un modèle très approchant de ce qu'elle cherchait, d'une couleur proche, et qui, c'était là le plus important, lui allait comme un gant.

On rangea les chaussures dans la boîte, tête-bêche, talon-pointe, comme dans un berceau, ou un cercueil pour deux, vieux rêve d'amants jumeaux, voilà, papier de soie, couvercle, puis la boîte dans un sac vert fermé de part et d'autre, à l'horizon de la poignée par une série de pressions dont une réagit mal, quand on ferme la dernière à gauche, la première à droite se rouvre, ah, quel tracas.

Laissez, dit-elle à la vendeuse. Après quoi elle paya, salua, sortit. C'est en sortant du magasin que l'incident se produisit.

Il y avait du monde sur le trottoir, une foule plus que lente, nonchalante, processionnant hagarment. Le soleil tapait dur, une douleur pour les yeux. On imagine mal, si tant est qu'on l'imagine, mais peut-être l'imagine-t-on, ce qu'une rue peut compter, contenir, d'objets qui réfléchissent. Tout d'ordinaire paraît terne, mais, dès que le soleil chauffe, le gris fond, la crasse coule, sous elle tout se

réveille, miroite, brûle, consume, que dis-je ? calcine le regard des hommes, des femmes.

C'était une femme pas ordinaire, je ne me lasse pas de le dire, d'une beauté si singulière, son élégance était si rare, sa main gauche prise par l'enveloppe des chaussures, elle voulut ouvrir son sac où devaient se trouver ses verres noirs.

Кристиан Гэйлли. Падение

1.

Ноги ей достались необычные.

Если бы ноги у неё были обычные, она не ездила бы туда, куда ей из-за них приходилось ездить.

У кого-то ноги крепкие, как для морской качки, у неё же совсем невесомые, и хотя они абсолютно нормальные — по стандарту слеплены из подошвы, пяти пальцев, пятки и лодыжки, — но как раз она и особенная, лодыжки были удлинённые и тонкие, не сверхдлинные, даже совсем не длинные, они такими казались из-за их утончённости, тонки они были, и впрямь, необыкновенно.

Поэтому она не могла покупать обувь где попало и абы у кого, она должна была ездить в Париже к одному обувщику по адресу..., эх, вылетело из головы, и имя тоже, эта улица недалеко от площади с колонной, он всё ещё там, всё тот же, именно на выходе из этого магазина и произошёл инцидент.

Что за инцидент? Да ничего по-настоящему значимого, ничего особо серьёзного, случай из самых заурядных, нечто совершенно типичное, но порой типичное, заурядное, приводит к... К чему же? Сейчас узнаем.

Погода стояла прекрасная. Небо было голубое настолько, что диву даёшься — сплошная голубизна, никто на него не смотрел, но небо было голубым, а никто на него не смотрел потому, что никто и мог смотреть по простой причине — было так ослепительно и жгуче для глаз, что такое небо можно было назвать голубым солнцем. Словом, погода была чересчур хороша. Речь идёт, не в последнюю очередь, и о ней. Это невыносимо, когда настолько хорошо.

Вот уже третий день жуткая жара. На завтра обещали грозу. В Париже оно так, хорошие деньки никогда не длятся долго, да ну? правда? а они бывают? а как же, но в нашем распоряжении чаще всего грозы, роман между воздушными массами, очень горячие встречаются с очень холодными.

Про воздушные массы она знала, но в тот день ей было не до них. В тот послеобеденный час она не отличалась от других женщин, если так можно сказать, поскольку для меня она никогда не была и, конечно, никогда не будет женщиной, похожей на других.

Итак, она в Париже, чтобы купить обувь. В магазине — истинное пекло, будто в печи или в парилке — как пожелаем, одни говорят печь,

другие — парилка, на выбор — парилка для горячего пара, печь для сухого жара.

Для начала нужно было присесть и подождать пока освободится продавщица. Ей нравилась одна малышка, брюнеточка с короткой стрижкой и лицом мальчика, отметим её большие красивые карие глаза с зелёными бликами, чувственный кроваво-коричневый, почти фиолетовый рот, она надеялась, что её обслужит именно эта, которая уже тем, что брала её ступню, вызывала волну приятных ощущений.

Затем выбор, примерка — нудное дело — целая морока с цветами, моделями, размерами, которые между собой не ладят, и так всегда, если нужно чтобы они ладили, чтобы все эти параметры совпали, то ведь нужна такая малость, что ни говори — однако, даже это небольшое всё ещё слишком: отказываешься, уступаешь, идёшь с собой на компромисс, и всё такое.

Наконец, она выбрала и остановилась на модели очень близкой к тому, что искала, цвет подходящий и, самое главное, туфли сели как влитые.

Обувь уложили валетом в коробку, каблук к носку, как в колыбель или парную усыпальницу — вечную мечту неразлучных влюблённых, готово, папиросная бумага, крышка, и вот коробка в зелёной сумке, закрываемой с двух сторон, несколько попыток втиснуть глубже под ручку, но неудачно, только закроешь оставшуюся левую сторону, снова открылась правая, вот незадача!

— Оставьте так, — сказала она продавщице. Затем расплатилась, попрощалась и вышла. Как раз на выходе из магазина и произошёл инцидент.

На тротуаре было полно народу, толпа текла замедленно, апатично, измождённо. Солнце нестерпимо палило до боли в глазах. Трудно представить, если вообще возможно такое вообразить, что вся улица может состоять из отражающих предметов, хотя, скорее всего, это только мерещится. Обычно всё выглядит тускло, но как только солнце припечёт, серость растворяется, марево плывёт, под ним всё пробуждается, отсвечивает, пылает, плавится, о чём это я? обжигает взгляды мужчин, женщин.

Не устану твердить, что это была необычайная женщина, красоты такой особенной, элегантности такой редкой; держа в левой руке коробку с обувью, она стала открывать сумку, где должны были быть очки от солнца.

Перевод Ольги Щербаковой (oms-dot@yandex.ru). Работает инженером в железнодорожной отрасли, живет в Санкт-Петербурге. В школе и институте изучала английский, во французском языке — любитель. Начала изучать французский 10 лет назад, закончила полный курс в "Альянс Франсез". Четырежды побеждала в конкурсах переводов: дважды в конкурсе Пушкинского Дома и дважды в Центральной городской публичной библиотеке им. В. В. Маяковского в рамках проекта "Выбираем лучшего зарубежного писателя". Данный перевод занял первое место в номинации «французская проза» (2020).

Кристиан Гайи. Случай

1.

У нее были необыкновенные ноги.

Из-за этого ей приходилось бывать в таких местах, где она бы в жизни не оказалась, если бы они были обыкновенные.

И хотя на первый взгляд они были самые обычные (и легкие-легкие, словно созданные для того, чтобы бежать по воздуху — так же ловко, как матросы сплывают по палубе корабля) — подошва, пальцы (ровно пять), пятка, подъем — у них была такая особенность: они были вытянутые и узкие, не то чтобы особо длинные, можно даже сказать, совсем не длинные, просто так казалось из-за того, что они были узкие, да, необычайно узкие.

Поэтому она не могла купить себе туфли не пойми где, не пойми у кого, ей приходилось ездить в Париж к тому мастеру на... Да как же его? Вылетело из головы название, там еще рядом площадь с колонной, он и сейчас там работает, ладно, не суть, и вот там-то, на выходе из обувного, с ней и произошел этот случай.

Что за случай? О, ровным счетом ничего серьезного, прямо скажем, ничего особенного, самая что ни на есть безделица, самая что ни на есть банальность, но порой самые банальные безделицы могут к такому привести! Какому такому? А вот увидим.

Погода стояла отличная. Небо было голубое-голубое, голубее не бывает, никто, правда, не смотрел, что оно голубое, а не смотрел потому, что смотреть было невозможно, неудивительно, ведь оно так сияло, так слепило, словно это не небо, а одно огромное голубое солнце. Словом, погода была хорошая, даже слишком. Дело известное, когда что-то слишком хорошо (будь то погода или что другое), то это становится невыносимо.

Три дня как стояла страшная жара. На завтра обещали грозы. В Париже всегда так, хорошая погода долго не держится. Что, говорите? Неправда? Всякое бывает? Ну, может быть, но чаще всего приходят грозы, а все потому, что горячие воздушные массы сходятся с очень холодными.

Она тоже знала про воздушные массы, но в тот день об этом не думала. В тот день она была самой обычной женщиной, если так, конечно, можно выразиться, ведь она никогда не была и не будет (по крайней мере, для меня) самой обычной.

Итак, она приехала в Париж, чтобы купить туфли. В магазине было жарко, как в духовке — или как в парилке, кому как больше нравится, одни говорят «как в духовке», другие — «как в парилке», на выбор, в парилке жара влажная, а в духовке — сухая, натуральное пекло.

Сначала ей пришлось присесть и подождать, пока кто-нибудь из продавщиц освободится. Она надеялась, что ей достанется ее любимица, невысокая брюнетка с короткой стрижкой и лицом, как у мальчишки (здесь уточним: огромные светло-карие глаза с зеленым отливом, полные красно-коричневые, почти лиловые, губы), когда эта продавщица прикасалась к ее ногам, по ее телу разливалась смутная истома.

Затем она потратила немало времени, выбирая и меряя туфли, а все потому, что цвет, модель и размер все никак не хотели сойтись вместе — так всегда бывает, чтобы все сошлось, чтобы все совпало — приходится самую чуточку — но и это уже чересчур — уступить, пойти на компромисс, поступиться, так сказать, принципами.

Наконец, она определилась и выбрала пару туфель — и модель была почти такая, как она искала, и цвет практически тот, что надо, и главное, сидели они как влитые.

Туфли положили в коробку (валетом, каблук к носку), словно в колыбельку или в гробик, один на двоих, словно воплощая извечную мечту всех любовников — стать единым целым, вот так, накрыли шелковой бумагой, закрыли крышкой, а коробку положили в зеленый пакет и защелкнули кнопки вокруг ручки, только одна из кнопок все не поддавалась, стоило справиться с самой левой, как расстегивалась самая правая, вот досада!

"Оставьте так", — сказала она продавщице. Затем расплатилась, попрощалась и вышла. И вот тут-то все и случилось.

На улице было полно народу, толпа двигалась еле-еле, нога за ногу, текла, не ведая, куда. Солнце так и пекло, аж глазам было больно от света. Мы обычно даже не представляем — если вообще задумываемся об этом, но как знать, может, кто и задумывается — сколько на одной улице находится, вмещается всего блестящего. Оно обычно кажется тусклым, но как только начинает припекать, серость плавится, потоки грязи стекают, а из-под них выступает, переливается, занимается, загорается, прямо-таки полыхает блеск, ослепляя мужчин и женщин.

Это была необыкновенная женщина, не устану это повторять, женщина удивительной красоты и редкостной элегантности, и, не выпуская из левой руки пакет с обувью, она решила открыть сумочку, где должны были лежать черные очки.

Перевод Ирины Солнцева (solntseva.irina@gmail.com), выпускницы СПбГУ и Высшей нормальной школы (Париж). Устный и письменный переводчик, преподаватель. Живет и работает в Париже. Перевод занял второе место в номинации «французская проза» (2020).

Кристиан Гайи. Происшествие

У неё были необычные ступни.

С такими ступнями она была вынуждена отправляться туда, куда не отправилась бы, имея она обычные ступни.

Её ноги словно были созданы для того, чтобы ходить по воздуху, как у некоторых — чтобы ходить по палубе корабля в бушующем море, хотя ступни её были совершенно обыкновенными, состояли, как и следует, из подошвы, пяти пальцев, пятки и подъёма, но отличались тем, что были

длинными и тонкими, не невероятно длинными, даже совсем не длинными — такими они казались, потому что были невероятно тонкими.

Стало быть, она не могла покупать обувь где угодно и у кого угодно, потому ей приходилось ездить в тот обувной магазин в Париже по улице...ох, и названия не припомню, по улице у площади с колонной, он всё ещё там. Как бы то ни было, происшествие случилось именно на выходе из этого магазина.

Какое происшествие? Да ничего такого, на самом деле, ничего страшного, самое банальное происшествие, кое-что совершенно обыденное, но иногда обыденность, банальность может привести... К чему? Увидим.

Стояла прекрасная погода. Небо было голубым, голубее голубого. Никто не смотрел на него, но оно было голубым. Никто не смотрел на небо, потому что никто не мог на него смотреть. Оно и понятно: сияло так, что глазам было больно смотреть и казалось, что не было неба, а было одно голубое солнце. В общем, погода стояла слишком прекрасная. А с погодой, как и со всем остальным: когда слишком прекрасно, становится невыносимо.

Страшная жара уже третий день. На завтра обещали грозы. В Париже всегда так: хорошая погода никогда не держится долго. Что? Нет? Случается? Наверное, но чаще всего нам полагаются грозы и история про столкновение холодных и тёплых воздушных масс.

Она знала про воздушные массы, но в тот день о них не думала. В тот день она была такой же, как и все женщины, если можно так сказать, ведь для меня, в конце концов, она никогда не была и не будет такой, как все.

Итак, она была в Париже, чтобы купить туфли. В магазине — раскалённая печь или баня, как вам угодно, одни говорят "как в печи", другие — "как в бане", можно оставить "баню" для влажной духоты, а "печь" — для сухой жары. Настоящая раскалённая печь.

Ей пришлось посидеть и подождать сперва, пока освободится продавщица. Она надеялась, что её обслужит та маленькая брюнетка, которая нравилась ей, с короткой стрижкой и мальчишеским лицом, стоит уточнить, с чудесными большими карими глазами с зелёным отливом и пухлыми губами сливово-коричневого, почти фиолетового цвета. Она испытывала непонятное удовольствие, когда та прикасалась к её ногам.

Затем следовало выбирать и мерить, долго длилась история про цвета, модели, размеры, которые не совпадали; всегда так: если хочешь совпадения, хочешь, чтобы всё это совпало, нужно-то всего ничего, но даже всего ничего — это всё ещё чересчур: следует отказываться, идти на уступки, компрометировать себя, в общем.

Наконец она остановилась на модели подходящего цвета, которую она, кажется, и искала, и которая была ей как раз по ноге, что самое главное.

Туфли уложили в коробку «валетом», каблук к носку, словно в колыбель или в гроб на двоих — сбылась давняя мечта любовников-двойников. Затем идёт тонкая бумага и крышка, потом коробку — в зелёный пакет, запечатывающийся с двух сторон, а вдоль ручки защёлкивающийся на

кнопки, одна из которых плохо себя ведёт: стоит застегнуть последнюю у левого края, как самая первая опять расстёгивается, ох, одни хлопоты.

— Оставьте, — сказала она продавщице, после чего расплатилась, попрощалась и вышла. Происшествие случилось именно на выходе из этого магазина.

На улице было много народу. Не просто медленная, а вялая толпа растерянно двигалась по тротуару. Солнце нещадно жгло и било в глаза. Мы плохо представляем себе, если вообще представляем, а может быть, и представляем, сколько отражающих поверхностей насчитывается, умещается на улице. Обычно всё кажется тусклым, но стоит солнцу пригреть, и тает серость, утекает грязь и всё, что есть под ней, пробуждается, блестит, пылает и выжигает, да что уж, испепеляет глаз человеческий.

Это была необычная женщина, не устану это повторять, такой поразительной красоты, такой редкой утончённости. Держа в левой руке свёрток с обувью, она пыталась открыть свою сумку, в которой должны были быть очки с тёмными стёклами.

Перевод Дарьи Мищенко (dar.mishchenko@yandex.ru), студентки 3 курса филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, кафедры французского языкознания (Москва). Перевод занял третье место в номинации «французская проза» (2020).

ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЭЗИЯ

Théophile de Viau (1590–1626). Ode

Un corbeau devant moi croasse;
Une ombre offusque mes regards;
Deux belettes et deux renards
Traversent l'endroit où je passe;
Les pieds faillent à mon cheval.
Mon laquais tombe du haut mal;
J'entends craqueter le tonnerre;
Un esprit se présente à moi;
J'ois Charon qui m'appelle à soi.
Je vois le centre de la terre.

Ce ruisseau remonte en sa source;
Un bœuf gravit sur un clocher;
Le sang coule de ce rocher;
Un aspic s'accouple d'une ourse;
Sur le haut d'une vieille tour
Un serpent déchire un vautour;
Le feu brûle dedans la glace,

Le soleil est devenu noir;
Je vois la lune qui va choir;
Cet arbre est sorti de sa place.

Теофиль де Вио. Ода

Крик ворон, как вызов Богу;
Жуткий мрак глаза застлал;
Вижу я зверей оскал,
Перешедших мне дорогу;
Конь копытом землю бьёт.
Мой слуга судьбу клянёт;
Льётся грома канонада;
Духи льнут со всех сторон,
И зовёт к себе Харон...
Предо мною — бездна ада.

Вспять бежит река забвенья;
В башню тьмы быка влечёт,
Где сквозь камни кровь течёт;
Рвёт медведь плоды творенья;
И кричит на башне той
Гриф, укушенный змеей;
Лёд размяк в огне, как тесто,
В чёрном солнце смерть видна,
И вот-вот умрёт луна...
Древу жизни здесь не место!

Перевод Николая Марянина (nikta56toz@mail.ru). Окончил Ульяновский политехнический институт. В школе учил немецкий язык, в институте — французский. Начальник службы логистики Ташлинского горно-обогатительного комбината. Живёт в Ульяновске. Перевод занял первое место в номинации «французская поэзия» (2016).

Marc-Antoine Girard Saint-Amant. La Pipe (1649)

Assis sur un fagot, une pipe à la main
Tristement accoudé contre une cheminée
Les yeux fixes vers terre, et l'âme mutinée
Je songe aux cruautés de mon sort inhumain

L'espoir, qui me remet du jour au lendemain,
Essaye à gagner temps sur ma peine obstinée,
Et, me venant promettre une autre destinée,

Me fait monter plus haut qu'un empereur romain.

Mais à peine cette herbe est-elle mise en cendre,
Qu'en mon premier estat il me convient descendre,
Et passer mes ennuis à redire souvent :

Non, je ne trouve point beaucoup de différence
De prendre du tabac à vivre d'espérance,
Car l'un n'est que fumée, et l'autre n'est que vent.

Марк-Антуан Жирар Сент-Аман. Трубка (1649)

Я с трубкою в руке поближе к очагу
На связку хвороста, задумавшись, присяду.
Потуплен долу взор, душа кипит с досады:
Так горек мой удел — не пожелать врагу.

Но глубоко внутри надежду берегу:
Вдруг удостоюсь я шальной фортуны взгляда?
Что, если впереди желанная награда
И всех владык земных я превзойти смогу?

Увы, едва трава щепотью пепла станет —
Душе пора придёт очнуться от мечтаний,
И выводом тогда утешусь я простым:

Курить табак и жить надеждою — быть может
(Чего греха таить?), почти одно и то же:
Надежда и табак — всё призрачно, как дым.

Перевод Ольги Матвиенко (matvizar@gmail.com), доцента кафедры зарубежной литературы Донецкого национального университета. Перевод занял первое место в номинации «французская поэзия» (2020).

Марк Антуан Жирар де Сент-Аман. Трубка (1649)

Здесь, на вязанке дров, с опущенной главой
И трубкою в руке, сижу я у камина.
Навязчивой тоской душа моя томима:
Она возмущена жестокостью людской.

Надежда, чтоб спасти меня от муки той,
Мне обещать спешит, что горе поправимо,
Что стану я велик, как властелины Рима;

Я следую за ней, прельщён такой судьбой.

Увы! Едва табак весь в пепел превратится,
На землю мне с небес приходится спуститься,
И в скуке часто я твержу одно и то ж:

Едва к надежде ты свои протянешь руки —
Рассеется она, как дым из этой трубки,
Поэтому табак с надеждой очень схож.

Перевод Бориса Ломакина (borislomakin3@gmail.com), студента 2 курса магистратуры МГУ им. М. В. Ломоносова, факультет иностранных языков и регионоведения, специальность «Лингвистика» Родом из г. Таруса Калужской области. Перевод занял второе место в номинации «французская поэзия» (2020).

Марк-Антуан Жирар Сэн-Аман. Трубка

На связке хвороста, я с трубкою в руке,
Тихонько притулясь у самого камина,
Задумался о том, как зла моя судьбина,
А непокорный взгляд на миг застыл в тоске.

И вдруг рождается в клубящемся мирке
Надежда, что сойдёт всех бед моих лавина,
Взлечу высоко я, и ждёт меня вершина,
Где буду с кесарем самим накоротке.

Но вот табак иссяк и пепла горсткой стал.
С заоблачных высот я вновь на землю пал,
Очнувшийся от грёз, печальней всех на свете.

Нет, я не нахожу здесь разницы большой
Меж трубки куревом и страждущей душой:
Табак — всего лишь дым, а упованье — ветер.

Перевод Валентины Бирчиковой (valentina.birchikova@yandex.ru). Живет в г. Подольск (Подмосковье). В прошлом — Политехнический институт, интереснейшая работа конструктором на большом машиностроительном заводе, затем в концерне "Силовые машины", патенты на изобретения, награды и поощрения. Сейчас "курирует" воспитание замечательных внуков, параллельно пытаюсь приобретать новые знания и умения в отраслях, отличных от профессиональной. Всю сознательную жизнь любит французский язык — не без взаимности. Перевод занял третье место в номинации «французская поэзия» (2020).

Марк Антуан Жирар де Сент-Аман. Трубка

Камин в ночи горит. Я с трубкою сижу
На связке дров, к огню придвинувшись поближе.
Глазами в пол гляжу, душою небо вижу,
Об участи своей в смятении сужу.

Надеждой льщу себя дожить до новых дней,
Что принесут покой, умерят мои муки,
Мой облегчат удел и отдадут мне в руки
Богатство, силу, власть и славу королей.

Но трубка догорит, щепотка пепла в ней...
И я с небес спущусь опять к беде своей.
Чтоб пережить тоску, твержу, скрывая слезы:

Мне запах табака надежду жить дает,
Но эфемерно все и с ветром все уйдет...
Нет разницы большой, что трубки дым, что грезы.

Перевод Александра Пешехонова (benserad@gmail.com), председателя Союза архитекторов ДНР, преподавателя Музыкальной академии имени С. С. Прокофьева (г. Донецк).

ПЕРЕВОДЫ С ИСПАНСКОГО



ИСПАНСКАЯ ПРОЗА

Miguel de Unamuno (1864–1936). La Sima del Secreto

Había en el centro de aquel reino un bosque vasto y espeso. Crecían en él, lozanísimos, toda clase de árboles de verdura perenne. No amarilleaban por otoño, ni tenían que volver a vestirse de tierno verdor por primavera. El sol no entraba a calentar el césped de su suelo; tan espesa era la fronda. Y serpenteaban dentro de él varios arroyos. No le molestaban fieras. Sencillas sendas, trazadas por los pies de los caminantes, casi siempre a la vera de los arroyos y siguiendo el curso de éstos, llevaban a un descampado que en el centro del bosque había.

Nadie recordaba que en el descampado aquel hubiese llovido nunca, y era tradición antiquísima, general y constante la de que, en efecto, nunca llovió en aquel claro del bosque. Aun en los días de tormenta, que eran muy pocos, parecía como si se hiciera un hueco en los nubarrones para que aquel misterioso descampado no se mojara con agua del cielo. Y en el descampado aquel estaba la sima.

La sima era un agujero rocoso, una boca de piedras, de donde partía un senderillo de bajada muy rápida, pero cómoda. El senderillo se iba metiendo en la cueva, hasta que a eso de unos doscientos pasos torcía en recodo, detrás de una roca saliente, y se perdía en el fondo.

Nadie sabía ni podía saber lo que después del recodo, en el fondo de la sima, hubiese. Ninguno de los que lo habían franqueado había vuelto jamás, ni dado señal alguna por la que se barruntase algo de su suerte. Por allí habían entrado niños, mozos, hombres fornidos; mujeres, ancianos, locos y cuerdos, tristes y alegres, y nadie había dado nunca muestra de lo que hubiese. En cuanto franqueaban el recodo no volvía, a saberse de ellos; ni ruido de caída, ni un grito, ni un quejido, ni un suspiro siquiera. Les tragaba un silencio entero y lleno.

Pero este silencio de la sima no era sino cuando ella recibía a sus devotos. En ciertos días, más en otoño que en otra estación del año, y a ciertas horas, a la caída de la tarde, salía del fondo de la sima una música misteriosa envuelta en un vaho de un aroma embriagador y extra-mundano. Oíase como el canto lejano, lejanísimo, de una numerosa procesión, un canto arrastrado, melancólico y quejumbroso de una muchedumbre. Pero la lejana y musical quejumbra era de una melancolía dulcísima y aquietadora. Oyéndola es como se metían en el fondo de la sima muchos de los tantos y tantos que de continuo vagaban por la boca de la cueva.

Мигель де Унамуно (1864–1936). Тайственная бездна

В центре того царства располагался широкий и густой лес. В нем произрастали невероятно пышные вечнозеленые деревья всевозможных видов. Они не желтели осенью, и им не нужно было каждый раз наряжаться в свежую листву весной. Лучи солнца не проникали сквозь эти заросли и не

согревали траву у подножия деревьев — столь густой была эта листва. Несколько ручьев, извиваясь, протекали в глубине леса, дикие звери не тревожили его. Незамысловатые тропы, оставленные ногами путников почти всегда вдоль края ручьев, следуя их течению, вели к пустырю, находившемуся в центре этого леса.

Никто уже не помнил, чтобы в этом пустыре когда-либо шел дождь, и ходило старое поверье, повсеместное и непреклонное: действительно, на той лесной поляне никогда не проливался дождь. Даже в ненастные дни, хотя они бывали и редко, казалось, будто в грозových тучах образовывалась дыра, чтобы на таинственный пустырь не упала ни одна капля с неба. И на том пустыре находилась пропасть.

Это была огромная скалистая яма, каменная расщелина, в которой брала свое начало тропинка, чей спуск был резким, но при этом удобным и легким. Тропинка постепенно уходила в грот, пока на расстоянии двухсот шагов не искривлялась в виде излучины за поднимающейся скалой и терялась вдали.

Никто не знал и не мог знать, что находилось за той излучиной, в глубине пропасти. Ни один из тех, кто в нее спускался, не вернулся обратно, даже не подал знака, по которому можно было судить о дальнейшей его судьбе. В бездну входили дети, юноши, сильные крепкие мужчины, женщины, старики, безумные и трезвомыслящие, печальные и веселые, и никто из них не дал ни единого намека о том, что там находилось. Едва спустившись в эту пропасть, человек пропадал бесследно: ни шума падения, ни вскрика, ни жалобного стога, ни хотя бы вздоха. Его поглощала полнейшая, всеобъемлющая тишина.

Но бездна пребывала в этом молчании лишь в момент, когда принимала своих прихожан. В некоторые дни, особенно в осеннюю пору, и в определенные часы, с наступлением вечера из глубины пропасти доносилась таинственная музыка, которую обволакивал опьяняющий и внеземной аромат. Было слышно некое далекое, очень далекое пение многочисленной процессии: протяжное, тоскливое, заунывное пение, полное слез и плача сонма людей. Но те далекие и мелодичные жалобные стоны были сладчайшей и успокаивающей меланхолией. И звук этой музыки манил в глубь пропасти многих из всех тех, что постоянно плутали у входа и затем пропадали в гроте.

Перевод Светланы Ширяевской (shiryayevskaya@gmail.com). Преподаватель испанского, автор популярного в инстаграме блога @svetispanish, имеет диплом переводчика РУДН (2010). Живет в Мадриде с 2016 г. Автор различных курсов: "Бог Испанской фонетики", "Испанский для Начальников". Работает над составлением учебника "Planeta Español". Перевод занял первое место в номинации «испанская проза» (2016).

Мигель де Унамуно (1864–1936). Бездна, таящая секреты

Это было в центре необъятного и густого лесного королевства. В котором росли всевозможные виды буйных многолетних растений. Они не желтели в осень, не должны были снова одеваться в весеннее зеленое платье. Листва леса была настолько густой, что солнечный свет не мог пройти сквозь нее и согреть землю. Поэтому он блуждал среди ручейков не беспокоя животных. Легкие дорожки, протоптанные ногами странников, почти всегда шли по краю ручья и продолжали свой путь приводя к поляне, которая находилась в центре леса.

Никто не помнил, чтобы на этой поляне когда-нибудь шел дождь. Так гласило старинное предание, согласно которому, в этом лесном просвете никогда не было дождя. Даже в дни бури его было очень мало. И казалось, будто среди туч появлялся просвет чтобы эта таинственная поляна не намокала от капель дождя. На этой поляне была пропасть.

Эта пропасть представляла собой отверстие, вход в которое был выложен камнями. Оттуда начинался очень быстрый, но удобный путь вниз. Путь шел в пещеру до тех пор, пока после двухсот шагов не поворачивал за выступающую скалу и терялся в конце.

Никто не знал и не мог знать, что находится после поворота в глубине пропасти. Никто из тех, кто пересек его, не вернулись назад и не подали ни одной весточки, свидетельствующей о его успехе. Туда входили дети, молодые люди, сильные мужчины, женщины, пожилые люди, безумцы и разумные, грустные и веселые, и никто не мог рассказать о том, что там находится. После преодоления уступа никто не возвращался. Ни единого шума, ни единого звука падения, ни одного крика, ни одного вздоха. Их поглощала всеобъемлющая тишина.

Но эта тишина царила только тогда, когда принимала своих пленников. В осеннюю пору, чаще чем в другие времена года, наступали дни, когда в определенное время с наступлением темноты из пропасти доносилась волшебная музыка, окутывавшая пьянящим ароматом и чем-то очень мирским. Она доносилась как отзвук далекого пения, как далекая песнь многочисленной процессии, как несчастное пение, задумчивой и жалобной толпы. Но далекая и жалобная она была сладко меланхолична и успокаивающая. Слушая её многие из тех, кто постоянно бродил у входа в пещеру падал вглубь пропасти.

Перевод Элины Соболевой (dolciana@rambler.ru). Учитель истории и испанского языка. Закончила ГАУГН при РАН, по специальности историк-испанист. Вдохновлена и очарована культурой Испании во всех её проявлениях. Перевод занял третье место в номинации «испанская проза» (2016).

Antonio Machado (1875–1939, España).
Juan de Mairena. (Sobre una filosofía cristiana)

Sobre la divinidad de Jesús he de decir que nunca he dudado de ella. O el Cristo fue el divino Verbo encarnado milagrosamente en las entrañas vírgenes de María, y salido al mundo para expiar en él los pecados del hombre, que es la versión ortodoxa, difícil de comprender, pero no exenta de fecundidad, o fue, por contrario, el hombre que se hace Dios, deviene Dios para expiar en la Cruz los pecados más graves de la divinidad misma, que es la versión heterodoxa, y no menos profunda, de mi maestro. Como veis ambas ponen a salvo la divinidad de Jesús. Sobre las dos habéis de meditar, bien con el propósito de conciliarlas, salvando, no ya la divinidad, que por sí misma se salva, sino el origen divino del Crucificado, bien, si ello no fuere posible, con el valor suficiente para eliminar una de ellas y ver en la otra el hecho cristiano en toda su pureza.

Para mí es evidente – sigue hablando Mairena a sus alumnos – que el Cristo trajo al mundo, entre otras cosas, un nuevo tema de reflexión, sobre el cual no hemos meditado bastante todavía. Por esta razón, creo yo en una filosofía cristiana del porvenir, la cual nada tiene que ver – digámoslo sin ambages – con esas filosofías católicas, más o menos embozadamente eclesiásticas, con que hoy, como ayer, se pretende enterrar al Cristo en Aristóteles. Se pretende, he dicho, no que se consiga, porque el Cristo – como pensaba mi maestro – no se deja enterrar. Nosotros partiríamos de una total jubilación de Aristóteles, convencidos de la profunda heterogeneidad del intelectualismo helénico, maduro en el Estagirita, con las intuiciones, o si queréis, revelaciones del Cristo. Porque esto es para nosotros un acierto definitivo de la crítica filosófica, sobre el cual no hay por qué volver.

Otro de los grandes enemigos del Cristo y, por ende, de una filosofía cristiana sería, para nosotros, la Biblia, ese cajón de sastre de la sabiduría semítica. Para ver la esencia cristiana en toda su pureza y originalidad, los mismos Evangelios reputamos fuente de error, si antes no son limpiados de toda la escoria mosaica que contienen.

Otrosí: ni la investigación histórica, por un lado, ni, por otro, la interpretación de textos dogmáticos, han de aprovecharnos demasiado.

Nosotros partiríamos de una investigación de lo esencialmente cristiano en el alma del pueblo, quiero decir en la conciencia del hombre, impregnada de cristianismo. Porque el cristianismo ha sido una de las grandes experiencias humanas, tan completa y de fondo que, merced a ella, el *zoon politikon*, de Aristóteles, se ha convertido en un ente cristiano que viene a ser, aproximadamente, el hombre occidental.

Антонио Мачадо (1875–1939, Испания)
Хуан де Майрена. (О христианской философии)

В божественной природе Иисуса Христа, должен сказать вам, я никогда не сомневался. Либо Христос был Словом Божьим, что чудом воплотился в непорочном чреве девы Марии и пришёл в мир ради искупления грехов человеческих, как гласит ортодоксальное толкование, трудное для

понимания, но приносящее свои плоды; либо, наоборот, это человек сделался Богом, стал Богом, чтобы искупить на Кресте тягчайшие грехи самой божественной сущности, как гласит неортодоксальное, и притом не менее глубокое, толкование моего учителя. Как видите, ни одно из них не покушается на божественную природу Иисуса. И поразмыслить вам следует над обоими: или вы постараетесь примирить их, спасая при этом не столько божественную сущность, которая и через саму себя спасётся, сколько божественное происхождение Распятия; или, если не выйдет, вы наберётесь достаточно мужества и одно из них отбросите, а в другом — узрите христианство во всей его чистоте.

Для меня очевидно, продолжал Майрена, обращаясь к ученикам, что Христос, помимо всего прочего, принёс в этот мир новую мысль, но мы над ней пока ещё недостаточно размышляли. А потому я верю, что грядёт иная христианская философия, не имеющая ничего общего со всеми этими католическими изысканиями — ведь они, скажем прямо, так или иначе представляют церковь, и сегодня, как и раньше, стремятся похоронить Христа в Аристотеле. Только стремятся — сказал я, но не хоронят, потому что Христос, как полагал мой учитель, не позволяет им этого сделать. Мы же, зная глубокую неоднородность древнегреческой мысли, в Стагирите достигшей своей полноты, отбросим Аристотеля и проникнемся прозрениями, или если хотите, откровениями Христа. Потому что именно в этом и есть для нас основа философской критики, и к этому вопросу нам можно больше не возвращаться.

Другим же великим врагом Христа, а, следовательно, и христианской философии для нас станет Библия, этот кладёзь еврейской мудрости. Чтобы увидеть сущность христианства в его чистоте и самобытности, даже Евангелия мы будем считать источником заблуждений, если предварительно не освободим их от всей той разнообразной шелухи, что в них содержится.

Впрочем, ни историческое исследование с одной стороны, ни толкование догматических текстов с другой не принесут нам особой пользы.

Мы прежде всего будем отталкиваться от изучения того, что есть подлинно христианского в душе народа, я имею в виду, в преисполненном христианством сознании человека. Потому что христианство стало одним из важнейших опытов человечества, и опытом таким полным и глубоким, что благодаря ему политическое животное Аристотеля превратилось в существо христианское, которое и можно, по сути, отождествить с западным человеком.

Перевод Екатерины Щербаковой (kadmit@rambler.ru), студентки программы дополнительного образования «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», Петербургская школа перевода, СПбГУ (Санкт_Петербург). Перевод занял второе место в номинации «испанская проза» (2020).

ИСПАНСКАЯ ПОЭЗИЯ

**José Moreno Villa (1887–1955).
Soneto Final**

Limpia, callada luz, sol invernizo
las colinas suaves de Castilla;
déjame ver la eterna maravilla
de este campo tachado de terrizo.

Yo puedo destacar de lo plumizo
la nota azul, la roja y amarilla,
y, de la variedad, la más sencilla
clave que a todo presta mucho hechizo.

No añoro las fragosas serranías,
las verdes oquedades soñolientas,
los escondidos manantiales puros;

en cambio, sin las claras lejanías,
sin chopos, sin castillos y sin ventas,
mis pensamientos fueran inseguros.

**Хосе Морено Вилья (1887–1955).
Заключительный сонет**

Прохладный чистый свет и луч зимы,
Изгиб Кастильи ласковых холмов;
Дай мне взглянуть на землю — дар
богов,
Чья скудость так тревожила умы.

Я синий разгляжу среди сурьмы,
Средь желтого и красного тонов
Цвет разыщу, что свету облаков
Придаст очарованье полутьмы.

Оплакивать не стану дикость скал.
Мне не милы ни сонные лощины,
Ни тайных родников поспешный бег.

Я б в горизонте чистом не искал
Сокрытые от путников вершины.
Таверна, кров — так скоротаю век.

*Перевод Марии Медвинской
(mashorc@gmail.com). Родилась и
выросла в Петербурге, в настоящее
время студентка 2 курса магистратуры
СПбГУ, программы «Инновационные
технологии перевода». Перевод занял
второе место в номинации «испанская
поэзия» (2016).*

Хосе Морено Вилья (1887–1955).

Последний сонет

Прозрачный, чистый свет. В Кастилии зима.
Такая тишина, что хочется до боли
На плугом перечеркнутое поле
Всю жизнь смотреть с пушистого холма.

Вглядишься в пейзаж — печаль уйдет сама:
В свинцовой дали видишь поневоле
Игру веселых бликов. Одного ли
меня свели те искорки с ума?

Я не тоскую по изломам гор,
Глухим лесам, их сонному безлюдью,
где прячутся святые родники,

Но вижу замок, постоялый двор —
и лишь тогда вдыхаю полной грудью.
И мысли вдруг становятся легки.

Перевод Ирины Черновой (chernovairina21@gmail.com). Уроженка Москвы, окончила ГИТИС по специальности театроведение, специализируется на театре Испании. В данный момент изучает испанскую и латиноамериканскую литературу в магистратуре университета Барселоны. В качестве переводчика сотрудничает с издательством Descontexto (Сантьяго, Чили). Перевод занял первое место в номинации «испанская поэзия» (2016).

Miguel de Cervantes Saavedra. Don Quijote. Tomo I. Capitulo XXXIII

Busco en la muerte la vida,
salud en la enfermedad,
en la prisión libertad,
en lo cerrado salida y en el traidor lealtad.

Pero mi suerte, de quien
jamás espero algún bien,
con el cielo ha estatuido que,
pues lo imposible pido,
lo posible aun no me den.

**Мигель де Сервантес Сааведра.
Дон Кихот. Том I. Глава XXXIII**

Я жизнь свою и в смерти отыскал,
Недуг меня да исцелит,
Свобода мне в застенках щит,
В безвыходности выход ждал,
Хоть предан — верность грудь бодрит.

Но не моя удача. Тогда чья?
Я горевал, но вспыхнула заря,
Есть в Небесах один простой закон,
Молил я об одном, но дал мне он,
Всё то, что невозможно. И не зря!

Перевод Оли Прощёной (Ольги Екшибаровой, ooosestra@gmail.com), аспирантки Алтайского государственного педагогического университета (Барнаул), специальность «История философии», христианской поэтессы.

Rafael Alberti. A la Gracia

A ti, divina, corporal, preciosa,
por quien el aura impereceptible orea
el suspendido seno de recrea
la perfección tranquila de la rosa.

A ti, huidiza, resbalada, airosa,
caricia virginal, sal que aletea
y ante la mano en vuelo delinea
tu fugitiva, rubia espalda, diosa.

A ti, fino relámpago, destello,
sonrisa más delgada que el cabello,
burladora, inefable travesura.

La gracia de tu gracia es resistirte,
correr, volar, asirte, desasirte.
A ti, yo no sé qué de la Pintura.

Рафаэль Альберти. Грация

Тебе, в ком воплощенье божества,
Но в драгоценной ауре небесной,
Чья грудь поднята прелестью телесной,
Как роза совершенна и тиха.

Тебе, чью грациозность не поймать,
Чья девственная ласка недоступна,
И руки соединить с тобой преступно,
Бежишь, богини образ твой под стать.

Тебе, кто словно молния тонка,
Твой хрупкий стан прозрачней волоска,
В том зла насмешка или благодать.

Тебе противостать или, летая,
Схватить тебя, в себя не принимая.
С тебя, я знаю, лишь портрет писать.

Перевод Оли Прощёной (Ольги Екишбаровой, ooosestra@gmail.com), аспирантки Алтайского государственного педагогического университета (Барнаул), специальность «История философии», христианской поэтессы. Перевод занял третье место в номинации «испанская поэзия» (2018)

Cesar Vallejo (1892–1938, Perú)
El Tálamo Eterno

¡Sólo al dejar de ser, Amor es fuerte!
Y la tumba será una gran pupila,
en cuyo fondo supervive y llora
la angustia del amor, como en un cáliz
de dulce eternidad y negra aurora.

Y los labios se encrespan para el beso,
como algo lleno que desborda y muere;
y, en conjunción crispante,
cada boca renuncia para la otra
una vida de vida agonizante.

Y cuando pienso así, dulce es la tumba
donde todos al fin se compenentran
en un mismo fragor;
dulce es la sombra, donde todos se unen
en una cita universal de amor.

Сесар Вальехо (1892–1938, Перу).
Вечное ложе

Лишь та любовь сильна, что умерла!
И будет ей могилой бездна глаза,
Во глубине которого полна
Тоска любви слезами, точно в чаше,
Где вечность пресна и заря черна.

И губы закипят для поцелуя,
Как нечто полное, что через край
На смерть бежит, — и в ярости
слиянья
Пожертвуют уста другим устам
Сиянье жизни ради угасанья.

Подумаю об этом — и мягка
Становится могила, где навеки
Сольются голоса в ужасный звон,
И тень мягка, в которой на свиданье
Без исключения всякий приглашен.

*Перевод Бориса Ковалева
(bvkovalev@yandex.ru), студента
филологического факультета СПбГУ,
приглашенного преподавателя
образовательного центра «Сириус»
(программы «Литературное творчество»
и «Лингвистика»). Перевод занял первое
место в номинации «испанская поэзия»
(2020).*

**Сесар Вальехо (1892-1938, Перу)
На брачном ложе вечности**

Любовь всеильна только после
смерти!
Ей нет преград под насыпью
могильной,
Там, как на дне зрачка, она томится,
Бурлит и бродит, словно в сладкой
чаше,
Где чёрная заря веками длится.

Сближаются уста для поцелуя,
Как струи влаги, жаждущие слиться,
И судорожно ищут единенья,
Забыв и радости, и муки жизни
В слепом порыве самоотреченья.

И потому мне сладок и желанен
Приют могильный, гибельное тленье,
Где обретёт забвенья человек,
И гробовая мгла, где все сольются
В любовном единении навек.

*Перевод Ольги Комаровой
(olya34@mail.ru). Окончила Воронежскую
государственную лесотехническую
академию и Воронежский
государственный университет. Научный
сотрудник Всероссийского научно-
исследовательского института лесной
генетики, селекции и биотехнологии.
Перевод занял первое место в номинации
«испанская поэзия» (2020).*

**Сесар Вальехо (1892–1938, Перу)
Вечное брачное ложе**

Любовь сильней, лишь только канет в
вечность.

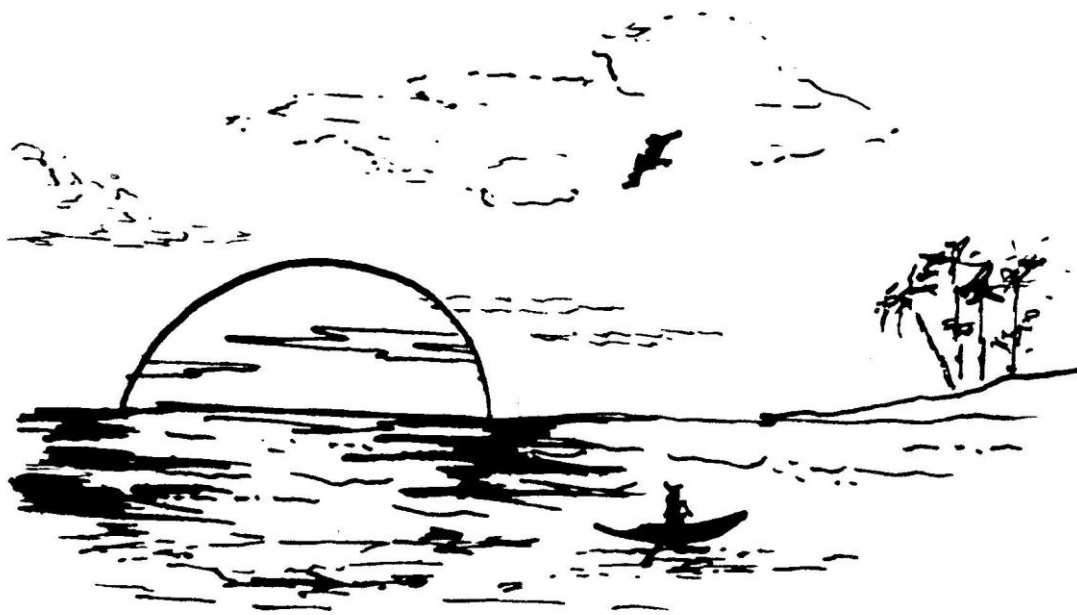
Могила — как зрачок, в его глубинах
То вспыхнет, то заплачет мука эта,
Как в чаше, где почти окаменела
Смесь вечности и черного рассвета.

А поцелуи чем-то губы полнят
До плеска через край и умирают.
Сомкнувшись в крепком ласковом
касание,
Несут любимым трепетные губы
Жизнь преходящую, как будто
завещанье.

И мыслю я — тогда сладка могила,
Что наконец объединяет вместе
В той бездне всех с начала
мирозданья.
И сладок мрак, ведь это, честь по
честь,
Всеобщее любовное свиданье.

*Перевод Веры Соломахиной
(veroniquesvrn@yandex.ru). Окончила
факультет романо-германской
филологии Воронежского университета,
преподаватель английского языка.
Второй язык французский.
Самостоятельно понемногу знакомилась
с другими языками (испанским,
итальянским, немецким, чешским,
польским). Перевод занял третье место в
номинации «испанская поэзия» (2020).*

ПЕРЕВОДЫ С ИТАЛЬЯНСКОГО



ИТАЛЬЯНСКАЯ ПРОЗА

Giovanni Verga (1840–1922). Il Tramonto di Venere

Quando Leda, astro della danza, splendeva nel firmamento della Scala e del San Carlo, come stella di prima grandezza, contornata di brillanti autentici, e regalava le sue scarpette smesse ai principi del sangue e del denaro, chi avrebbe immaginato che un giorno ella sarebbe stata ridotta a correre dietro le scritte e i soffietti dei giornali, cogli stivalini infangati e l'ombrello sotto il braccio – a correre specialmente dietro un mortale qualsiasi, fosse pur stato Bibì, croce e delizia sua?

Poiché Bibì era anche un mostro, un donnaiuolo, il quale correva dal canto suo dietro tutte le gonnelle, e concedeva perfino i suoi favori alle matrone ancora tenere di cuore, adesso che la sua Leda batteva il lastrico, in cerca di scritte e di quattrini, e lui aspettava filosoficamente la dea Fortuna al Caffè Biffi, dalle 5 alle 6, nell'ora in cui anche le matrone s'avventurano in Galleria – oppure tentava di sforzarla – l'instabil Diva – a primiera o al bigliardo, tutte le notti che non consacrava alla dea Venere, come chiamava tuttora la sua Leda, quand'era fortunato alle carte o altrove, o quando non la picchiava, per rifarsi la mano.

Ahimé sì! L'indegno era arrivato al punto di fare oltraggio ai vezzi per cui aveva delirato, un tempo – per cui i Cresi della terra avevano profuso il loro oro. Le rinfacciava adesso, brutalmente: – Dove sono questi Cresi?

– Ah, l'ingrato, che dimenticava quanto gliene fosse passato per le mani di quell'oro; con quanta delicatezza la sua Leda gliene avesse celato spesso la provenienza, per non farlo adombrare, lui che era tanto ombroso, allora! E i sottili artifici, le trepide menzogne, i dolci rimorsi che rendevano attraente l'inganno fatto all'amante, per l'amante stesso, onde legarlo col beneficio! E le care scene di gelosia, e le paci più care!... Che importa il prezzo? Non era *lui* il suo tesoro, il suo bene?

Ma ciò che ora rendeva furiosa specialmente la povera dea Venere, erano le infedeltà gratuite e umilianti di Bibì; gli idilli che le toccava interrompere dinanzi alla tromba della scala, colle serve del vicinato; il lezzo di sottane sudice che egli le portava in luogo di violette di Parma. Aveva un vulcano in corpo, l'indegno! Ardeva per tutte quante della stessa fiamma che consumava lei pure, ah derelitta – di persona e di beni!

O dolcezze perdute, o memorie! Quando invece Bibì correva dietro a lei, come un pazzo, in quella memorabile stagione dell'*Apollo* che fece perdere la testa anche a dei principi della Chiesa! Ebbene, essa aveva preferito Bibì, né signore né principe, allora, ma giovin, studente e povero, venuto dal fondo di una provincia, ricco solo di entusiasmi, per imparare musica, o pittura – una bell'arte insomma. La più bell'arte, per lui, fu di saper conquistare, senza spendere un quattrino, il cuore di Leda, la quale in quell'epoca teneva legata al filo dei suoi menomi capricci quasi una testa coronata. Capriccio per capriccio, essa preferì il nuovo, quello che aveva

il sapore del frutto proibito, un'attrattiva insolita, la freschezza e la grazia di un primo palpito: – Lettere, mazzolini di fiori, incontri semifortuiti al Pincio, ogni fanciullaggine, in una parola. Ei ripeteva, supplice, come un eroe della scena: – Un'ora!... e poi morire!...

– No! – rispose ella infine. – No! Vivere e amar!

– Amor, sublime palpito!... Il fatto è che ne fu presa anche lei stavolta, allo stesso modo che aveva fatto ammattire tanti altri. – Ma presa, là, come si dice, pei capelli. Così il fortunato giovane ascese furtivo all'ambito talamo del geloso prence. Gli schiuse l'Eden lei stessa, tremante, a piedi nudi – i divini piedi cantati in prosa e in versi! – Bibì, che a sentirlo era un leone indomito, tremava anche lui come una foglia. E se lo prese, lei, trionfante per la prima volta! – Come sei timido, fanciullo mio!

– Tanto che Sua Altezza, seccato infine da quelle fanciullaggini, degnò aprire un occhio, e li scacciò dall'Eden. Che importa? Il mondo non era seminato di teatri e di mecenati che portavano in palma di mano lei e Bibì? Soltanto, come i principi son rari, e i mecenati vogliono sapere dove vanno a finire i loro denari, i due amanti fecero le cose con maggior cautela, e le fanciullaggini a usci chiusi. Bibì era felice come un Dio, viaggiando da una capitale all'altra, in prima classe, ben vestito, ben pasciuto, a tu per tu cogli impresari e i primi signori del paese che accorrevano a fare omaggio alla sua diva. Se bisognava eclissarsi qualche volta discretamente dinanzi a loro, lo faceva con un sorriso che voleva dire: – Poveretti! – Le stesse scene di gelosia sembravano combinate apposta per infiorare quel paradiso, come una carezza all'amor proprio di entrambi, una protesta dignitosa dell'amante, e una delicata occasione offerta all'amata di tornare a giurargli e spergiurargli la sua fede: – No, caro!... Lo sai!... Sei tu solo il signore e il padrone... Ecco! –

Basta, ora si trattava di non lasciarsi sopraffare da quell'intrigante della Noemi, che le rapiva agenti ed impresari, alla Leda, con tutte le armi lecite e illecite, e le portava via le scritture – una che non aveva dieci chili di polpa sotto le maglie! – E le portava via anche Bibì, il quale si dava il rossetters ai baffi, e si metteva in ghingheri per andare ad applaudirla, *gratis et amore*.

– Ma il ballo nuovo del cavalier Giammone non me lo porta via, no! – giurò a se stessa la bella Leda.

Da un mese, Barbetti e tutti gli altri giornalisti che vendono l'anima a chi li paga, non facevano altro che rompere la grazia di Dio ad artisti ed abbonati con quel nome della Noemi stampato a lettere di scatola. Già erano in tanti a far la spesa degli articoli, i protettori della casta vergine! Ma il ballo nuovo del cavalier Giammone non l'avrebbe avuto, no!

Il cavaliere stava appunto parlandone coll'impresario, chiusi a quattr'occhi, dinanzi al piano del Gran Poema storico-filosofico-danzante, sciorinato sulla tavola, allorché capitò all'improvviso la signora Leda, in gran gala, e col fiato ai denti.

– Cavaliere mio!... scusatemi!... Non si parla d'altro sulla piazza!... Sarà un trionfo, vi garantisco!... Lasciatemi vedere...

– Ah! – sbuffò il coreografo colto sul fatto. – Oh!...

– E si buttò sulle sue carte, quasi volessero rubargliele. L'impresario, dal canto suo, diede una famosa lavata di capo al povero tramagnino che stava a guardia dell'uscio.

– Ho dato ordine di non essere disturbato, quando sono in seduta! Nessuno entra senza essere annunziato!...

– Dopo tanti anni che le porte si spalancavano dinanzi a lei, e gli impresari le venivano incontro col cappello in mano! Se non la colse un accidente, fu proprio un miracolo. Barbetti, che la incontrò all'uscita così rossa e sconvolta, non poté tenersi dal dirle ridendo:

– Come va, bellezza?

– Senti! – rispose lei, fuori della grazia di Dio davvero; – senti, faresti meglio a stare alla porta della Noemi, per vedere chi va e chi viene, giacché fai quel bel mestiere!

– All'occasione la signora Leda aveva la lingua in bocca anche lei – la bocca amara come il tossico. – Per rifarsela dovette fermarsi al Biffi, a bere qualche cosa. Bibì era là, al solito, in trono fra gli amici. Tutti quanti, ad uno ad uno, per far la corte a lei e a lui, cominciarono a dire ira di Dio della Noemi – che non aveva scuola – che non aveva grazia – che non aveva questo e non aveva quest'altro. Già l'avevano tutti quanti a morte coll'Impresa che lasciava disponibili i migliori soggetti. Poi, dopo che l'amorosa coppia si fu congedata, fra grandi inchini e scappellate – Bibì stavolta volle accompagnare la sua signora per sentir bene come era andata a finire, un po' inquieto e nervoso in fondo, ma disinvolto, giocherellando colla mazzettina, lei tutta arzilla e saltellante, col sorriso di cinabro e le rose sulle guance (quantunque si sentisse soffocare nella giacchetta attillata) per non dar gusto ai colleghi, Scamboletti, il celebre buffo, ch'era anche il burlone della compagnia, mandò loro dietro questo saluto:

– Lei sì che n'ha della grazia di Dio!... Una balena! – Anzi citò un'altra bestia.

– Senza invidia però, Bibì! – Senza invidia, a lui, Bibì, ch'era un pascià a tre code, e di donne ne aveva sino ai capelli, damone e titolate?... Basta, era un gentiluomo! E sapeva anche quello che andava reso alla sua signora. Ma in quanto all'arte però non era partigiano, e ammirava ugualmente tutti i generi. Leda era del genere classico? E lui l'aveva fatta subito scritturare al Carcano, un teatro di cartello anche questo, non c'è che dire. Oggi, pei balli grandi, bastano le seconde parti, gambe e macchinario. Piacciono anche questi? Ebbene, batteva le mani lui pure, senza secondi fini.

Ma la Leda, che non aveva più un cane che le battesse le mani, era diventata gelosa come un accidente, e gli amareggiava la vita, povero galantuomo. Lagrime, rimproveri, scene di famiglia continuamente. Alle volte, magari, lui doveva buttar via il tovagliolo a mezza tavola, per non buttarle il piatto in faccia. Tanto, quella poca grazia di Dio gli andava tutta in veleno.

Si rappattumavano dopo, è vero; perché quando si è fatto per un uomo quello che aveva fatto lei!... – E quando si è un gentiluomo come era lui!... Ma

però artisti l'uno e l'altra, dopo la commedia delle paci e delle tenerezze si tenevano d'occhio a vicenda, e la signora Leda, a buon conto, aveva messo un tramagnino alle calcagna di Bibì, per scoprire il dietro scena nel repertorio delle sue tenerezze. Talché gli amici al vederlo sempre con la guardia del corpo, gli affibbiarono il titolo di *Re di picche*.

Infine tanto tuonò che piovve, la sera stessa della beneficiata di Leda, che non c'erano duecento persone al Carcano. Ella cercò di sfogarsi con Bibì “il quale faceva il risotto” alla Noemi, invece! lui e i suoi amici! bestie e animali tutti quanti, che non sapevano neppure dove stesse di casa il vero merito! e si lasciavano prendere all'amo dalle grazie di quella diva, la quale rideva di loro, poi – sicuro! – di lui pel primo! – Gonzo!

– Via, fammi il piacere! – interruppe Bibì accendendo un mozzicone di sigaro dinanzi allo specchio.

– Ah, non vuoi sentirtela dire? Già, quella lì non ti piglia certo pei tuoi begli occhi, mio caro! – Schizzava fuoco e fiamme dagli occhi, lei, colle ciglia ancora tinte e il rossetto sulla faccia, così come si trovava all'uscire dal teatro, una Furia d'Averno – dopo tutto quello che aveva fatto per lui, e le occasioni che gli aveva sacrificato, ricconi e pezzi grossi, che se avesse voluto, ancora!...

– Fammi il piacere, via! – tornò a dire Bibì con quel ghignetto che la faceva uscire dai gangheri.

– Allora senti! Bada bene a quello che fai! Bada bene, veh! Che son capace di andare a romperle il muso, alla tua casta diva! – E qui un mondo di altre porcherie: – che lui era roba sua, di lei, giacché lo pagava e lo manteneva, e si rompeva la grazia di Dio, laggiù al Carcano, per mantenergli anche la casta diva! – Allorché era in bestia la signora Leda sbraitava tal quale come la sua portinaia, e vomitava gli impropri che aveva inteso al Verziere, quando stava da quelle parti. – Puzzone! Svergognato! Ti pago perfino il sigaro che hai in bocca!... – Scendere sino a queste bassezze, via! Talché Bibì stavolta perse il lume degli occhi e l'educazione, e gliene disse d'ogni specie anche lui, buttando in aria ogni cosa, dediche, omaggi, ritratti e corone sotto vetro, tutto quanto v'era in salotto, e quando non ebbe più che dire buttò anche le mani addosso a lei, senza riguardo neppure al rossetto e alle finte che costavano 50 lire al paio. – Già al Carcano non ci avrebbe ballato più per un pezzo, la brutta bestia, tante gliene diede, – e il meglio era di prendere il cappello e andarsene via, poiché il vicinato era tutto sul pianerottolo, e colla Questura lui non voleva averci a che fare di nuovo, dopo che gli aveva rotto le scatole per altre sciocchezze.

Stavolta sembrava bell'e finita per sempre fra Bibì e la sua signora. – Ciascuno per la sua strada, e alla grazia di Dio tutt'e due, in cerca di miglior fortuna, – se non fossero stati i buoni amici che vi si misero di mezzo. Tanto, dopo tanto tempo che stavano insieme, erano più di marito e moglie. No, lei non poteva starci senza Bibì. Fosse sorte, fosse malia, la teneva legata ad un filo, come essa ne aveva tenuti tanti, uomini seri, ed uomini forti, che in mano sua sembravano delle marionette. E anche Bibì, a parte l'interesse, un cuor d'oro in fondo, che non si poteva dire lo facesse muovere l'interesse, ormai. Non tornò a servirla in ogni

maniera e a procurarle le scritture egli stesso? in America, in Turchia, dove poté, giacché al giorno d'oggi soltanto laggiù sanno conoscere ed apprezzare le celebrità.
– Prova i vaglia postali che lei mandava, poco o molto, quanto poteva.

Un cuor d'oro. E allorché la povera donna batté il bottone finale, e sbarcò a Genova senza un quattrino, borsa e rifinita, chi trovò alla stazione, a braccia aperte? Chi si fece in quattro per scovarle qua e là mezza dozzina di ragazze promettenti, e insediarla maestra di ballo addirittura? Chi le prestò i mezzi, a un tanto al mese, per metter su “pensione d'artisti” – una speculazione che sarebbe riuscita un affarone, se non ci si fosse messa di mezzo la Questura, che l'aveva particolarmente con Bibì?

E come ogni cosa andava di male in peggio, cogli anni e la disdetta, chi le prestò qualche ventina di lire, al bisogno, di tanto in tanto, quando si poteva? Dio mio, le ventine di lire bisogna sudare sangue e acqua a metterle insieme; e quando si diceva prestare, da lui a lei, era un modo di dire.

E al calar del sipario, infine, allorché la povera Leda andò a finire dove finiscono gli artisti senza giudizio, chi andò a trovarla qualche volta all'ospedale, e portarle ancora dei soldi, se mai, per gli ultimi bisogni?

Bibì ne aveva avuto del giudizio, è vero, e un po' di soldi aveva messo da parte, col risparmio e gli interessi modici, tanto da render servizio a qualche amico, se era solvibile, e da far la quieta vita, coi suoi comodi e la sua brava cuoca. Perciò quelle visite all'ospedale gli turbavano la digestione, gli facevano venire le lagrime agli occhi, e non era commedia, no, quando ne parlava poi cogli amici, al caffè.

– Bisogna vedere, miei cari! Una cosa che stringe il cuore, chi ne ha! L'avreste creduto, eh? Lei abituata a dormire nella batista!... E ridotta che non si riconosce più... Un canchero, un diavolo al petto... che so io... Non ho voluto vedere neppure. Lei ha sempre la mania di far vedere e toccare a tutti quanti. E delle pretese poi! Certe illusioni!... Non si dà ancora il rossetto? Misera umanità! Ieri, sentite questa, vo sin laggiù a Porta Nuova, apposta per lei, con questo caldo, e trovo la scena della *Traviata*: “O ciel morir sì giovane...” “Mia cara:.. giovani o vecchi... Voi guarirete, ve lo dico io!” “Ah! Oh!” Allora viene la parte tenera, e vuol sapere se sono sempre io... lo stesso amico... da contarci su... “Certo... certo... Diamine!...” O non mi esce a dire di condurla via? Sissignore – che una volta via di lì è sicura di guarire – che vogliono operarla – che ha paura del medico: “Per carità! Per amor di Dio!” “Un momento, cara amica! Che diamine, un momento!” Ella si rizza come una disperata, afferrandomi pel vestito, baciandomi le mani... Non ci torno più, parola d'onore!

– E vedendo che ci voleva anche quello, dalla faccia degli amici, Bibì asciugò una furtiva lagrima.

Джованни Верга (1840–1922). Закат Венеры

Когда Леда, звезда танцевального небосклона, блистала на сценах «Ла Скала» и «Сан-Карло», подобно светилу первой величины в обрамлении настоящих бриллиантов, и дарила свои изношенные пуанты сильным мира сего, наделённым властью по праву крови или кошелька, кто бы мог представить, что в один прекрасный день она опустится до того, чтобы бегать за ангажементами и хвалебными газетными статейками в забрызганных грязью сапожках и с зонтиком под мышкой, в том числе бегать за всяким простым смертным, пусть даже Биби, её крестом и её усладой?

Ведь Биби был ещё и чудовищем, бабником, который, со своей стороны, бегал за каждой юбкой и не обделял своим вниманием даже замужних женщин с ещё мягким сердцем; теперь, когда его Леда обивала пороги в поисках ангажементов и средств к существованию, он философски ожидал благосклонности богини Фортуны в кафе «Биффи» с пяти до шести вечера — в час, когда женщины также отваживались пройти по галерее, — или же пытался покорить эту богиню, столь непостоянную в своей милости, играя в примьеру¹ или в бильярд, во все те вечера, которые не были посвящены богине Венере — так он до сих пор называл свою Леду, когда ему везло в картах или на другом поприще и когда он её не бил, давая руке отдохнуть.

Да, увы! Подлец дошёл до того, что начал издеваться над красотой, от которой некогда сходил с ума, для которой крёзы мира расточали свои богатства. Теперь он её этим безжалостно попрекал: «Ну и где они, твои крёзы?»

Ах, неблагодарный, он забыл, сколько утекло этих богатств у него сквозь пальцы, с каким тактом его Леда часто скрывала от него их происхождение, чтобы не заронить недоверия в его душу, ведь он был таким подозрительным в то время! Тонкие уловки, волнующие выдумки, сладкие угрызения совести, которые добавляют прелести в обман, сплетённый для возлюбленного ради самого же этого возлюбленного, чтобы привязать его, одаривая благами! А эти милые сцены ревности, и ещё более милые примирения!.. Какое значение имеет цена? Разве не он был её сокровищем, её достоянием?

Но что больше всего приводило теперь в ярость несчастную Венеру, так это неоправданные и унижительные измены Биби, это разрушение идиллии, которое ей приходилось переживать уже при выходе на лестничную площадку, где она сталкивалась с соседскими служанками, это вонь грязных юбок, которую он тянул в её мирок, пахнувший пармскими фиалками. Внутри этого подлеца клокотал вулкан! И этот вулкан извергал

¹ Примьера (ит.: *primiera*) — итальянская азартная карточная игра. — *Прим.пер.*

для всех одинаковую лаву, которая пожирала и её — увы, покинутую, — её личность, её достаток!

О, эти утраченные радости, о, эти воспоминания! А ведь когда-то Биби бегал за ней, как безумный, в то памятное время, когда ей благоволили музы и от неё теряли головы даже кардиналы! А она вот предпочла Биби, не графа и не князя, а тогда ещё молодого бедного студентика, который прибыл из глухой провинции и единственным богатством которого был энтузиазм: желание обучаться музыке или живописи — в общем, какому-нибудь изящному искусству. Самым изящным из искусств для него оказалось суметь покорить, не тратя на это ни гроша, сердце Леды, которая в те времена в череду своих малейших капризов уже добавила почти увенчанную короной голову. Каприз за каприз: она предпочла новый, тот, у которого был вкус запретного плода, необычайное очарование, свежесть и прелесть первого душевного волнения. Письма, букетики, полуслучайные встречи на Пинчо — ребячество, одним словом. Он повторял, моля, словно герой из пьесы:

— Один час!.. И можно умереть!..

— Нет! — ответила она наконец. — Нет! Жить и любить!

Любовь, высокое чувство!.. И дело в том, что на сей раз оно захватило и её, точно также, как оно заставляло терять головы многих других. Но здесь оно захватило, как говорится, за горло. Так удачливый юноша украдкой взошёл на вожделенное ложе ревнивого властителя. Она сама приотворила для него врата райского сада, дрожа и ступая босыми ножками — божественными ножками, воспетыми в прозе и стихах! Биби — который, если его послушать, был неукротимым львом — и сам дрожал как осиновый листок. И это она его взяла, триумфально, в первый раз! «Какой ты робкий, мой мальчик!»

Наконец Его Высочество, уставшее от этих ребяческих выходов, снизошло до того, чтобы раскрыть глаза, и изгнало их из райского сада. Какая разница? Разве мир не был усыпан театрами и меценатами, которые носили на руках и её, и Биби? Но поскольку властители мира сего встречаются редко, а меценаты хотят знать, куда уходят их деньги, двум влюблённым приходилось соблюдать крайнюю осторожность и всё ребячество оставлять за закрытыми дверями. Биби был на седьмом небе от счастья, разъезжая из одной столицы в другую в вагонах первого класса одетым с иголки и досыта накормленным, общаясь один на один с импресарио и первыми лицами государств, которые сбегались, чтобы оказать почтение его богине. Если во время таких встреч нужно было скромно исчезнуть, он делал это со снисходительной улыбкой, как бы говоря: «Бедняжки!»

Те же самые сцены ревности, казалось, разыгрывались умышленно, чтобы украсить этот рай, как бы потешить самолюбие обоих: полное достоинства негодование возлюбленного и повод, изящно предоставленный им своей любимой, чтобы в очередной раз поклясться и побожиться ему в

своей верности: «Нет, милый!.. Ты же знаешь!.. Ты единственный мой господин и повелитель... Вот!»

Ладно, следующая задача заключалась в том, чтобы не дать себя превзойти этой интриганке Ноэми, которая всеми правдами и неправдами уводила агентов и импресарио у Леды из-под носа и буквально выхватывала из рук её ангажементы — а ведь глядеть не на что, плоская как доска! Она и Биби увела: он помадил усы, разряжался в пух и прах и шёл рукоплескать ей совершенно бескорыстно.

«Но новый спектакль кавалера Джаммоне она у меня не вырвет! Нет!» — поклялась себе красавица Леда.

Вот уже месяц, как Барбетти и все остальные журналисты, готовые продать душу первому покупателю, занимались только тем, что донимали артистов и подписчиков этим именем Ноэла, печатавшимся аршинными буквами. Их было уже много, покровителей целомудренной девы, готовых расточать деньги на статьи! Но новый спектакль кавалера Джаммоне она не получит! Нет!

Кавалер как раз разговаривал об этом с импресарио с глазу на глаз, склонившись над расстеленным на столе сценарием Великой поэмы историко-философско-танцевального содержания, когда внезапно с помпой вошла синьора Леда, запыхавшись.

— Мой кавалер!.. Прошу прощения!.. Кругом только об этом и говорят!.. Это будет триумф, я Вам ручаюсь!.. Позвольте взглянуть...

— Ах! — фыркнул балетмейстер, пойманный с поличным. — Ох!.. — и он распластался на своих бумагах, словно их хотели у него украсть.

Импресарио, со своей стороны, устроил знатную головомойку несчастному миму, который был поставлен стеречь вход:

— Я же приказал, чтобы меня не беспокоили, когда у меня совещание! Никого не впускать без доклада!..

И это спустя столькие годы, в продолжение которых двери распахивались перед нею и импресарио спешили ей навстречу с поклоном! Можно считать чудом, что после такого с нею не случился удар. Барбетти, который наткнулся на неё у выхода, заметно покрасневшую и потрясённую, не смог удержаться от насмешки:

— Как дела, красотка?

— Слушай! — ответила она, совершенно вне себя от злости. — Слушай, торчал бы лучше под дверьми Ноэми и следил, кто к ней навевается, раз уж взялся за это достойное дело!

При случае синьора Леда тоже умела пускать в ход свой язык — острый, словно самурайский меч. Чтобы прийти в себя, она направилась в «Биффи», выпить чего-нибудь. Биби, как обычно, царил там в кругу своих друзей. Все они наперебой, чтобы угодить и ей, и ему, начали говорить гадости о Ноэми: что она не прошла школу, что в её движениях не было грации, что ей не хватало этого и не доставало того. Все они уже до смерти ненавидели антрепризу, которая оставляла за бортом лучших артистов.

Наконец влюблённая парочка распрощалась с друзьями, которые при расставании почтительнейше снимали шляпы и низжайше кланялись; Биби на сей раз решил сопровождать свою возлюбленную, чтобы подробно расспросить, чем всё закончилось, в глубине души он несколько беспокоился и нервничал, внешне же вёл себя непринуждённо, поигрывал тросточкой, она шла бодрой, пружинистой походкой, на губах играла алая улыбка, на щеках — румянец (хотя ей и нечем было дышать в этом облегающем жакете), лишь бы не доставить удовольствия своим коллегам. Скамболетти, знаменитый комик, который и в труппе также играл роль насмешника, прокричал им вслед:

— Да, она действительно очаровательна!.. Корова! — и даже упомянул ещё одно животное. — Без всякой зависти, Биби!

Без зависти к нему, Биби, который был трехбунчужным пашой и у которого женщин было хоть отбавляй, в том числе титулованных дам высшего общества?.. Довольно, в нём есть благородство! И он знал также, что следовало воздать должное своей избраннице. Но что касается искусства, он не был поклонником какого-то одного жанра и одинаково восхищался ими всеми. Леда работала в классическом жанре? Он тут же заставил её поступить в «Каркано» — тоже знаменитый театр, не поспоришь. В наши дни для постановки больших балетных спектаклей достаточно второстепенных ролей, красивых ножек и машинного оборудования. Нравятся и эти? Раз так, он тоже хлопал в ладоши, без всяких задних мыслей.

Но Леда, теперь лишённая верного пса, который ей рукоплескал, стала ревнивой до безумия и отравляла ему жизнь, этому несчастному благороднейшему человеку. Слезы, упрёки, бесконечные семейные сцены. Иной раз посреди обеда ему даже приходилось швыряться салфетками, лишь бы не запустить тарелкой ей в лицо, до того эта чертовка выводила его из себя.

Они мирились после, это правда; разве может быть иначе, когда делаешь для мужчины то, что сделала она?!.. Тем более, когда этот мужчина так же благороден, как он! Однако же, будучи артистами, оба после сцен примирения и нежности не спускали друг с друга глаз, и синьора Леда, на всякий случай, заставляла одного мима следовать за Биби по пятам, чтобы проникнуть в закулисы той любовной комедии, которую он перед нею разыгрывал. Друзья Биби, постоянно наблюдая его в сопровождении телохранителя, присвоили ему титул «короля виной».

Наконец случилось неизбежное, в вечер бенефиса Леды, который не собрал в «Каркано» и двухсот зрителей. Она хотела откровенно поговорить с Биби, который прислуживал клакером для Ноэми, как назло! Вместе со своими друзьями! Твари и скоты все они вместе взятые, даже не знают, что такое истинное достоинство! Они позволили себе попасться на крючок прелестей этой дивы, а она смеётся над ними, а уж над ним-то, как пить дать, в первую очередь!

— Дурак!

— Уйди, сделай одолжение! — оборвал её Биби, закуривая перед зеркалом окурок сигары.

— А, не желаешь слушать о ней? Да она с тобой, милый мой, точно не за красивые глаза связалась! — Леда, в туши и румянах, которые ещё не успела смыть, выйдя из театра, метала грома и молнии, как адская фурия.

После всего того, что она сделала для него, после того как пожертвовала ради него столькими возможностями, отвергла толстосумов и больших шишек, которые, если бы она только захотела, даже ещё и сейчас!..

— Сделай одолжение, уйди! — повторил Биби, обернувшись к ней с такой ехидной ухмылкой, что она просто вышла из себя.

— Слушай сюда! Хорошо подумай над тем, что делаешь! Хорошо подумай, слышишь! Я ведь могу и зенки ей выцарапать, твоей деве непорочной! — и далее бесконечная вереница новых мерзостей: о том, что он был её собственностью, принадлежал только ей, потому что это она его содержала и оплачивала его расходы, о том, что она сломала себе жизнь и прогнивает в этом «Каркано», чтобы содержать ещё и его актрисульку!

В ярости сеньора Леда бранилась, как её привратница, и извергала ругательства, которые слышала на базаре, когда бывала в тех краях.

— Подлец! Бесстыдник! Даже сигара у тебя во рту куплена на мои деньги!..

Опуститься до такой низости! У Биби помутилось в глазах, он забыл все правила хорошего тона и тоже принялся изливать жёлчь, бросая в воздух всё, что под руку попадётся: записки с признаниями, подарки, портреты и короны под стеклянными колпаками — всё, что было в гостиной, а когда больше не осталось слов, пустил в ход кулаки, не обращая внимания ни на румяна, ни на накладные ресницы, которые стоили 50 лир за пару. Теперь в «Каркано» она ещё долго не потанцует, так он её отделал, грубое животное. И лучше ему было взять шляпу и уйти, потому что все соседи уже столпились на лестничной клетке, а с полицейскими в очередной раз он связываться не хотел, они и без того уже его достали из-за других глупых выходов.

На сей раз, казалось, между Биби и его возлюбленной всё было кончено: один — направо, другой — налево, и с милостью Божьей в поисках лучшей жизни, вот только всегда есть преданные друзья, готовые вовремя вмешаться. После стольких лет совместной жизни они были больше, чем муж и жена. Нет, она уже не могла существовать без Биби. Судьба ли это была или ворожба, но она привязана к нему невидимой нитью, той же нитью, которой она в своё время привязывала многих других, людей серьёзных и сильных, становившихся марионетками в её руках. К тому же у Биби, если забыть про его расчётливость, было золотое сердце, которое всё-таки не позволяло сказать, что им движет лишь расчёт. Разве он не старался ей всячески помочь и разве не добывал ей сам ангажементы? В Америке, в Турции, где только можно было, ведь в наши дни только там, у них, умеют

признавать и ценить знаменитостей. Это доказывали почтовые переводы, которые она посылала, то меньше, то больше, когда могла.

Золотое сердце. А когда несчастная женщина дошла до последней черты и прибыла в Геную без гроша, изнурённая и обессиленная, кто её встретил на вокзале с распростёртыми объятиями? Кто из кожи вон вылез, чтобы достать ей полдюжины девочек с хорошими способностями и тут же сделал её учителем бальных танцев? Кто одалживал ей каждый месяц, чтобы откладывать на «пенсию артистов», по одной спекулятивной схеме, которая могла бы принести большую выгоду, если бы в дело не вмешалась полиция, давно точившая зуб на Биби?

А когда с годами, на закате карьеры становилось всё хуже и хуже, кто ей при необходимости одалживал время от времени лир по двадцать, если была возможность? Бог мой, эти двадцатки лир... нужно было обливаться потом и кровью, чтобы их скопить, а ведь когда он ей «давал в долг» — это было всего лишь красивым словом.

И когда, наконец, опустился занавес и бедняжка Леда ушла кончать свои мытарства туда, где кончают артисты, лишённые рассудка, кто навещал её порой в больнице и снова приносил ей денег, на всякий случай, на её последние нужды?

Биби отличался благоразумием, это правда, и немного денег отложил, в виде сбережений и под небольшие проценты, всё чтобы помочь какому-нибудь другу, если он был платёжеспособен, и жить спокойной жизнью, с удобствами и отличной поварихой. Поэтому после посещения больницы у него нарушалось пищеварение, а на глаза наворачивались слёзы, и нет, он вовсе не разыгрывал комедию, когда рассказывал потом об этом в кафе своим друзьям.

— Это нужно видеть, друзья мои! Сердце бы сжалось у любого, у кого оно есть! Разве можно в это поверить, а? Она, привыкшая спать на батисте!.. Доведена до того, что её теперь не узнать... Рак, дьявол в груди... насколько я знаю... Я даже не хотел смотреть. У неё мания всех заставлять смотреть и трогать. А потом — какие-то претензии! Какие-то иллюзии!.. Не накладывает ли она до сих пор себе румяна? Как жалок человек! Вчера, вы только послушайте, дошёл до Порта-Нуова, специально для неё, в такую жару, и попал на сцену из «Травиаты»: «О, небо, умереть столь молодой...» — «Моя милая... молодые или старые... Вы поправитесь, я уверен в этом!» — «Ах! Ох!» Потом началась самая душераздирающая часть: она захотела знать, остался ли я для неё... всё тем же другом... на которого можно положиться... «Конечно... конечно... Чёрт возьми!..» Не ведёт ли она к тому, чтобы я забрал её оттуда? Так точно! И дальше о том, что как только она вырвется оттуда, она точно выздоровеет, и что они хотят оперировать её, и что она боится врача... «Сжался надо мной! Ради Бога!» — «Потерпи немножко, моя дорогая! Чёрт возьми, потерпи!» Она вскочила, словно в отчаянии, хватала меня за пиджак, целовала мне руки... Я не вернусь туда больше никогда, слово чести!

И поняв, по лицам друзей, что недостаёт лишь одного, Биби смахнул со щеки незаметную слезу.

Перевод Аллы Субботиной (lewaer@mail.ru). Выпускница ННГУ им. Лобачевского, специальность филология, проживает в г. Дзержинск Нижегородской области. Итальянский — третий иностранный язык в практике переводчицы. Перевод занял второе место в номинации «итальянская проза» (2016).

**Vittorio Alfieri (1749–1803) «Del principe e delle lettere» (1786).
Alle ombre degli antichi liberi scrittori**

Nessuno certamente di voi, onorati scrittori, che o liberi nascevate, o tali con più vostra gloria facendovi, liberamente scrivevate; nessuno di voi, certamente, crederebbe che in questi nostri tempi non solamente sorgesse la politica questione: se le lettere possano per se stesse sussistere e perfezionarsi; ma che definitivamente dai più venisse creduto e sentenziato pel no. E, per somma disgrazia nostra, col tristo e continuo esempio degli odierni scrittori, pur troppo si va finora confermando ogni giorno nel pensiero dei più questa falsa e funestissima impossibilità.

Io perciò a voi indirizzo questo mio terzo libro, come cosa vostra del tutto; poichè da voi soli, dalla energia dell'animo e dell'opere vostre, dalla forza primitiva dei lumi con che rischiaraste i contemporanei vostri ed i posterì, io spero trarre argomenti invincibili, che mi vagliano a combattere e distruggere questo universale servile assurdo: «Che le lettere, non possono, nè perfezionarsi, nè sussistere, senza protezion principesca.»

Voi dunque o Socrati, Platoni, Omeri, Demosteni, Ciceroni, Sofocli, Euripidi, Pindari, Alcèi, e tanti altri incontaminati e liberi scrittori, ispiratemi or voi, non meno che salde ragioni, virile e memorando ardimento. Quanto, necessarij mi siano, sì l'uno che l'altro, per convincere una così acciecata gente, ve lo potete argomentar da voi stessi, paragonando la presente questione a quella che ai tempi vostri si sarebbe più giustamente potuta innalzare, opposta in tutto alla nostra; e stata sarebbe: «Se le lettere, o nessuna virtuosa cosa, nascere, sussistere, e prosperare potesse nel principato.»

Instrutti voi ora da me pienamente quale sia la total differenza dei tempi, piacciavi non solo di compatire a questa mia forse non meritata infelicità, del nascere servo; ma piacciavi ancora di porgermi ajuto, affinchè io uscire possa di servitù, e trarne i miei contemporanei scrittori, od i posterì. Se io ardisco pur supplicarvi di rimirarmi con benigno occhio, e di scevrami dalla moderna turba dei letterati, una tale audacia in me nasce soltanto dalla mia propria coscienza; che se il destino mi volle pur nato in queste moderne età, per quanto in mio potere è stato, io sono tuttavia sempre vissuto col desiderio e con la mente nelle età vostre, e fra voi.

Витторио Альфиери. К душам древних свободных поэтов

Никто из вас, достопочтенные поэты — была ли вам дарована свобода по праву рождения или вы завоевали возможность писать свободно, достигнув славы, — никто из вас, несомненно, не поверил бы тому, что в наши дни не только возникнет следующий политический вопрос: «Может ли словесность существовать и развиваться сама по себе?», но и что большинство уверится в том, будто верным ответом является «Нет». И к величайшему нашему несчастью, писатели нынешнего времени своим печальным примером пока лишь ежедневно укрепляют общественность в этом ложном и пагубном убеждении.

Вот почему именно к вам обращаюсь я в своей третьей книге, одним лишь вам ее посвящаю; так как единственно от вас, от величия вашего духа и трудов, от исконной силы света, что вы несли своим современникам и потомкам, я надеюсь обрести неопровержимые доводы, кои помогут мне в борьбе и в одолении сего повсеместного раболепного и немислимого вздора: «Словесность не может ни развиваться, ни существовать без поддержки государя».

О вы, Сократы, Платоны, Демосфены, Цицероны, Софоклы, Еврипиды, Пиндары, Алкеи и все прочие благородные и свободные поэты, даруйте мне ныне вдохновение, помогите найти убедительные резоны, а также обрести величайшее и неколебимое мужество, ибо и то и другое совершенно необходимо мне, чтобы открыть глаза людям, пребывающим во мраке. Вы и сами в этом убедитесь, если сравните указанный мною вопрос с тем, который мог бы совершенно справедливо возникнуть в ваши времена, но звучал бы абсолютно по-иному, а именно: «Может ли словесность или любое другое достойное деяние рождаться, существовать и благоденствовать в государстве, управляемом единовластно».

Теперь, когда я объяснил вам, в чем состоит глубочайшее различие между нашими эпохами, окажите мне великую милость и не только проявите сострадание к моему, вероятно, незаслуженному несчастью — родиться слугой, но и помогите мне выйти из этого бесправного положения и освободить из-под сего гнета других литераторов — моих современников или потомков. Коль я осмеливаюсь просить вас явить ко мне благоволение и выделить среди поэтов наших дней, то знайте, что дерзость сия рождается исключительно от моей собственной сознательности; хотя судьба и предписала мне родиться в нынешнюю эпоху, в своих желаниях и мыслях я всегда жил в вашем времени и среди вас.

Перевод Екатерины Пантелеевой (ekaterina.pantel@yandex.ru). Письменный и устный переводчик с итальянского языка, работала в Посольстве Италии в Москве и российских представительствах итальянских компаний. В настоящее время переводчик-фрилансер и студентка Школы художественного перевода «Азарт» (курс А. В. Ямпольской). Живет на две страны, между Москвой и севером Италии. Перевод занял второе место в номинации «итальянская проза» (2020).

Витторио Альфиери. К призракам свободных писателей древности

Разумеется, никто из вас, досточтимые писатели, рождённые свободными либо же по славе своей снискавшие право писать свободно, разумеется, никто из вас не поверил бы, что в нынешнее наше время политикой остро поставлен вопрос: может ли словесность существовать и совершенствоваться сама по себе; сверх того, большинство окончательно уверилось и рассудило, что не может. К общему нашему несчастью, исходя из многолетнего печального опыта современных писателей, до сих пор в умах многих ежедневно укореняется эта ложная и пагубнейшая невозможность.

Поэтому эту мою третью книгу я целиком и полностью посвящаю вам; поскольку в вас одних, в энергии ваших душ и произведений, в жизненной силе света, коим вы озарили своих современников и потомков, я надеюсь почерпнуть неоспоримые доказательства, которые помогли бы мне опровергнуть и одолеть эту всеобъемлющую подобострастную нелепость, что «словесность не может ни совершенствоваться, ни существовать без государева покровительства».

Ибо вы, Сократы, Платоны, Гомеры, Демосфены, Цицероны, Софоклы, Еврипиды, Пиндары, Алкеи и многие другие неподкупные и свободные писатели, вы теперь придаёте мне сил не меньше, чем убедительные доводы или мужественная и достославная твёрдость. А как и одно, и другое необходимы мне для вразумления столь ослеплённого народа, вы можете судить сами, сравнив настоящий вопрос с тем, который в ваше время мог быть ему наиболее справедливо противопоставлен, а именно: «Способна ли словесность или какой-либо другой благодетельный предмет возникать, существовать и процветать при абсолютной монархии».

Теперь, осведомлённые мной, насколько это возможно при столь значительной разнице эпох, соблаговолите не только проявить снисхождение к моему, пожалуй, незаслуженному несчастью родиться слугой, но и соизвольте помочь как мне, так и другим нынешним и грядущим писателям избавиться от рабства. И хотя я осмеливаюсь просить вас вновь одарить меня вашим благосклонным взглядом и выделить в толпе современных литераторов, эта неслыханная дерзость есть лишь плод моих размышлений о себе самом; ведь вопреки тому, что судьбой мне было предначертано родиться в настоящем, я всегда, насколько мог, своим рассудком и стремлениями пребывал в вашей эпохе и среди вас.

Перевод Владиславы Сычевой (Dusenokk@list.ru), студентки Литературного института им. А. М. Горького, переводчика художественной литературы с итальянского. Занимается научной работой, выступает на конференциях. Интересуется литературой, живописью, театром и в целом русской и итальянской культурой. Перевод занял третье место в номинации «итальянская проза» (2020).

Витторио Альфиери. Отрывок из трактата «О государе и о литературе» (1786). Под сенью свободных писателей античности

Конечно, никто из вас, почтенные писатели, рожденных ли свободными, или же свободно творивших, утверждая себя в растущей славе, — никто из вас, разумеется, и представить себе не мог, что в наше время не только возникнет политический вопрос: «Может ли литература существовать и совершенствоваться сама по себе?», но что большинством это, несомненно, будет рассматриваться и разрешаться отрицательно. И к величайшему нашему несчастью, имея постоянный и печальный пример писателей сегодняшних, мы, к сожалению, до сих пор каждый день укрепляем в умах большинства эту ложную и губительную невозможность.

Посему я предлагаю вашему вниманию свою третью книгу, которая во всех отношениях целиком касается вас, ибо только лишь от вас, из энергии духа и творений ваших, от первоизданной силы света, которым вы озарили ваших современников и потомков, я надеюсь извлечь неопровержимые доводы, которые помогут мне побороть и сокрушить эту всеобщую угодливую несуразность, что «литература не может ни совершенствоваться, ни существовать без государевой поддержки».

Итак, вы, Сократы ли, Платоны, Гомеры, Демосфены, Цицероны, Софоклы, Еврипиды, Пиндары, Алкеи и многие другие беспорочные и свободные литераторы, — вдохновите же вы меня, по меньшей мере, даром убеждения и незабвенной мужественной отвагой. Насколько я нуждаюсь как в одном, так и в другом, чтобы убедить таких ослепленных людей! Но и вы сами можете удостовериться в этом, сравнив настоящий вопрос с тем, который в ваше время с большим правом мог бы быть поставлен, однако же во всем противоположный нашему; и тогда он звучал бы: «Может ли литература, или какое-либо благородное деяние, появиться, существовать и процветать под властью государя?»

Теперь же, получив от меня полное разъяснение касательно общего различия наших эпох, соблаговолите не только выразить сочувствие моему, возможно, незаслуженному несчастью родиться рабом, но соблаговолите также оказать мне помощь, чтобы я мог выйти из рабства и вывести из него писателей, своих современников или потомков. Если у меня достаёт дерзости, дабы умолять вас взглянуть на меня благосклонно и выделить меня из нынешней толпы литераторов, то такая смелость рождается во мне исключительно от собственного осознания того, что, хоть мне и суждено было родиться в нынешнее время, тем не менее, насколько это было в моих возможностях, я всегда жил и желаниями, и разумом своим во времена ваши и среди вас.

Перевод Дмитрия Войницкого (amir04@mail.ru), преподавателя итальянского языка, г. Донецк.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ

Ugo Foscolo. Dei Sepolcri. A Ippolito Pindemonte. Carme (1807)

All'ombra de' cipressi e dentro l'urne
Confortate di pianto è forse il sonno
Della morte men duro? Ove più il Sole
Per me alla terra non fecondi questa
Bella d'erbe famiglia e d'animali,
E quando vaghe di lusinghe innanzi
A me non danzeran l'ore future,
Nè da te, dolce amico, udrò più il verso
E la mesta armonia che lo governa,
Nè più nel cor mi parlerà lo spirto
Delle vergini Muse e dell'Amore,
Unico spirto a mia vita raminga,
Qual fia ristoro a' dì perduti un sasso
Che distingue le mie dalle infinite
Ossa che in terra e in mar semina morte?
Vero è ben, Pindemonte! Anche la
Speme,
Ultima Dea, fugge i sepolcri; e involve
Tutte cose l'oblio nella sua notte;
E una forza operosa le affatica
Di moto in moto; e l'uomo e le sue
tombe
E l'estreme sembianze e le reliquie
Della terra e del ciel traveste il tempo.

Уго Фосколо. Гробницы. Ипполиту Пиндемонте (1807)

Под сенью кипариса или в урнах,
Слезами орошаемых, ужели
Не столь суров сон смертный? Если
Солнце
Не для меня животворит вот это
Зверей и трав прекрасное семейство,
И если, упоенные надеждой,
Грядущие часы не тешат пляской,
И твоего, любезный друг, напева
Печального я более не слышу,
А в сердце не звучит моем беседа
Муз незапятнанных и нежной
страсти,
Последняя опора для скитальца,
То дней утрату возместит ли камень,
Который прах мой отличит от праха,
В моря и земли сеемого смертью?
Так, Пиндемонте! Упованье тоже
Бежит гробниц, последняя богиня;
Все в мире покрывает ночь забвенья,
Все рушит в мире сила роковая
Движеньем неустанным; человека,
Его могилу, и земли и неба
Вид и останки искажает время.

*Внеконкурсный перевод Антона Дёмина
(italconcorso@yandex.ru). Выпускник
филологического факультета
Новосибирского гос. университета (1997).
Ныне ст. науч. сотрудник Института
русской литературы (Пушкинский Дом)
(Санкт-Петербург). Организатор и
эксперт итальянской секции конкурса
начинающих переводчиков
им. Э. Л. Линецкой.*

Gaetano Rossi. Semiramide

Giorno d'orrore!
E di contento!
Nelle tue braccia,
in tal momento,
scorda il mio core
tutto il rigore
di sua terribile
fatalità.

É dolce al misero
che oppresso geme,
il duol dividere
piangere insieme,
in cor sensibile
trovar pietà.

Гаэтано Росси. Семирамида (фрагмент)

Миг пленительный
И мучительный!
На груди твоей
Всепрощающей,
Сердце бедное
Упокоилось,
Позабыв судьбы
Предсказания.
Не гони же ты
Горемычного,
Раздели с ним днесь
Боль-тоску его,
Сладкий миг подай
Сострадания.

Перевод Елены Арабаджи (arabadgi@gmail.com). В 2016 г. закончила Высшую школу для переводчиков в Пескаре (Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori di Pescara), в 2018–2019 гг. участвовала в семинарах А. Ямпольской на курсах литературного перевода «Азарт». Активно переводит: в 2019 г.: в издательстве Corpus в ее переводе вышел роман Элены Ферранте «Дни одиночества» (под ред. И. Безруковой), в 2020 г. в издательстве Эксмо — роман Марко Миссироли «Верность». Готовятся к печати две книги нон-фикшн «Темные истории. Леонардо да Винчи» и «Темные истории. Никола Тесла» (начало 2021 г.). Живет в г. Харьков (Украина). Перевод награжден почетной грамотой в номинации «итальянская поэзия» (2020).

**Отрывок из музыкальной драмы
Г. Росси (1774 –1855)
«Семирамида» (1823), положенной
в основу одноименной оперы Дж.
Россини.**

День правосудья!
И обретенья!
В твоих объятьях
В это мгновенье
Волею судеб
Сердце забудет
Злые предчувствия
Скорой беды.

Как упоительно
Горькую долю
С ближним делить,
Вместе плакать от боли,
Встретить сочувствие
Вместо вражды.

*Перевод Ольги Комаровой
(olya34@mail.ru). Окончила Воронежскую
государственную лесотехническую
академию и Воронежский
государственный университет. Научный
сотрудник Всероссийского научно-
исследовательского института лесной
генетики, селекции и биотехнологии.
Перевод занял первое место в номинации
«итальянская поэзия» (2020).*

**Гаэтано Росси. Семирамида
(отрывок либретто). Второй акт.
Дуэт Семирамиды и Арзаче
(фрагмент), начинается как
любовная сцена, завершается
счастливым взаимным узнаванием
матери и сына.**

Страхом и счастьем
День этот полон.
В твоих объятьях
Сердце не помнит
Рока всевластья,
Зла и напастей,
Хоть нам сопутствуют
Они всегда.

Душе страдающей
Есть облегченье:
С душою родственной
Делить мученья,
Лечат сочувствие
И доброта.

*Перевод Ольги Матвиенко
(matvizar@gmail.com), доцента кафедры
зарубежной литературы Донецкого
национального университета. Перевод
занял первое место в номинации
«итальянская поэзия» (2020).*

ПЕРЕВОДЫ С ВЕНГЕРСКОГО



БЕИГЕРСКАЯ ПРОЗА

Bartók Imre. Jerikó épül (részlet)

Újabb eseménytelen délután. A napfogyatkozás óta állandósult a nyár, évek telnek el dologtalanul, otthon vagyok, nem mozdulok ki. A nappali, a konyha és az ágyam hármasságában élek, a szobámban szétdobált tárgyak, a foszladozó plüssök animizmusa. Nincs dolgom, körülvesznek a dolgaim. Tegnap valaki megint magára talált. Papucsban lépkedek keresztül az üvegszilánkokon, kisimítom a huzatot a kanapén, leülök a tévé elé. Megállíthatatlanul folyik az ismeretterjesztés, ezúttal gasztronómiai műsort sugároznak. Kínában járunk, a különleges írásjelek, a változatos étkezés, Gutenberg és az itthoninál is fejlettebb tömegtájékoztató földjén. A riporter egy töltött-tészta-üzembe látogat. A gyár hatalmas kanyonban rejtőzik, valóságos silóváros, a hangárok tucatjaiból ezernyi vajszerű kémény és kürtő csavarodik a kátránytól latyakos ég felé. A műsorvezető a vitális affekció jegyében maga is kipróbálja, hogyan kell elkészíteni a különleges tésztagolyócskákat, Sztanyiszlavszkij-újságírás, az átélés mindig lenyűgöz. Odaül a munkaasztalhoz, felhúzza karján az ingét. Mutatják, nagyon egyszerű, az ember két kis tésztagolyóból külön lapocskát formál, az egyikre keni a töltelék, majd ráhelyezi a másikat, nyomja, passzírozza, végül az egészet formára gyúrja. Ilyen egyszerű? Igen, ilyen egyszerű, ez a majom éve. Közben még a tévénk is valami fűszerektől nehéz párát lehel magából a zsizsegő katódcsövekkel, a kávébarna keretezéssel és különösen a neki helyet adó házi szentéllyel, az üres üvegekkel megrakott bárszekrényvel az egyik, az egyre értéktelenebbé váló bakelitekkel teli polccal a másik oldalon. Egyedül vagyok itthon, mindig egyedül vagyok, senki sincs itt, mindenki itt van, a nővérem egy másik városban, nyaral, tanul, egyetemre jár, a másik még iskolában, a barátaival, vagy csak kint a mólón, lógatja a lábát a habzó Duna fölé, anyám sehol, apám alszik, dolgozik, nincs itthon, de itthon van, vajon mit csinálhat, miféle fáradalmakat pihen ki minden délután.

Pilinszkyt is el tudnám képzelni ebben a gyárban, fehér köténykében, illene hozzá, hogy ott nyomogassa a töltelék az előrevasalt lapocskákra, és sipító hangon biztosítsa a hallgatóságát arról, hogy milyen boldog. A szépség labirintusa előtt I-ten áll, és tessékeli befelé az arra járókat. Ha már úgyszólván jelenlét sehol, mihez kezdjen, mibe vágjon az ember. Nem az egyes dolgok illantak el, hanem maga a jelenlét, ez a belátás érte és szakadt rá abban a szobában, takarítás közben, mígnem Bach zenéje meggyőzte az ellenkezőjéről, pontosabban, meggyőzte arról, hogy az igazi jelenlét nem a várakozások és az emlékek közé ékelődő, pontszerű intenzitás, hanem nyúlós, folyamszerű, akárcsak a tésztagolyók elkészítése, melynek szintén folyamatjellege van. Ezért lehetünk a munka révén mégis jelen saját életünkben. Bach, a távoli Kína és ezek a költemények az eszmék elgázosításáról, mindez összefügg egymással.

A riporternek körülbelül fél percre van szüksége egy tésztagolyó elkészítéséhez. Forgatja ujjai között a kis golyóbist, már azt hiszem, be is kapja, így nyersen megcsócsálja a szójacsírát, esetleg megeteti egy tesztalannyal, de aztán

türtözteti magát. Mikor az iránt érdeklődik, ki a leghatékonyabb munkaerő a gyárban, egy bájosan fiatal teremteshez vezetik. A lány habfehér ruhácskában görnyed az asztal fölé, hosszú, akvatikus ujjaival, követhetetlen mozdulatokkal dolgozik, két másodperc alatt készít el egy golyót. A riporter fölveszi Sztavrogin arcvonásait, miközben figyeli.

Hány golyót csinálsz meg egy nap alatt, érdeklődik, szavait tolmács fordítja. Minden ilyen egyszerű, ez a majom éve, tele a világ tolmácsokkal, többé nincsenek köztünk falak, csak jönnek-mennek ezek a riporter csoportok a kombibuszaikban, és irgalmatlan mennyiségben szállítják a tudást, mint a cserepek eltörése után, gyűjtik be az ismereteket a világ legtávolabbi szegleteiből. Hány golyót csinálsz meg, te kis kurva, lihegi a riporter, Sztavrogin, de most valaki más is, Csikatilo. Hét-nyolcezet, feleli a lány anélkül, hogy felnézne. És mire gondolsz közben, hangzik el az újabb kérdés, melynek hallatán csend ereszkedik a Népköztársaságra.

A kamera széleseben kiront a hangárból. Sirályok köröznek a gyár felett. A környéken ólálkodó gyerekek megpróbálják megmászni a monstrumot. Megcsáklyázzák, mint az Atreidák az óriásférgeket, hogy a szügyükön megállva, gyönyörű ágaskodással döfjék aztán keresztül. A téstagyár mélyén egy másik termelőüzem, egy nyelvgyár is meghúzódik. A lány az érzékek varázskertje. Mennyi titok, kérdőjel, használt töltényhüvely hever mindenütt a porban, várva, versengve a tekintetért. Talán a Klee-nyilacsok is azért vannak, hogy ezt a versengést szabályozzák, hogy a kép egyes elemei, melyek mind megkövetelik a szem figyelmét, ne szakadjanak el végleg egymástól.

Akinek sikerül felmászni a gyár tetejére, a kéményeken egyensúlyozva csúzlival lövi a madarakat.

Arra gondolkodok, kezdi a lány. Hangja vékony, illóolaj a présben, mégis tisztán cseng. Kétszáz kis gombócképű imbolyog a tetőn, és készíti csúzliját. Alighanem szabotázsakció.

Arra gondolkodok. Helyükre kerülnek a kavicsok. Arra gondolkodok. Megfeszülnek a rakétaindítók gumiszalagjai. Arra gondolkodok, vajon hogyan lehetnék még hatékonyabb.

A kamera ismét a gyár belsejében, Sztavrogin-Csikatilo nézi a lányt, a tolmács nézi a riportert, kíván-e még hozzáfűzni valamit. Az adás véget ér. Nyílik az ajtó a háttam mögött, valaki kilép rajta. Leül a fotelbe, nem mellém, a saját helyére, nézi ő is a tévét, sejti, hogy lemaradt valamiről, lesz ismétlés. Mindent megismételnék. Most reklám, a jelenlét újabb, immár fájdalom nélküli passiójátéka. Utána következik: Különleges maradványok és lelőhelyeik.

Имре Барток. Строится Иерихон (фрагмент)

[...] После солнечного затмения настало лето, годы проходят в безделье, я дома, никуда не выхожу. Живу в триединстве гостиной, кухни и кровати, разбросанные по комнате вещи, анимизм расползающихся от старости плюшевых игрушек. Никакими вещами не занимаюсь, мои вещи

меня окружают. Вчера кто-то снова обрел себя. В тапках шагаю по осколкам стекла, разглаживаю диванный чехол, сажусь перед телевизором. Безостановочно льется поток знаний, в этот раз гастрономическая передача. Путешествуем по Китаю, земле особой письменности, разнообразного питания, Гутенберга и более развитых, чем дома, массовых коммуникаций. Репортер посещает производство китайских пельменей. Завод прячется в огромном каньоне, настоящий город силосных башен, тысяча дымоходов и труб цвета масла из множества ангаров ввинчиваются в грязное от смолы небо. Ведущий программы в состоянии витального аффекта и сам пробует приготовить специальный шарик из теста. Журналистика Станиславского — пережитое всегда впечатляет. Подсел к рабочему столу, засучил рукава рубашки. Показывают, все очень просто: из двух маленьких кусочков теста формуется отдельная лепешечка, на одну мажет начинку, кладет сверху вторую, прижимает, защипывает, наконец лепит окончательную форму. Все так просто? Да, просто, это год обезьяны. В это время и наш телевизор шипящими катодными трубками, кофейно-коричневым обрамлением и особенно домашним святилищем, что дает ему место, с уставленным пустыми бутылками барным шкафчиком на одной стороне, с полкой, забитой все дешевающим винилом на другой выдыхает из себя тяжелый дух каких-то приправ. Я дома один, вечно один, здесь никого, и все здесь, сестра в другом городе, развлекается, учится в университете, вторая — в школе еще, с друзьями, или где-то над бьющимся о гранит пенным Дунаем болтает ногами, матери нет нигде, отец спит, работает, он дома и не дома, да и что он может делать, от каких тягот отдыхает во второй половине дня.

Я мог бы представить на этом заводе Пилински, в белом фартучке, это ему подошло бы — давить начинку в заранее раскатанные лепешечки и визгливым голосом уверять аудиторию, что он безмерно счастлив. Перед лабиринтом красоты стоит Б-г и приглашает зайти всех проходящих. Если нигде нет присутствия — за что возьмется, за что будет хвататься человек. Не отдельные дела промелькнули, а само присутствие, это понимание вещей догнало и обрушилось в той комнате, во время уборки, музыка Баха убедила в противоположном, точнее, убедила в том, что истинное присутствие — не точечная, вклинивающаяся между ожиданиями и воспоминаниями, а тягучая, потоковая интенсивность, словно приготовление шариков из теста, что тоже характерный процесс. Поэтому все же в своей собственной настоящей жизни мы можем ощущать себя только через работу. Бах, далекий Китай и эта поэзия о газовых камерах для идей, все это зависит друг от друга.

Репортеру нужно примерно полминуты для лепки шарика из теста. Он крутит в пальцах маленький комочек, я уже думаю — проглотит, сжует сырыми соевые ростки, может быть, накормит подопытного, но он сдержался. Когда журналист интересуется, кто на заводе самый эффективный работник, его ведут к прелестному молодому существу. Девушка в кипенно-белом платье горбится над столом, работает длинными увлажненными

пальцами, неуловимыми движениями формует один шарик за две секунды. Репортер, наблюдая, принимает гримасу Ставрогина.

— Сколько шариков ты делаешь в течение дня, — спрашивает он через переводчика. Все так просто, это год обезьяны, мир полон переводчиками, стен между нами больше нет, только эти репортерские группы разъезжают в микроавтобусах и доставляют знание в немилосердных объемах, как после разбоя сосудов, собирают познания из самых дальних уголков света. Сколько шариков ты делаешь, ты, маленькая сучка, — задыхается репортер, Ставрогин, но сейчас и кое-кто другой, Чикатило. Семь-восемь тысяч, — отвечает девушка, не поднимая глаз. И о чем думаешь в это время, — звучит новый вопрос. В ответ мертвая тишина осеняет Народную Республику.

Камера вихрем выдвигается из ангара. Чайки кружатся над заводом. Дети, вертевшиеся поблизости, пытаются одолеть монстра. Они забагрили его, как Атриды гигантского змея, чтобы, наступив на грудь, гордо проткнуть его, встав на цыпочки. В глубине пельменного завода прячется другой цех — языковой завод. Девушка — волшебный сад чувств. Сколько секретов, вопросительных знаков, использованных гильз валяется кругом в пыли, ожидая, состязаясь за взгляд. Может, стрелки Клее существуют для того, чтобы регулировать/упорядочивать это состязание, чтобы отдельные элементы картины, которые все требуют внимания глаз, не отрывались окончательно друг от друга.

Кому удалось вскарабкаться на крышу завода, балансируют на трубах, стреляют из рогаток по птицам.

Я думаю о том, начинает девушка. Ее голос тонок, эфирное масло под прессом, и все равно чисто звенит. Две сотни клецкоподобных качаются на крыше и готовят свои рогатки. Это почти акт саботажа.

Я думаю о том. Камешки легли на свое место. Я думаю о том. Натянулись резиновые ленты ракетных установок. Я думаю о том, могу ли я быть еще эффективнее.

Камера снова внутри завода, Ставрогин-Чикатило смотрит на девушку, переводчик смотри на репортера, не желает ли тот что-либо к этому добавить. Трансляция заканчивается. За моей спиной открывается дверь, кто-то входит. Садится в кресло, не рядом со мной, на свое место, тоже смотрит телевизор, догадывается — что-то пропустил, потом будет повтор. Все повторяют.

Сейчас реклама, присутствие — уже новая игра страстей, без боли. Далее следует: Необычные находки и их раскопки. [...]

Перевод Александры Алиповой (zelen-a@mail.ru). Закончила филологический факультет Стерлитамакской государственной педагогической академии и Литературный институт в Москве. Художественный перевод — способ не погрязнуть в рутине, а венгерский язык — просто любовь. Перевод занял первое место в номинации «венгерская проза» (2020).

Имре Барток. Стройся, Иерихон! (отрывок)

Вот ещё один ничем не примечательный полдень. После затмения лето успокоилось, праздно пролетает год за годом, а я безвылазно сижу дома. Обитаю я в триединстве гостиной, кухни и своей раскладушки. Комната моя захламлена, в ней обитают души изношенных штанов. Заняться мне нечем, но кругом куча дел. Вчера кто-то снова пришёл в себя. Нацепив тапки, я осторожно переступаю через осколки стекла, разглаживаю обивку дивана, сажусь перед телевизором. Поток информации невозможно остановить. В это время транслируют гастрономическое шоу. Мы идём по Китаю — стране особых акцентов, разнообразных блюд, Гутенберга¹ и гораздо более развитых СМИ, чем у нас. Ведущий программы посещает завод по производству китайских пельменей. Фабрика прячется в огромном каньоне, этаким настоящим город-монстр с нагромождением силосных башен. Из десятков ангаров тысячи дымоходов и труб маслянистого цвета штопором вкручиваются в грязное от смол небо. Для пущей достоверности ведущий, Станиславский от журналистики, и сам пробует слепить шарики из теста: личные впечатления всегда захватывают зрителей. Засучив рукава, он присаживается за рабочий стол. Ему показывают, как это просто: вылепляют из двух крохотных кусочков теста кармашек, на одну сторону намазывают начинку, второй накрывают сверху, нажимают, вдавливают начинку внутрь и залепляют отверстие. Только и всего? Ага, проще некуда. Сейчас ведь год обезьяны... К этому моменту даже наш телевизор стал выдыхать густые пары с ароматами каких-то специй, извергнутые его электронно-лучевыми трубками из щелей в кофейно-коричневом корпусе. Пары заполнили всё пространство вокруг домашней святыни: с одной стороны забрались в столпившиеся в баре пустые бутылки, с другой окутали полку дряхлеющих день ото дня виниловых пластинок. Я один дома, постоянно один, никого здесь нет, все где-то. Сестра моя в другом городе — и летом, и когда учится и ходит в свой университет, другая сестра до сих пор в школе, или гуляет с друзьями, или просто сидит на пристани, свесив ноги над вспенившимся Дунаем. Мамы тоже нет, отец спит или где-то работает, но что ему делать дома, думаю я, как можно отдыхать, совершая пробежку домой в обеденный перерыв?..

Я мог бы вообразить на этой фабрике и Пилински²: в белом фартуке ему бы очень пошло накладывать начинку на выглаженный кусочек теста и с восторженными всхлипами заверять слушателей, как он счастлив. Б-г стоит перед воротами в рай и проталкивает внутрь заходящих туда. И когда не останется никого и ничего, нечего будет человеку делать, нечего нарезать и лепить. Исчезнут не отдельные вещи, а вообще *присутствие*... Прозрение

¹ Гутенберг (Gutenberg) — китайский элитный чай из провинции Юньнань. *Здесь и далее примечания переводчика.*

² Вероятно, имеется в виду Янош Пилински, венгерский поэт, 1921–1981, «летописец» ужасов Второй Мировой войны. В своих стихотворениях, как и герой Бартока, он не раз вспоминал Достоевского.

это явилось и разорвалось посреди захламливаемой комнаты в самый разгар уборки, пока музыка Баха не смогла убедить меня в обратном, а точнее, в том, что на самом деле *присутствие* — не конкретная точка, зажатая между нависшими над ней с разных сторон ожиданиями и воспоминаниями, а что-то вязкое, размытое, вот как это приготовление шариков из теста, подразумевающее длительный процесс и прилагаемые усилия. Потому-то именно делая что-нибудь все мы можем *присутствовать* в этом мире. Бах, далёкий Китай и стихи о жертвах газовых камер — всё это неразрывно связано друг с другом.

Около получаса ведущий лепит шарик пельмешек. Скатывает в ладонях маленький комочек, и я уже начинаю думать, что же у него получится. Положит он прямо на сырое тесто соевые ростки и, пожалуй, даст кому-нибудь попробовать, а затем сам же раскритикует своё творение. Когда же он интересуется наиболее эффективным сотрудником фабрики, его подводят к очаровательному молодому созданию. Девушка в белоснежном платье склоняется над столом и, совершая длинными гибкими пальцами неуловимые глазу движения, лепит пельмешек за пару секунд. Неотрывно за ней следя, ведущий начинает напоминать Ставрогина¹.

— Сколько пельмешков она может вылепить за день? — интересуется он, а синхронист переводит его вопрос. Всё так просто, сейчас год обезьяны, в мире полно переводчиков, между нами нет никаких стен, только толпы журналистов снуют туда-сюда в своих микроавтобусах, неумолимо развозя тонны информации. Проломив все стены, они собирают знания из самых отдалённых уголков мира. — Сколько пельмешков ты, сучка, наделала? — задыхаясь пытит ведущий, Ставрогин, или нет, сейчас уже не Ставрогин — Чикатило². — Семь-восемь тысяч, — отвечает девушка, не поднимая глаз. — И о чём ты думаешь, пока лепишь? — звучит следующий вопрос, после которого в Народной Республике воцаряется тишина.

Камера пулей вылетает из цеха. Над фабрикой кружат чайки. Прячущиеся в округе дети пытаются вскарабкаться на монстра. Подобно Атрейдесам³ они ловят гигантских червей, и стоя на коленях, метко пронзают их насквозь. В недрах фабрики скрывается ещё один цех, языковая афера продолжается. Девушка — волшебный сад чувств. Сколько тайн, сколько вопросительных знаков, сколько стрелянных гильз рассыпано в пыли под ногами, и все они, соперничая, ждут, чтобы на них посмотрели. Может быть, как раз таки стрелы Клее⁴ и призваны усмирить эту конкуренцию, чтобы ни один из элементов картины, не остался без внимания, а связь с соседними не была нарушена.

Счастливец, которому удалось взобраться на вершину фабрики, балансируя по трубам, из рогатки стреляет в птиц.

¹ Николай Ставрогин — главный герой романа Ф. Достоевского «Бесы».

² Андрей Чикатило — советский серийный убийца, насильник, педофил, некросадист, некрофил и каннибал.

³ Династия Атрейдесов — персонажи фантастического цикла о планете Дюна Фрэнка Герберта.

⁴ «Летающие птицы и стрелы» — картина Пауля Клее, немецкого и швейцарского художника-абстракциониста.

Пока я раздумываю обо всём об этом, вступает девушка. Голосок у неё тонкий, эфирное масло в канале, однако звучит отчётливо. Пара сотен маленьких пельмешков колыхаются на крыше, приготавливая свои рогатки. Судя по всему, это диверсия.

Я размышляю об их операции. Снаряды-камушки наготове. Продолжаю размышлять. Резинки гранатомётов натянуты. Я размышляю о том, как бы я мог работать ещё эффективнее.

Камера снова заползает в цех, Ставрогин-Чикатило глядит на девушку, переводчик глядит на Ставрогина, спрашивая, хочет ли тот что-нибудь добавить. Программа подходит к концу. За моей спиной открывается дверь, кто-то входит и садится, не рядом, а в кресло, и оттуда тоже вглядывается в экран, подозревая, что пропустил что-то интересное. Но теперь всё повторяют, посмотрит после повтор. А сейчас — реклама, ещё одно *присутствие*, на сей раз это страстная, но безболезненная игра. Смотрите далее: «Уникальные останки и карьеры».

Перевод Елены Капитохиной (perecheniga@mail.ru). Живет в Талдоме, работает в Москве. В 2016 г. окончила бакалавриат журфака МГУ, кафедра дизайна СМИ. Художник аквагрима, кактусист, кандидат в мастера судомодельного спорта РФ, волонтер Дружины охраны природы МГУ. На филологическом факультете начала изучать венгерский язык, на журфаке — родственный венгерскому финский, увлекается переводом и адаптацией текста. Перевод занял второе место в номинации «венгерская проза» (2020).

ВЕНГЕРСКАЯ ПОЭЗИЯ

Tóth Krisztina. Kelet-európai triptichon

I.

Nevünket mondja a hangosbemondó
és mi felpattanunk. Nevüket
rosszul írják és rosszul ejtik,
de mi készségesen mosolygunk.
A szállodákból elhozzuk a szappant,
az állomásra túl korán megyünk.
Nehéz bőrönddel, bő nadrágban
mindenütt ténfereg egy honfitársunk.
Velünk mennek a vonatok rossz irányba,
és ha fizetünk, szétgurul az apró.
Határainkon félünk, azokon túl
eltévedünk, de felismerjük egymást.
Felismerjük a világ túlfelén is
a lámpaláztól átizzadt ruhát.
Alattunk áll meg a mozgólépcső, szakad le

a teli szatyrok füle, és mikor
távozunk, megszólal a riasztó.
Bőrünk alatt, mint egy sugárzó ékszer
ott a büntudat mikrochipje.

Кристина Тот. Восточноевропейский триптих

I.
Нас вызывает громкоговоритель,
и мы вскакиваем. Наши фамилии
неправильно пишут и не так произносят,
а мы привычно улыбаемся.
Мы из гостиниц уносим мыло
и на вокзал уходим слишком рано.
С тяжёлым чемоданом, в бесформенных брюках
наш соотечественник виден повсюду.
Нас поезда везут не в том направлении,
Когда мы платим, рассыпается мелочь.

В своей стране боимся, теряемся за рубежом,
но всегда узнаём мы друг друга. Везде узнаём
по пропитанной потом в тревоге одежде.
Под нами стоит эскалатор, у нас
обрываются ручки набитых пакетов,
когда мы уходим, сигналист сирена.
Под кожей у нас — чип извечной вины,
мерцает там как драгоценность.

Перевод Валентины Кузьминой (valentinaku@gmail.com). Родилась и выросла в Запорожье. С отличием закончила филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, отделение теоретической и прикладной лингвистики. Кроме русского и украинского в различной степени знакома с английским, венгерским, польским, хорватским, испанским языками. В настоящее время проживает в г. Балашиха Московской области. Перевод занял первое место в номинации «венгерская поэзия» (2020).

Кристина Тот. Восточноевропейский триптих

Часть I

Стоит динамикам имя исторгнуть —
вскочим, помчимся.
Искажат, напишут с ошибкой имя —
Наготове улыбку держим.
Из отелей увозим мыло,
на вокзал слишком рано приходим.
В подворотне любой толчётся с чемоданом тяжёлым
земляк в бесформенных брюках.
Не туда нас увозит поезд, а мелочь
скользит из пальцев, разлетаясь по всей округе
при оплате любой ерунды.

Мы боимся из нор выбираться,
за пределами нор блуждаем,
но везде узнаём друг друга.
Мы знакомимся с миром в насквозь
промокшей от пота одежде.
Тормозит эскалатор под нами,
рвутся ручки набитых сумок,
и преследует нас повсюду дребезжанье сигнализаций.
Будто бриллиант, привлекающий всех своим блеском,
Маячит под кожей у нас микрочип виновности.

Перевод Елены Капитохиной (perechenuga@mail.ru). Живет в Талдоме, работает в Москве. В 2016 г. окончила бакалавриат журфака МГУ, кафедра дизайна СМИ. Художник аквагрима, кактусист, кандидат в мастера судомодельного спорта РФ, волонтер Дружины охраны природы МГУ. На филологическом факультете начала изучать венгерский язык, на журфаке — родственный венгерскому финский, увлекается переводом и адаптацией текста. Перевод занял второе место в номинации «венгерская поэзия» (2020).

ПЕРЕВОДЫ С КИТАЙСКОГО



КИТАЙСКАЯ ПРОЗА

刘醒龙《蟠虺》(节选)

识时务者为俊杰，
不识时务者为圣贤。

曾本之用尽全身力气才写出这两句话。

为了写这封信，刚刚过完七十岁生日的曾本之累得又是喘气，又是叹气，好不容易写满两张信笺，突然丢下毛笔，腾出手来一把接一把地将两张纸撕碎到找不到一个完整的字。从信的内容以及行文的语气来看，曾本之写了又撕的信是给自己所钟爱的某位弟子。在当下能达到钟爱级别的弟子只有女婿郑雄。前不久曾本之的七十寿宴就是郑雄操办的，因为曾本之有话在先，连家人一起不超过两桌。别人都觉得难办的事，郑雄办得格外得体，既有普通人家的简朴温馨气氛，又不失学界泰斗的端庄典雅风范。那位人称老省长的不速之客评价这寿宴是曾侯乙尊盘级的。作为青铜重器中极品的曾侯乙尊盘，是王者用来盛酒和温酒的一套器皿，其存在的意义被视为国宝中的国宝。用如此器物作为评价，可见曾本之七十寿宴的确非同寻常。倒回去八年，如此级别的弟子，算上郑雄，一共有两位。八年前，一群文质彬彬的警察当着曾本之的面，将另一位弟子带走以后，该弟子的名字就在曾本之的记忆中消失了。后来，曾本之多次尝试重写“识时务者为俊杰，不识时务者为圣贤”作为开头语的书信，重新写出来的内容与先前写过的内容几乎一字不差。临到需要回到书信的开头，写上与之对话的弟子的名字时，曾本之又开始陷入深深的困惑。他不清楚自己是要写给作为女婿的弟子郑雄，还是不想记起名字的那一位，最终不得不再次撕碎已经写好的每一个文字，只留下满屋的叹息。这种叹息不像是针对被撕了好几遍的这封信，更像是为了某个人。

在可以称为从前的一九九〇年代某天，一位堪称时尚尤物的女子在巴黎香榭丽舍大街上望着玫瑰兴叹，如果有哪位男士用写信的方式求爱，她会毫不犹豫地嫁给对方。这故事被人传来传去，终于来到东湖的花前月下，已过去差不多二十年，满世界的男人都已习惯宁肯每天上门送一束玫瑰花，也

懒得写情书求爱，连带一应其他书信都不愿意动笔手写了。不管是谁，这时候若能收到一封从邮筒到邮局再到邮递员，最后才到收信人手里的有着墨香墨彩的书信，简直比只花两元钱买张彩票就中了大奖还稀罕。

皓首苍颜的曾本之是如今仍将写信与收信作为日常对外联系方式的极端少数之人。他不喜欢打电话，也不习惯发电子邮件，手机短信也是只看不写，只收不发。熟悉他的人都说这才是大师意识：等到这个年龄层的人集体回归历史，人类历史上的最后一批纸质书信就会变成珍稀之物而身价百倍。在曾本之的日常生活里，本是几十年如一日普普通通的往来书信，却在某个没有丝毫预兆的时刻，突然变得异常吊诡。

曾本之刚刚收到一封信。

正是这封信，将很平常的事情，变得极不平常。

一般人通信往来都是用简体字，曾本之研究的专业与众不同，邮递员送来的书信中偶尔有英法德日等文字，大多数写信人是用繁体字，他自然也用繁体字写回信。

这一次，曾本之收到的是一封用甲骨文写的信。

更为古怪的是，用甲骨文写信的人，死于一九八九年夏天。二十多年前，那次没有仪式的生命告别，从灵魂放飞，孤灯守灵，到扶棺下葬，清明立碑，曾本之从头到尾都在现场。

这个早已死去的人用甲骨文写信，其信封上的地址不是曾本之工作的楚学院，而是写着“省博物馆背后，进东湖公园大门，过小梅岭、可竹轩，道路尽头俗称老鼠尾的半岛最前端先月亭前，周一下午四点十分独坐在此的曾本之先生亲启”。

这段文字描述的正是曾本之在固定时间、固定地点放松神经的地方，除了家人，外人不应当知道。当然，信封上的这些文字不是甲骨文，而是用打印机打印出来的标准楷体汉字。

摘自：《蟠虺》—刘醒龙 在豆瓣阅读书店查看：<https://read.douban.com/ebook/126027094/>

本作品由上海文艺出版社授权豆瓣阅读全球范围内电子版制作与发行。

© 版权所有，侵权必究。

Лю Синлун. Змеинный узор (отрывок)

*Славен тот, кто идет в ногу со временем,
Мудр тот, кто этого не делает.*

Невероятно тяжело дались Цзэн Бэньчжи эти строки.

Цзэн Бэньчжи, которому только-только исполнилось семьдесят, так утомился, пока писал это письмо, что ему приходилось то и дело останавливаться — то вздохнуть, то передохнуть. С таким трудом исписав два листа, он вдруг отбросил кисть и порвал бумагу на мелкие кусочки, не оставив ни одного целого иероглифа. Судя по содержанию и тону письма, которое Цзэн Бэньчжи написал и тут же изорвал, оно было адресовано некому любимому ученику. В тот момент единственным, кто мог бы удостоиться звания любимого ученика, был его зять, Чжэн Сюн. Именно Чжэн Сюн недавно организовал торжество по случаю семидесятилетнего юбилея Цзэн Бэньчжи, ведь тот сразу сказал — гостей, включая родственников, должно быть столько, чтобы уместились за двумя столами. Иной счел бы эту задачу практически невыполнимой, а вот Чжэн Сюн справился очень достойно: праздник прошел в теплой, непринужденной обстановке, и в то же время не утратил строгости и утонченности, приличествующей юбилею авторитетного ученого. Даже почтенный губернатор, заявившийся без приглашения, назвал торжество достойным бронзового сосуда цзэнского князя И¹. Этот сосуд — первоклассный образец драгоценной бронзовой утвари — использовался, чтобы подогревать и подносить вино самому государю, и по своей ценности он занимает почетное место в ряду главных национальных сокровищ. Если уж банкет удостоили столь высокой похвалы, значит, юбилей Цзэн Бэньчжи действительно получился необыкновенным. А ведь восемь лет назад таких блестящих ученика, считая Чжэн Сюна, у Цзэн Бэньчжи было двое. Восемь лет назад, когда безупречно вежливые полицейские на глазах у Цзэн Бэньчжи увели того, другого ученика, имя его тут же стерлось из памяти Цзэн Бэньчжи. После этого Цзэн Бэньчжи не раз брался за письмо, начинавшееся со слов «Славен тот, кто идет в ногу со временем, мудр тот, кто этого не делает», и каждое новое письмо едва ли отличалось от предыдущего хоть парой иероглифов. Но всякий раз, когда нужно было вернуться к началу письма и надписать имя ученика, к которому оно было обращено, Цзэн Бэньчжи вновь погружался в омут тяжелых сомнений. Он никак не мог понять, какому из учеников хочет адресовать письмо: своему зятю Чжэн Сюну, или же тому, имя которого он не желал вспоминать; в конце концов он снова разрывал в клочья каждое написанное слово и только и мог, что вздыхать на всю

¹ Князь И — правитель небольшого царства Цзэн, располагавшегося в V в. до н. э. в бассейне реки Янцзы. В усыпальнице цзэнского князя И, обнаруженной в 1970-х гг., было найдено множество важнейших артефактов, среди которых особую известность приобрел бронзовый сосуд для воды и вина. — *Прим. пер.*

комнату. Было непохоже, что он вздыхает из-за этого письма, столько раз написанного и порванного; скорее, он вздыхал по какому-то человеку.

В один прекрасный день уже, можно сказать, ушедшей в прошлое эпохи 1990-х, в Париже, на Елисейских полях, одна искушенная ценительница моды любовалась розами и тоже тяжело вздыхала: если бы какой-нибудь господин написал ей письмо с объяснением в любви, она, ни секунды не сомневаясь, вышла бы за него замуж. Эту историю передавали из уст в уста, пока, наконец, она не дошла до романтических уголков на берегах озера Дунху¹; с тех пор минуло почти двадцать лет, мужчины всего мира давно уже предпочитают каждый день присылать букеты роз к порогам возлюбленных, и им лень сочинять любовные послания, да и ради любого другого письма они вряд ли пожелают взяться за перо. Для всех нас в нынешний век получить письмо, которое опустили в почтовый ящик, доставили на почту, передали почтальону, и только после этого — в руки адресата, письмо с черными, пахнущими тушью строчками, — редкость еще большая, чем сорвать куш, купив лотерейный билетик за два юаня².

Убеленный сединами Цзэн Бэньчжи принадлежал к той немногочисленной группе людей, для которых почтовая переписка до сих пор остается привычным способом связи с внешним миром. Он не любил звонить по телефону, не привык пользоваться электронной почтой, сообщения тоже только читал, сам ничего не отправлял. Те, кто хорошо его знал, говорили, что в этом и состоит мудрость настоящего мастера: когда поколение этих людей уйдет в прошлое, последнее в истории человечества бумажное письмо станет настоящей реликвией, и ценность его вырастет в сотни раз. Писать и получать письма на протяжении нескольких десятков лет было самой что ни на есть заурядной частью повседневной жизни Цзэн Бэньчжи, и вот в какой-то момент, безо всяких к тому предвестий, это вдруг стало чем-то совершенно удивительным.

Цзэн Бэньчжи только что получил письмо.

Именно это письмо превратило самое обычное событие в нечто крайне необычайное.

Обычные люди ведут переписку с помощью упрощенных иероглифов³, но Цзэн Бэньчжи по роду своей деятельности отличался от большинства людей. Письма, которые приносил ему почтальон, порой были написаны на английском, французском, немецком, японском или еще каком-то другом языке, и те, кто писал ему, по большей части пользовались традиционными

¹ Дунху — озеро в г. Ухань, провинция Хубэй. — *Прим. пер.*

² Юань — денежная единица Китайской Народной Республики. По текущему курсу 1 юань приблизительно равен 10 рублям. — *Прим. пер.*

³ В рамках проведенных в середине XX в. реформ написание значительного числа китайских иероглифов было упрощено в целях повышения уровня грамотности населения. В настоящее время традиционные, или полные формы иероглифов используются в Гонконге, Макао и на Тайване, а также на территории материкового Китая — например, в каллиграфии. Традиционными иероглифами также зачастую пишут китайские эмигранты. — *Прим. пер.*

иероглифами, ну и Цзэн Бэньчжи, естественно, отвечал им тоже с помощью полных форм.

Но в этот раз Цзэн Бэньчжи получил письмо, написанное на цзягувэнь¹.

Что еще более странно, человек, написавший письмо на цзягувэнь, умер летом 1989 года. Больше двадцати лет назад, когда безо всяких церемоний оборвалась его жизнь, с того момента, как душа отлетела от тела, и потом, во время одинокого бдения с лампой, и когда несли гроб и опускали его в могилу, и когда приходили на поминки и ставили памятник, — от начала и до конца Цзэн Бэньчжи был там.

Этот человек, давно ушедший в мир иной, написал письмо на цзягувэнь и не стал указывать на конверте адрес Института изучения царства Чу, в котором работал Цзэн Бэньчжи, а вместо этого написал: «За музеем провинции Хубэй пройти через главные ворота парка Дунху, мимо холма Сяомэйлин, мимо павильона Кэчжусюань, дойти до конца дороги на полуострове, который называют Мышиным хвостом, перед беседкой Сяньюэтин, в понедельник, днем, в четыре часа десять минут, передать лично в руки сидящему здесь в одиночестве господину Цзэн Бэньчжи».

В этом описании были точно указаны именно то время, именно то место, куда Цзэн Бэньчжи приходил отдохнуть душой, и никто, кроме его близких, об этом знать не должен был. Надпись на конверте, конечно, была сделана не на цзягувэнь — это были стандартные китайские иероглифы, напечатанные на принтере.

Перевод Александры Храцовой (al-khr@mail.ru), выпускницы СПбГУ. Открыла для себя мир художественного перевода благодаря преподавателям Восточного факультета СПбГУ, мечтает самостоятельно перевести целую книгу с китайского языка. Перевод занял первое место в номинации «китайская проза» (2020).

Лю Синлун. «Змеинный узор»² (отрывок)

Кто познал свое время — умен;

Кто пребывает вне времени — совершенномудр.

Цзэн Бэньчжи совсем выбился из сил, пока написал эти две фразы.

Составление письма давалось тяжело, и Цзэн Бэньчжи, которому на днях исполнилось 70 лет, то и дело охал и вздыхал. Легко ли это — исписать два листа бумаги!

¹ Цзягувэнь — древнейшая форма китайской письменности, которая использовалась для записи результатов гаданий в XIV — XI вв. до н. э. — *Прим. пер.*

² Змеинный узор (кит. «паньхуэй») — древнекитайский орнамент с изображением маленьких извивающихся змей. Характерен для бронзовых изделий периодов Чуньцю (VIII–V вв. до н.э.) и Чжаньго (V–III вв. до н.э.). — *Прим. пер.*

Вдруг он бросил кисть и принялся рвать один лист за другим на мелкие кусочки — так, что ни один иероглиф не уцелел.

Написанное и порванное Цзэн Бэньчжи письмо, судя по содержанию и тону изложения, предназначалось для некоего горячо им любимого ученика. На тот момент такой любви сумел удостоиться только его зять Чжэн Сюн.

Недавний банкет по случаю 70-летнего юбилея Цзэн Бэньчи организовал именно он. А все потому, что старик заранее распорядился не накрывать для семейного торжества более двух столов. Кому другому это показалось бы трудным, но Чжэн Сюн устроил все в высшей степени прилично. Обстановка была простой и уютной, как у обычных людей, но и не без строгой изысканности, свойственной корифеям науки.

Незванный гость по прозвищу Старый Губернатор сравнил изящество этого банкета с сосудами «цзуньпань»¹ — драгоценнейшими изделиями из бронзы, принадлежавшими цзэнскому князю И. Эти сосуды совершенный правитель использовал, чтобы подогревать и разливать вино. Они считаются главными среди всех национальных сокровищ страны. Такое сравнение говорит о том, что банкет по случаю 70-летия Цзэн Бэньчжи был действительно необыкновенным.

Вернемся на восемь лет назад. Тогда любимых учеников, включая Чжэн Сюна, было два.

После того, как восемь лет назад на глазах Цзэн Бэньчжи наряд полицейских с безупречными манерами забрал второго ученика, имя этого юноши из его памяти исчезло.

Позднее Цзэн Бэньчжи не раз пытался снова написать письмо, начинавшееся с фразы: «кто познал свое время — умен; кто пребывает вне времени — совершенномудр». Новый текст от прежде написанного не отличался практически ни одним иероглифом. Но когда дело доходило до того, чтобы вернуться к началу письма и указать имя адресата, Цзэн Бэньчжи всякий раз впадал в глубокую растерянность. Он сам не мог понять — то ли хочет написать ученику Чжэн Сюну, своему зятю, то ли тому — другому, чье имя никак не вспомнит. В итоге ничего не оставалось, как

в очередной раз порвать все написанное и тяжело вздохнуть.

Все же похоже, что его вздохи не относились непосредственно к самому письму, порванному уже в который раз. Их причиной, скорее, был какой-то человек.

¹ «Цзуньпань» — бронзовый столовый набор для вина, датируется периодом Чжаньго (V–III вв. до н.э.). Состоит из двух предметов — чаши (кит. «цзунь») и блюда (кит. «пань»). Обнаружен в 1978 году при раскопах в г.Суйчжоу (провинция Хубэй, КНР) в захоронении цзэнского князя И. «Цзуньпань» покрыт литым ажурным орнаментом — змеиным узором «паньхуэй», изображениями драконов и диких зверей. «Цзуньпань» считается одним из самых сложных и изысканных бронзовых изделий периодов Чуньцю (VIII–V вв. до н.э.) и Чжаньго (V–III вв. до н.э.). Хранится в Музее провинции Хубэй, КНР. — *Прим. пер.*

Однажды в былые, как говорится, 1990-е годы на Елисейских полях Парижа вздыхала, любуясь розами, одна очаровательная особа: если тот господин в самом деле напишет письмо и попросит ее любви, она без сомнений выйдет за него замуж.

Этот романтический образ долго ходил по свету. Дошел, наконец, и до живописных мест, где встречаются влюбленные, на озере Дунху¹.

Прошло почти 20 лет, теперь мужчины по всему миру предпочитают каждый день приходить к избраннице с букетом роз, только бы не сочинять любовных посланий. Да и других писем писать от руки они тоже не хотят.

В наше время ежели кому-либо посчастливится получить написанное от руки, пахнущее тушью письмо, которое из почтового ящика проследовало на почту, потом было передано почтальону и лишь в самом конце вручено адресату — то это, честно сказать, будет куда удивительней, чем выиграть большой приз, купив лотерейный билет за два юаня.

Старик Цзэн Бэньчжи — один из немногих людей, для кого отправление и получение писем — до сих пор самый обычный способ общения с внешним миром. Ему не нравится говорить по телефону, непривычно посылать электронные письма, да и смс-сообщения тоже — конечно, он их получает и читает, но сам не пишет и не отправляет. Знающие его люди говорят, что таково особое отношение учителя к действительности — когда его поколение канет в прошлое, последние в истории человечества письма, написанные на бумаге, станут редкостью, а их ценность многократно вырастет.

И вот самая обыкновенная переписка, которая уже десятки лет оставалась для Цзэн Бэньчжи неизменной привычкой, вдруг, когда ничто не предвещало, приняла совершенно странный и загадочный оборот.

Цзэн Бэньчжи только что получил письмо.

Именно из-за него привычное дело превратилось в удивительнейшее событие.

Обычные люди используют в переписке упрощенные иероглифы². Но не Цзэн Бэньчжи. Все дело в том, что у него очень редкая специальность. Среди корреспонденции, которую ему приносит почтальон, встречаются письма на английском, французском, немецком, японском и других языках. А большинство отправителей используют традиционные китайские иероглифы. Он, конечно, тоже отвечает традиционным стилем.

¹ Озеро Дунху (или Восточное озеро) находится в центре г. Ухань (провинция Хубэй, КНР). — *Прим. пер.*

² Упрощенные формы иероглифов (кит. «цзяньтицзы») официально введены в КНР в 1964 году. Традиционное написание (кит. «фаньтицзы») до сих пор используется в Гонконге, Макао и на Тайване. — *Прим. пер.*

На этот раз письмо, полученное Цзэн Бэньчжи, оказалось написано древними иероглифами, которые использовались в гадательных надписях на костях животных и черепаших панцирях¹.

Еще более странным было то, что автор письма умер летом 1989 года. На похоронах, которые прошли без церемонии более 20 лет назад, Цзэн Бэньчжи присутствовал от начала и до конца — и когда при свете одинокого фонаря сознание покойного покинуло его душу², и при погребении, и при возведении памятника.

Этот человек, давно отошедший в мир иной, начертал письмо древним стилем гадательных надписей.

На конверте вместо адреса Института исследований царства Чу³, в котором работал Цзэн Бэньчжи, значилось следующее: «Войти в главные ворота парка Дунху⁴ за краеведческим музеем⁵, пройти Сливовый сад и Бамбуковую галерею, дойти до конца тропы. Перед Павильоном луны⁶, расположенным на самом дальнем конце полуострова, известного в народе как «Мышиный хвост»⁷, в понедельник после обеда в четыре часа 10 минут вручить лично в руки одиноко сидящему здесь господину Цзэн Бэньчжи».

Описание действительно соответствовало тому строго определенному месту, где всегда в строго определенное время отдыхал Цзэн Бэньчжи. Но кроме его родных это знать никому не полагалось.

Иероглифы на конверте, разумеется, не были изображены стилем гадательных надписей. Это были стандартные иероглифы, напечатанные на принтере.

Перевод Елены Нечаевой (nechaevaelena@mail.ru). Елена не является профессиональным переводчиком, участие в конкурсе стало для нее первым опытом художественного перевода. Китайский язык изучала на курсах и в качестве вольнослушателя на Восточном факультете СПбГУ (педагоги — Н. Н. Власова, Е. И. Митькина, О. П. Родионова, Цяо Пэн). Работает в МИД России, поддерживает уровень знаний на ведомственных Высших курсах иностранных языков (преподаватель — Т. Г. Семенова). Перевод занял третье место в номинации «китайская проза» (2020).

¹ «Цзягувэнь» — наиболее древний стиль китайского письма, использовался в гадательных надписях, вырезанных на костях животных и черепаших панцирях. — *Прим. пер.*

² В китайской традиции душа «лин хунь» — вместилище человеческого сознания. Когда человек умирает, бессмертная душа «лин хунь» возносится к небесному эфиру. — *Прим. пер.*

³ Чу — царство в южном Китае, существовало в периоды Чуньцю (VIII-V вв. до н.э.) и Чжаньго (V-III вв. до н.э.). — *Прим. пер.*

⁴ Парк на озере Дунху находится в центре г. Ухань (провинция Хубэй, КНР). — *Прим. пер.*

⁵ Имеется в виду Музей провинции Хубэй, расположенный в г. Ухань на западном берегу озера Дунху. — *Прим. пер.*

⁶ Сливовый сад «Сяомэйлинь», Бамбуковая галерея «Кэчжусюань» и Павильон луны «Сяньюэтин» расположены в парке Дунху (г. Ухань, провинция Хубэй, КНР). — *Прим. пер.*

⁷ «Мышиный хвост» — неофициальное название мыса на юго-западе озера Дунху (провинция Хубэй, КНР), имеющего заостренную форму. — *Прим. пер.*

КИТАЙСКАЯ ПОЭЗИЯ

徐志摩. 再别康桥

轻轻的我走了，
正如我轻轻的来；
我轻轻的招手，
作别西天的云彩。

那河畔的金柳，
是夕阳中的新娘；
波光里的艳影，
在我的心头荡漾。

软泥上的青荇，
油油的在水底招摇；
在康河的柔波里，
我甘心做一条水草！

那榆荫下的一潭，
不是清泉，是天上虹；
揉碎在浮藻间，
沉淀着彩虹似的梦。

寻梦？撑一支长篙，
向青草更青处漫溯；
满载一船星辉，
在星辉斑斓里放歌。

但我不能放歌，
悄悄是别离的笙箫；
夏虫也为我沉默，
沉默是今晚的康桥！

悄悄的我走了，
正如我悄悄的来；
我挥一挥衣袖，
不带走一片云彩。

Сюй Чжимо. Прощание с Кембриджем

Иду я, затаив дыханье,
Сквозь тишины безмолвный храм;
Машу рукою на прощанье
Вдали плывущим облакам.

У речки ива золотая
Невестой смотрит на закат;
И чувства, призрачно мерцая,
Мне влиться в сердце норовят.

Изящных водорослей краски
Смешала вольная струя;
В объятьях лёгких волн, как в сказке,
Расцвёл бы лотосом и я!

Родник в тени большого вяза —
Как в небе радуга-дуга,
Где в каждом цвете — блеск алмаза,
Мечты волшебной жемчуга.

Неужто сон? Плыву на лодке
По нежной зелени воды,
А вечер мне на тихой нотке
Доносит пение звезды.

Но чуждо мне её звучанье,
Мой гимн прощальный — тишина;
Сверчки и те хранят молчанье,
Сегодня Кембридж в царстве сна!

Дыханье затаив, иду я
Сквозь тишины безмолвный храм,
И небу взмах руки даруя,
Мешать не смею облакам!

Перевод Николая Марянина (nikta56toz@mail.ru). Окончил Ульяновский политехнический институт. В школе учил немецкий язык, в институте — французский. Начальник службы логистики Ташлинского горно-обогатительного комбината. Живёт в Ульяновске. Перевод занял второе место в номинации «китайская поэзия» (2016).

陈敬容.《珠和觅珠人》

珠在蚌里，它有一个等待
它知道最高的幸福是
给予，不是苦苦的沉埋
许多天的阳光，许多夜的月光
还有不时风雨掀起白浪
这一切它早已收受
在它的成长中，变做了它的
所有。在密合的蚌壳里
它倾听四方的脚步
有的急促，有的踌躇
纷纷沓沓的那些脚步
走过了，它紧敛住自己的
光，不在不适当的时候闪露。
然而它有一个等待
它知道觅珠人正从哪一方向
带着怎样的真挚和热望
向它走来。那时它便要揭起
隐蔽的纱网，庄严地向生命
展开，投进一个全新的世界。

一九四八年春作于上海

Чэнь Цзинжун. Жемчужина и ловец

Жемчужина в ракушке тихо ждет.
Известно ей, что счастье — отдавать,
А не на дне во мраке утопать.
Луна ли светит, теплится ль восход,
Шумит ли шторм иль пенится волна —
Средь этого росла, и потому
Жемчужина привычна ко всему.
Из раковины слушает она
Без устали, то робки, то часты,
Со всех сторон шаги, за следом след
Прошли. Она внутри хранит свой свет.
Не время — не увидеть красоты.
Жемчужина все так же ожидает.
Уверена — ловец за ней придет,
Что искренен, душа мечтой пылает.
Она себя сетям преподнесет,
Раскроется, судьбу свою познает
И в новый мир с достоинством войдет.
Шанхай, весна 1948 г.

Перевод Юлии Каретниковой (karetnikovajs@gmail.com), выпускницы факультета востоковедения и африканистики ИИЯ МГПУ, Москва. Изучает китайский язык 5 лет, прожила год в Китае, Сучжоу. Перевод занял первое место в номинации «китайская поэзия» (2020).

Чэнь Цзинжун. Жемчужина и искатель

Меж створок раковины скромной
Жемчужине дано познать,
Что счастье — не в пучине водной,
А в том, чтобы себя отдать.
Бесшумно протекает жизнь,
День заменяет ночь,
Лишь буря волны поднимает
И уносит прочь.
Жемчужине это знакомо
И глубоко внутри
Она созрела, изменилась,
Но в раковине притаилась
И слушает шаги.
Одни часты, другие робки,
Мимо проносятся они,
А жемчуг гаснет позади,
Но знает он — настанет время
И из далекой стороны
Придет искатель. Он тепло
С собою принесет в груди.
Тогда раскроет свои створки
Раковина и явит
Жемчужину, для которой
Теперь новый мир открыт.
Весна, 1948 г. Шанхай

Перевод Юлии Кокоры (kokora98@bk.ru), студентки 5 курса факультета романо-германской филологии, Кубанский государственный университет, Краснодар. Перевод занял третье место в номинации «китайская поэзия» (2020).

**ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ПЕРЕВОДА В ДОНБАССЕ**



**СЕКВЕНЦИИ ПАСХАЛЬНОГО ЦИКЛА В «ПРОЗАРИИ»
МОНАСТЫРЯ СВ. МАРЦИАЛА В ЛИМОЖЕ**

In Sabbato Paschae

1. Adest enim festa
paschalia,
redemptio nostra.

2a. Christus surrexit victor
vincens tartara
nosque redemit
morte dira.

2b. Propter Adae culpam
lugent tartara,
et almi fulgent
in gloria.

3a. Lux vera Deus,
victor qui regnat
in saecula

3b. In trinitate
et unitate
cum gloria.

4a. Nos exspectamus eorum
suffragia,
qui regnant
cum Deo laeti
simul per astra;

4b. Ut precibus eorum
mereamur
ad aethra
jungere semper
deorum digna

5. Hic et in aevum
habitacula.

В Пасхальную Субботу

1. Приходит воистину праздник
Пасхальный,
искупление наше.

2a. Христос воскрес победитель
ад победивший
и нас искупил
смертью жестокой.

2b. Видя грех Адамов,
рыдает преисподняя,
и блаженные блистают
во славе.

3a. Свет истинный Бог
Победитель, кто царствует
во веки

3b. В Троице
и Единице
со славою.

4a. Мы ожидаем
помощи тех,
которые царствуют
вместе с Богом радостные
среди звезд;

4b. Да удостоимся мы
по их молитвами
всегда на небе
в обителях праведных
богов достойных

5. Здесь и во веки.

In vigilia Paschae

1. Alleluja
hoc pium recitat
plebs nova
nunc laeta.
2. Quia resonant
trophea
Christi jam pretiosa.
3. Et nox instat, in qua
tartara
lugent evacuata.
4. Tu contra renata
ex aqua jubila
Domino cantica
caterva inclita.
5. Tibi vita
restituta
nunc perpetua.
6. Ut reiterata
se solvat
peccamina. Amen

In Resurrectione D.N.(Domini Nostri)

1. Gaudeat ecclesia,
innovant gaudia
haec festa paschalia
- 2a. Candidata nunc agmina
Christo laeta
promant carmina,
- 2b. Nova personent famina,
Christus mundi
lavit crimina.

На службу Пасхи

1. «Аллилуия!» –
это священное слово возглашает
народ новый,
ныне радостный.
2. Ибо уже откликаются
знаки победы
Христа драгоценные.
3. Ночь настает, и
рыдает
ад опустошенный.
4. Ты же, напротив, возрожденный
водою, ликуя,
воспой Господу сонмы
славных песен.
5. Тебе жизнь
возвращена
ныне вечная.
6. Чтобы от повторения грехов
избавиться.
Аминь.

На Воскресение Господа Нашего

1. Да возрадуется Церковь,
и паки радуется
этим празднествам пасхальным.
- 2a. Ныне сонмы убеленные
Христу изливают
Песни радостные,
- 2b. Да звучат слова новые,
Христос омывает грехи мира.

3a. Mortis passus supplicia
mortis fregit imperia.

3b. Signa gerens victricia
surrexit die tertia.

4a. Tunc Maria
Domino dilectissima
surgens mane
die dominica

4b. Aromata
deportat suavissima
ad unguenda
membra dominica.

5a. Angelus adfuit
in veste candida,
facie rutilans
sicut sol fulgida,
sedens in parte
sepulchri dextera.

5b. Nuntiat Mariae
optata gaudia:
Christus, qui passus est
crucis suspendia,
redemit mundum
spolians infera.

6a. Nunc intueri,
ecce, signa perspicua.
cerne sepulchri
loca vacua.

6b. Surrexit vere
secundum promissa sua,
triumphans morte
de perpetua

7a. Patri reportans
nova trophies
sanctis
tribuit regna siderea.

7b. Cunctis nuntia
haec verba mea,
vobis
videbitur in Gallilaea.

3a. Претерпев мучения смерти,
Разрушил смерти владычество.

3b. Неся знамена победные,
в третий день воскрес Он.

4a. Тогда Мария
Господу любезнейшая,
поднявшись рано
в День Господень,

4b. Благовония
сладчайшие приносит
для помазания
Тела Господня.

5a. Ангел предстал
в ризах блистающих,
лицом сияющий,
как солнце светящийся,
одесную
гробницы сидящий.

5b. Он возвещает Марии
желанные радости:
Христос, распятие
на Кресте претерпевший,
мир искупает,
разоряет преисподнюю.

6a. Ныне смотри:
вот ясные знамена,
виждь гробницу
опустевшую.

6b. Воскрес воистину
по обетованию Своему,
торжествуя над смертью
вечною.

7a. Отцу принося
трофеи новые,
святым
даруя Царство Небесное.

7b. Всем возвестите
эти слова мои,
вас предваряет Он
в Галилее.

8a. Venit Maria nuntians talia, tunc discipuli praesignant gaudia damnata de morte tristitia.	8a. Идет Мария эти слова возглашая, и ученики предвещают радость, ибо осуждена печаль о смерти.
8b. Stupet Judaea, plena perfidia, Christo dilecta gaudet ecclesia exsultans de tanta laetitia. (гомеотелефтон)	8b. Дивится Иудея, вероломства полная, веселится Церковь Христу любезная, ликуя о таковой великой радости.
9a. Et nos inter tanta solemnia	9a. И мы среди Торжеств великих
9b. Conlaudemus Dei magnalia	да восхвалим вместе чудеса Господа,
10. Cui nunc et semper sit gloria.	10. Которому ныне и присно да будет слава.

Комментарии

Секвенция (*sequentia*, лат.) означает «последующая», что обусловлено ее ролью в средневековом богослужении. Между чтением отрывков из Апостольских посланий и литургийным Евангелием исполнялись особые гимны — градуалы, которые составляли на основе псалмов и далее следовало «Аллилуиа» (др.-евр. «хвалите Господа»). «Аллилуиа» пелось антифонно, т.е. имело диалогическую форму. При втором повторении «Аллилуиа» хор присоединял невму (так называемая богатая мелодия для последнего слога, иначе *jubilus*), протягивая «а». Этот напев всегда отличался особой живостью, энергией и красотой. Около 851 г. к этому напеву начали прибавлять прозаический текст, который получил название секвенции. Появление этого вида литургического творчества связано с именем монаха-бенедиктинца Санкт-Галленского монастыря на территории современной Швейцарии Ноткера Заики. Для более удобного запоминания «весьма длинных мелодий», которые, однако, «будучи вверены памяти, покидали нестойкий ум», он весьма успешно соединял их с поэтическим текстом. И несмотря на то, что секвенция, или проза, существовала до Ноткера, именно он может считаться создателем этого литургического жанра, поскольку им были сформированы правила, которых позже придерживались остальные авторы.

Перевод с латинского и комментарии Елены Вишневской (матушки Августы, avgusta.vsn@gmail.com), старшего преподавателя кафедры теории и практики перевода Донецкого национального университета.

Jane Austen. Jack and Alice (A Novel). Part 2

Dedication

*Is respectfully inscribed to Francis William Austen Esq.
Midshipman on board his Majesty's Ship the Perseverance
by his obedient humble Servant.*

The Author

Chapter 1

Mr. Johnson was once upon a time about 53; in a twelve-month afterwards he was 54, which so much delighted him that he was determined to celebrate his next Birthday by giving a Masquerade to his Children & Freinds. Accordingly on the Day he attained his 55th year, tickets were dispatched to all his Neighbours to that purpose. His acquaintance indeed in that part of the World were not very numerous, as they consisted only of Lady Williams, Mr. & Mrs. Jones, Charles Adams & the 3 Miss Simpsons, who composed the neighbourhood of Pammydiddle & formed the Masquerade.

Before I proceed to give an account of the Evening, it will be proper to describe to my reader the persons and Characters of the party introduced to his acquaintance.

Mr. & Mrs. Jones were both rather tall & very passionate, but were in other respects good tempered, wellbehaved People. Charles Adams was an amiable, accomplished, & bewitching young Man; of so dazzling a Beauty that none but Eagles could look him in the Face.

Miss Simpson was pleasing in her person, in her Manners, & in her Disposition; an unbounded ambition was her only fault. Her second sister Sukey was Envious, Spitefull, & Malicious. Her person was short, fat & disagreeable. Cecilia (the youngest) was perfectly handsome, but too affected to be pleasing.

In Lady Williams every virtue met. She was a widow with a handsome Jointure & the remains of a very handsome face. Tho' Benevolent & Candid, she was Generous & sincere; Tho' Pious & Good, she was Religious & amiable, & Tho' Elegant & Agreeable, she was Polished & Entertaining.

The Johnsons were a family of Love, & though a little addicted to the Bottle & the Dice, had many good Qualities.

Such was the party assembled in the elegant Drawing Room of Johnson Court, amongst which the pleasing figure of a Sultana was the most remarkable of the female Masks. Of the Males, a Mask representing the Sun was the most universally admired. The Beams that darted from his Eyes were like those of that glorious Luminary, tho' infinitely superior. So strong were they that no one dared

venture within half a mile of them; he had therefore the best part of the Room to himself, its size not amounting to more than 3 quarters of a mile in length & half a one in breadth. The Gentleman at last finding the feirceness of his beams to be very inconvenient to the concourse, by obliging them to croud together in one

corner of the room, half shut his eyes, by which means the Company discovered him to be Charles Adams in his plain green Coat, without any mask at all.

When their astonishment was a little subsided, their attention was attracted by 2 Dominos who advanced in a horrible Passion; they were both very tall, but seemed in other respects to have many good qualities. "These" said the witty Charles, "these are Mr. & Mrs. Jones." and so indeed they were.

No one could imagine who was the Sultana! Till at length, on her addressing a beautiful Flora who was reclining in a studied attitude on a couch, with "Oh Cecilia, I wish I was really what I pretend to be", she was discovered by the never failing genius of Charles Adams to be the elegant but ambitious Caroline Simpson, & the person to whom she addressed herself, he rightly imagined to be her lovely but affected sister Cecilia.

The Company now advanced to a Gaming Table where sat 3 Dominos (each with a bottle in their hand) deeply engaged; but a female in the character of Virtue fled with hasty footsteps from the shocking scene, whilst a little fat woman, representing Envy, sat alternately on the foreheads of the 3 Gamesters. Charles Adams was still as bright as ever; he soon discovered the party at play to be the 3 Johnsons, Envy to be Sukey Simpson & Virtue to be Lady Williams.

The Masks were then all removed & the Company retired to another room, to partake of an elegant & well managed Entertainment, after which, the Bottle being pretty briskly pushed about by the 3 Johnsons, the whole party (not excepting even Virtue) were carried home, Dead Drunk.

Chapter 2

For three months did the Masquerade afford ample subject for conversation to the inhabitants of Pammydiddle; but no character at it was so fully expatiated on as Charles Adams. The singularity of his appearance, the beams which darted from his eyes, the brightness of his Wit, & the whole tout ensemble of his person had subdued the hearts of so many of the young Ladies, that of the six present at the Masquerade but five had returned uncaptivated. Alice Johnson was the unhappy sixth whose heart had not been able to withstand the power of his Charms. But as it may appear strange to my Readers, that so much worth & Excellence as he possessed should have conquered only hers, it will be necessary to inform them that the Miss Simpsons were defended from his Power by Ambition, Envy, & Self-admiration.

Every wish of Caroline was centered in a titled Husband; whilst in Sukey such superior excellence could only raise her Envy not her Love, & Cecilia was too tenderly attached to herself to be pleased with any one besides. As for Lady Williams and Mrs. Jones, the former of them was too sensible to fall in love with one so much her Junior, and the latter, tho' very tall & very passionate, was too fond of her Husband to think of such a thing.

Yet in spite of every endeavour on the part of Miss Johnson to discover any attachment to her in him, the cold & indifferent heart of Charles Adams still, to all

appearance, preserved its native freedom; polite to all but partial to none, he still remained the lovely, the lively, but insensible Charles Adams.

One evening, Alice finding herself somewhat heated by wine (no very uncommon case) determined to seek a relief for her disordered Head & Love-sick Heart in the Conversation of the intelligent Lady Williams.

She found her Ladyship at home, as was in general the Case, for she was not fond of going out, & like the great Sir Charles Grandison scorned to deny herself when at Home, as she looked on that fashionable method of shutting out disagreeable Visitors, as little less than downright Bigamy.

In spite of the wine she had been drinking, poor Alice was uncommonly out of spirits; she could think of nothing but Charles Adams, she could talk of nothing but him, & in short spoke so openly that Lady Williams soon discovered the unreturned affection she bore him, which excited her Pity & Compassion so strongly that she addressed her in the following Manner.

"I perceive but too plainly, my dear Miss Johnson, that your Heart has not been able to withstand the fascinating Charms of this young Man & I pity you sincerely. Is it a first Love?"

"It is."

"I am still more greived to hear that; I am myself a sad example of the Miseries in general attendant on a first Love & I am determined for the future to avoid the like Misfortune. I wish it may not be too late for you to do the same; if it is not, endeavour, my dear Girl, to secure yourself from so great a Danger. A second attachment is seldom attended with any serious consequences; against that therefore I have nothing to say. Preserve yourself from a first Love & you need not fear a second."

"You mentioned, Madam, something of your having yourself been a sufferer by the misfortune you are so good as to wish me to avoid. Will you favour me with your Life & Adventures?"

"Willingly, my Love."

Chapter 3

"My Father was a gentleman of considerable Fortune in Berkshire; myself & a few more his only Children. I was but six years old when I had the misfortune of losing my Mother, & being at that time young & Tender, my father, instead of sending me to School, procured an able handed Governess to superintend my Education at Home. My Brothers were placed at Schools suitable to their Ages & my Sisters, being all younger than myself, remained still under the Care of their Nurse.

Miss Dickins was an excellent Governess. She instructed me in the Paths of Virtue; under her tuition I daily became more amiable, & might perhaps by this time have nearly attained perfection, had not my worthy Preceptress been torn from my arms, e'er I had attained my seventeenth year. I never shall forget her last words. "My dear Kitty" she said, "Good night t'ye." I never saw her afterwards",

continued Lady Williams, wiping her eyes, "She eloped with the Butler the same night."

"I was invited the following year by a distant relation of my Father's to spend the Winter with her in town. Mrs. Watkins was a Lady of Fashion, Family, & fortune; she was in general esteemed a pretty Woman, but I never thought her very handsome, for my part. She had too high a forehead, Her eyes were too small, & she had too much colour."

"How can that be?" interrupted Miss Johnson, reddening with anger; "Do you think that any one can have too much colour?"

"Indeed I do, & I'll tell you why I do, my dear Alice; when a person has too great a degree of red in their Complexion, it gives their face, in my opinion, too red a look."

"But can a face, my Lady, have too red a look?"

"Certainly, my dear Miss Johnson, & I'll tell you why. When a face has too red a look it does not appear to so much advantage as it would were it paler."

"Pray Ma'am, proceed in your story."

"Well, as I said before, I was invited by this Lady to spend some weeks with her in town. Many Gentlemen thought her Handsome, but in my opinion, Her forehead was too high, her eyes too small, & she had too much colour."

"In that, Madam, as I said before, your Ladyship must have been mistaken. Mrs. Watkins could not have too much colour, since no one can have too much."

"Excuse me, my Love, if I do not agree with you in that particular. Let me explain myself clearly; my idea of the case is this. When a Woman has too great a proportion of red in her Cheeks, she must have too much colour."

"But Madam, I deny that it is possible for any one to have too great a proportion of red in their Cheeks."

"What, my Love, not if they have too much colour?"

Miss Johnson was now out of all patience, the more so, perhaps, as Lady Williams still remained so inflexibly cool. It must be remembered, however, that her Ladyship had in one respect by far the advantage of Alice; I mean in not being drunk, for heated with wine & raised by Passion, she could have little command of her Temper.

The Dispute at length grew so hot on the part of Alice that, "From Words she almost came to Blows", When Mr. Johnson luckily entered, & with some difficulty forced her away from Lady Williams, Mrs. Watkins, & her red cheeks.

Chapter 4

My Readers may perhaps imagine that after such a fracas, no intimacy could longer subsist between the Johnsons and Lady Williams, but in that they are mistaken; for her Ladyship was too sensible to be angry at a conduct which she could not help perceiving to be the natural consequence of inebriety, & Alice had too sincere a respect for Lady Williams, & too great a relish for her Claret, not to make every concession in her power.

A few days after their reconciliation, Lady Williams called on Miss Johnson to propose a walk in a Citron Grove which led from her Ladyship's pigstye to Charles Adams's Horsepond. Alice was too sensible of Lady Williams's kindness in proposing such a walk, & too much pleased with the prospect of seeing at the end of it a Horsepond of Charles's, not to accept it with visible delight. They had not proceeded far before she was roused from the reflection of the happiness she was going to enjoy, by Lady Williams's thus addressing her.

"I have as yet forbore, my dear Alice, to continue the narrative of my Life, from an unwillingness of recalling to your Memory a scene which (since it reflects on you rather disgrace than credit) had better be forgot than remembered."

Alice had already begun to colour up, & was beginning to speak, when her Ladyship, perceiving her displeasure, continued thus.

"I am afraid, my dear Girl, that I have offended you by what I have just said; I assure you I do not mean to distress you by a retrospection of what cannot now be helped; considering all things, I do not think you so much to blame as many People do; for when a person is in Liquor, there is no answering for what they may do."

"Madam, this is not to be borne; I insist—"

"My dear Girl, don't vex yourself about the matter; I assure you I have entirely forgiven every thing respecting it; indeed I was not angry at the time, because as I saw all along, you were nearly dead drunk. I knew you could not help saying the strange things you did. But I see I distress you; so I will change the subject & desire it may never again be mentioned; remember it is all forgot. I will now pursue my story; but I must insist upon not giving you any description of Mrs. Watkins; it would only be reviving old stories & as you never saw her, it can be nothing to you, if her forehead was too high, her eyes were too small, or if she had too much colour."

"Again! Lady Williams: this is too much!"

So provoked was poor Alice at this renewal of the old story, that I know not what might have been the consequence of it, had not their attention been engaged by another object. A lovely young Woman lying apparently in great pain beneath a Citron-tree, was an object too interesting not to attract their notice. Forgetting their own dispute, they both with sympathizing tenderness advanced towards her & accosted her in these terms.

"You seem, fair Nymph, to be labouring under some misfortune which we shall be happy to relieve, if you will inform us what it is. Will you favour us with your Life & adventures?"

"Willingly, Ladies, if you will be so kind as to be seated." They took their places & she thus began.

Chapter 5

"I am a native of North Wales & my Father is one of the most capital Taylors in it. Having a numerous family, he was easily prevailed on by a sister of my Mother's, who is a widow in good circumstances & keeps an alehouse in the

next Village to ours, to let her take me & breed me up at her own expence. Accordingly, I have lived with her for the last 8 years of my Life, during which time she provided me with some of the first rate Masters, who taught me all the accomplishments requisite for one of my sex and rank. Under their instructions I learned Dancing, Music, Drawing & various Languages, by which means I became more accomplished than any other Taylor's Daughter in Wales. Never was there a happier creature than I was, till within the last half year — but I should have told you before that the principal Estate in our Neighbourhood belongs to Charles Adams, the owner of the brick House, you see yonder."

"Charles Adams!" exclaimed the astonished Alice; "are you acquainted with Charles Adams?"

"To my sorrow, madam, I am. He came about half a year ago to receive the rents of the Estate I have just mentioned. At that time I first saw him; as you seem, ma'am, acquainted with him, I need not describe to you how charming he is. I could not resist his attractions—"

"Ah! who can," said Alice with a deep sigh.

"My aunt, being in terms of the greatest intimacy with his cook, determined, at my request, to try whether she could discover, by means of her friend, if there were any chance of his returning my affection. For this purpose she went one evening to drink tea with Mrs. Susan, who in the course of Conversation mentioned the goodness of her Place & the Goodness of her Master; upon which my Aunt began pumping her with so much dexterity that in a short time Susan owned, that she did not think her Master would ever marry, "for" (said she) "he has often & often declared to me that his wife, whoever she might be, must possess Youth, Beauty, Birth, Wit, Merit, & Money. I have many a time" (she continued) "endeavoured to reason him out of his resolution & to convince him of the improbability of his ever meeting with such a Lady; but my arguments have had no effect, & he continues as firm in his determination as ever." You may imagine, Ladies, my distress on hearing this; for I was fearfull that tho' possessed of Youth, Beauty, Wit & Merit, & tho' the probable Heiress of my Aunt's House & business, he might think me deficient in Rank, & in being so, unworthy of his hand."

"However I was determined to make a bold push & therefore wrote him a very kind letter, offering him with great tenderness my hand & heart. To this I received an angry & peremptory refusal, but thinking it might be rather the effect of his modesty than any thing else, I pressed him again on the subject. But he never answered any more of my Letters & very soon afterwards left the Country. As soon as I heard of his departure, I wrote to him here, informing him that I should shortly do myself the honour of waiting on him at Pammydiddle, to which I received no answer; therefore, choosing to take Silence for Consent, I left Wales, unknown to my Aunt, & arrived here after a tedious Journey this Morning. On enquiring for his House, I was directed thro' this Wood, to the one you there see. With a heart elated by the expected happiness of beholding him, I entered it, & had proceeded thus far in my progress thro' it, when I found myself suddenly seized by

the leg & on examining the cause of it, found that I was caught in one of the steel traps so common in gentlemen's grounds."

"Ah! cried Lady Williams, how fortunate we are to meet with you; since we might otherwise perhaps have shared the like misfortune."

"It is indeed happy for you, Ladies, that I should have been a short time before you. I screamed, as you may easily imagine, till the woods resounded again & till one of the inhuman Wretch's servants came to my assistance & released me from my dreadful prison, but not before one of my legs was entirely broken."

Chapter 6

At this melancholy recital, the fair eyes of Lady Williams were suffused in tears & Alice could not help exclaiming,

"Oh! cruel Charles, to wound the hearts & leas of all the fair."

Lady Williams now interposed, & observed that the young Lady's leg ought to be set without farther delay. After examining the fracture, therefore, she immediately began & performed the operation with great skill, which was the more won-derfull on account of her having never performed such a one before. Lucy then arose from the ground, & finding that she could walk with the greatest ease, accompanied them to Lady Williams's House at her Ladyship's particular request.

The perfect form, the beautifull face, & elegant manners of Lucy so won on the affections of Alice, that when they parted, which was not till after Supper, she assured her that except her Father, Brother, Uncles, Aunts, Cousins & other relations, Lady Williams, Charles Adams, & a few dozen more of particular freinds, she loved her better than almost any other person in the world.

Such a flattering assurance of her regard would justly have given much pleasure to the object of it, had she not plainly perceived that the amiable Alice had partaken too freely of Lady Williams's claret. Her Ladyship (whose discernment was great) read in the intelligent countenance of Lucy her thoughts on the subject, & as soon as Miss Johnson had taken her leave, thus addressed her.

"When you are more intimately acquainted with my Alice, you will not be surprised, Lucy, to see the dear Creature drink a little too much; for such things happen every day. She has many rare & charming qualities, but Sobriety is not one of them. The whole Family are indeed a sad drunken set. I am sorry to say too that I never knew three such thorough Gamesters as they are, more particularly Alice. But she is a charming girl. I fancy not one of the sweetest tempers in the world; to be sure I have seen her in such passions! However, she is a sweet young Woman. I am sure you'll like her. I scarcely know any one so amiable. — Oh! that you could but have seen her the other Evening! How she raved! & on such a trifle too! She is indeed a most pleasing Girl! I shall always love her!"

"She appears, by your ladyship's account, to have many good qualities", replied Lucy. "Oh! A thousand," answered Lady Williams; "tho' I am very partial to her, and perhaps am blinded, by my affection, to her real defects."

Chapter 7

The next morning brought the three Miss Simpsons to wait on Lady Williams, who received them with the utmost politeness & introduced to their acquaintance Lucy, with whom the eldest was so much pleased that at parting she declared her sole ambition was to have her accompany them the next morning to Bath, whither they were going for some weeks.

"Lucy," said Lady Williams, "is quite at her own disposal & if she chooses to accept so kind an invitation, I hope she will not hesitate from any motives of delicacy on my account. I know not indeed how I shall ever be able to part with her. She never was at Bath & I should think that it would be a most agreeable Jaunt to her. Speak, my Love," continued she, turning to Lucy, "what say you to accompanying these Ladies? I shall be miserable without you — t'will be a most pleasant tour to you — I hope you'll go; if you do I am sure t'will be the Death of me — pray be persuaded."

Lucy begged leave to decline the honour of accompanying them, with many expressions of gratitude for the extream politeness of Miss Simpson in inviting her. Miss Simpson appeared much disappointed by her refusal. Lady Williams insisted on her going — declared that she would never forgive her if she did not, and that she should never survive it if she did, & in short, used such persuasive arguments that it was at length resolved she was to go. The Miss Simpsons called for her at ten o'clock the next morning & Lady Williams had soon the satisfaction of receiving from her young freind the pleasing intelligence of their safe arrival in Bath.

It may now be proper to return to the Hero of this Novel, the brother of Alice, of whom I believe I have scarcely ever had occasion to speak; which may perhaps be partly oweing to his unfortunate propensity to Liquor, which so compleatly deprived him of the use of those faculties Nature had endowed him with, that he never did anything worth mentioning. His Death happened a short time after Lucy's departure & was the natural Consequence of this pernicious practice. By his decease, his sister became the sole inheritress of a very large fortune, which as it gave her fresh Hopes of rendering herself acceptable as a wife to Charles Adams, could not fail of being most pleasing to her — and as the effect was Joyfull, the Cause could scarcely be lamented.

Finding the violence of her attachment to him daily augment, she at length disclosed it to her Father & desired him to propose a union between them to Charles. Her father consented & set out one morning to open the affair to the young Man. Mr. Johnson being a man of few words, his part was soon performed & the answer he received was as follows.

"Sir, I may perhaps be expected to appear pleased at & gratefull for the offer you have made me: but let me tell you that I consider it as an affront. I look upon myself to be, Sir, a perfect Beauty — where would you see a finer figure or a more charming face? Then, sir, I imagine my Manners & Address to be of the most polished kind; there is a certain elegance, a peculiar sweetness in them that I never saw equalled & cannot describe. Partiality aside, I am certainly more accomplished

in every language, every Science, every Art and every thing than any other person in Europe. My temper is even, my virtues innumerable, my self unparalleled. Since such, Sir, is my character, what do you mean by wishing me to marry your Daughter? Let me give you a short sketch of yourself & of her. I look upon you, Sir, to be a very good sort of Man in the main; a drunken old Dog to be sure, but that's nothing to me. Your daughter sir, is neither sufficiently beautiful, sufficiently amiable, sufficiently witty, nor sufficiently rich for me. I expect nothing more in my wife than my wife will find in me — Perfection. These, sir, are my sentiments & I honour myself for having such. One friend I have, & glory in having but one. She is at present preparing my Dinner, but if you choose to see her, she shall come & she will inform you that these have ever been my sentiments."

Mr. Johnson was satisfied, & expressing himself to be much obliged to Mr. Adams for the characters he had favoured him with of himself & his Daughter, took his leave.

The unfortunate Alice, on receiving from her father the sad account of the ill success his visit had been attended with, could scarcely support the disappointment. She flew to her Bottle & it was soon forgot.

Chapter 8

While these affairs were transacting at Pammydiddle, Lucy was conquering every Heart at Bath. A fortnight's residence there had nearly effaced from her remembrance the captivating form of Charles. The recollection of what her Heart had formerly suffered by his charms & her Leg by his trap, enabled her to forget him with tolerable Ease, which was what she determined to do; & for that purpose dedicated five minutes in every day to the employment of driving him from her remembrance.

Her second Letter to Lady Williams contained the pleasing intelligence of her having accomplished her undertaking to her entire satisfaction; she mentioned in it also an offer of marriage she had received from the Duke of —, an elderly Man of noble fortune whose ill health was the chief inducement of his Journey to Bath.

"I am distressed" (she continued) "to know whether I mean to accept him or not. There are a thousand advantages to be derived from a marriage with the Duke, for besides those more inferior ones of Rank & Fortune, it will procure me a home, which of all other things is what I most desire. Your Ladyship's kind wish of my always remaining with you is noble & generous, but I cannot think of becoming so great a burden on one I so much love & esteem. That one should receive obligations only from those we despise, is a sentiment instilled into my mind by my worthy aunt, in my early years, & cannot in my opinion be too strictly adhered to. The excellent woman of whom I now speak is, I hear, too much incensed by my imprudent departure from Wales, to receive me again. I most earnestly wish to leave the Ladies I am now with. Miss Simpson is indeed (setting aside ambition) very amiable, but her 2d. Sister, the envious & malvolent Sukey, is too disagreeable to live with. I have reason to think that the admiration I have met with in the circles of the Great at this Place, has raised her Hatred & Envy; for often has she threatened, & sometimes endeavoured to cut my throat. Your Ladyship will therefore allow that I am not wrong in wishing to leave Bath, & in wishing to have a home to receive me, when I do. I shall expect with impatience your advice concerning the Duke & am your most obliged &c. Lucy."

Lady Williams sent her her opinion on the subject in the following Manner.

"Why do you hesitate, my dearest Lucy, a moment with respect to the Duke? I have enquired into his Character & find him to be an unprincipled, illiterate Man. Never shall my Lucy be united to such a one! He has a princely fortune, which is every day encreasing. How nobly will you spend it! what credit will you give him in the eyes of all! How much will he be respected on his Wife's account! But why, my dearest Lucy, why will you not at once decide this affair by returning to me & never leaving me again? Altho' I admire your noble sentiments with respect to obligations, yet, let me beg that they may not prevent your making me happy. It will, to be sure, be a great expence to me, to have you always with me — I shall not be able to support it — but what is that in comparison with the happiness I shall enjoy in your society? 'Twill ruin me I know — you will not therefore surely, withstand these arguments, or refuse to return to yours most affectionately &c. &c. C. Williams"

Chapter 9

What might have been the effect of her Ladyship's advice, had it ever been received by Lucy, is uncertain, as it reached Bath a few Hours after she had breathed her last. She fell a sacrifice to the Envy & Malice of Sukey, who jealous of her superior charms, took her by poison from an admiring World at the age of seventeen.

Thus fell the amiable & lovely Lucy, whose Life had been marked by no crime, and stained by no blemish but her imprudent departure from her Aunt's, & whose death was sincerely lamented by every one who knew her. Among the most afflicted of her freinds were Lady Williams, Miss Johnson & the Duke; the 2 first of whom had a most sincere regard for her, more particularly Alice, who had spent a whole evening in her company & had never thought of her since. His Grace's affliction may likewise be easily accounted for, since he lost one for whom he had experienced, during the last ten days, a tender affection & sincere regard. He mourned her loss with unshaken constancy for the next fortnight, at the end of which time, he gratified the ambition of Caroline Simpson by raising her to the rank of a Dutchess. Thus was she at length rendered compleatly happy in the gratification of her favourite passion. Her sister, the perfidious Sukey, was likewise shortly after exalted in a manner she truly deserved, & by her actions appeared to have always desired. Her barbarous Murder was discovered, & in spite of every interceding freind she was speedily raised to the Gallows. The beautiful but affected Cecilia was too sensible of her own superior charms, not to imagine that if Caroline could engage a Duke, she might without censure aspire to the affections of some Prince — and knowing that those of her native Country were chiefly engaged, she left England & I have since heard is at present the favourite Sultana of the great Mogul.

In the mean time, the inhabitants of Pammydiddle were in a state of the greatest astonishment & Wonder, a report being circulated of the intended marriage of Charles Adams. The Lady's name was still a secret. Mr. & Mrs. Jones imagined it to be Miss Johnson; but she knew better; all her fears were centered in his Cook, when to the astonishment of every one, he was publicly united to Lady Williams.

Finis

Джейн Остин
Джек и Элис

Почтительно посвящается
г-ну Фрэнсису Уильяму Остену,
мичману на борту корабля
королевского флота
«Настойчивый»,
его покорным слугой.

Автор

Глава первая

Мистеру Джонсону когда-то было пятьдесят три года; через двенадцать месяцев исполнилось пятьдесят четыре, отчего он пришёл в восторг и вознамерился отпраздновать грядущий день рождения, устроив Маскарад для своих Чад и Друзей. Согласно с чем, в день, когда ему исполнилось пятьдесят пять, всем соседям разослали приглашения. Круг его знакомых в той части света был невелик, и включал только леди Уильямс, мистера и миссис Джонс, Чарльза Адамса и трёх девиц Симпсон — все они жили в окрестности Паммидидл и явились на Маскарад.

Прежде чем приступить к описанию вечера, следует ознакомить читателя с внешностью и характером персон, ему представленных.

Мистер и миссис Джонс были оба высокие и вспыльчивые, но во всех прочих отношениях сама уживчивость и любезность. Чарльз Адамс — привлекательный, изысканный, обворожительный молодой человек столь ослепительной Красоты, что лишь Орлы смели смотреть ему в Лицо.

Старшая мисс Симпсон блистала приятной внешностью, Манерами и Нравом; лишь необузданное честолюбие не красило её. Средняя сестра, Сьюки, была Завистлива, Язвительна и Зловредна, толстая уродливая коротышка. Сесилия, младшая, хоть и красивая, слишком жеманилась, чтобы всем нравиться.

В леди Уильямс совместились все добродетели. Она была вдова с замечательным Доходом и остатками замечательной красоты. Несмотря на её Щедрость и Открытость, она отличалась Великодушием и искренностью; Несмотря на её Набожность и Приветливость, она отличалась Благочестием и любезностью; Несмотря на её Утонченность и Привлекательность, она отличалась Элегантностью и Приятностью.

Джонсоны представляли собой Любящее семейство, и — несмотря на некоторое пристрастие к Бутылке и Азарту — славились многими прекрасными Качествами.

Вот такое общество собралось в роскошной Гостиной особняка Джонсон-корт, и среди женских Масок более всего привлекала взоры прелестная Султанша. Из мужчин — Маска, изображающая Солнце, вызвала всеобщее восхищение. Лучи, льющиеся из его Глаз, соперничали с сим

великолепным Светилом, будучи не в пример превосходнее. Они так сияли, что никто не смел подойти ближе, чем на полмили; мужчина занимал почти всю залу один, поскольку в длину она не превышала три четверти мили, и полмили в ширину. Наконец, Джентльмен, обнаружив, что слепящий свет исходящих от него лучей не благоприятствует общению, отгоняя всех в тесный угол комнаты, полуприкрыл глаза, благодаря чему Собрание различило Чарльза Адамса в простом зеленом Фраке, совершенно без маски.

Когда всеобщее изумление немного улеглось, внимание обратилось на две маски в домино, будто в Пылу спора; оба высокие, но во всех прочих отношениях сама уживчивость и любезность. «Вот, — заметил остроумный Чарльз, — вот мистер и миссис Джонс», что соответствовало истине.

Никто и вообразить не мог, кем была Султанша! Пока, наконец, обращаясь к грациозной Флоре, лежавшей на софе в заученной позе, она не сказала: «Ах, Сесилия, если б я была той, которую изображаю», — чем обнаружила себя пред неистощимым гением Чарльза Адамса как элегантная, но честолобивая Кэролайн Симпсон. Та, к которой она обращалась, была, по его справедливому мнению, не кто иная, как ее миловидная, но жеманная сестра Сесилия.

Общество затем направилось к Игорному Столу, поглотившему внимание трех масок в домино (каждая с бутылкой в руках); однако дама в наряде Добродетели бежала от возмутительной сцены, в то время как толстая коротышка, изображавшая Зависть, присаживалась поочередно на головы троих Игроков. Чарльзу Адамсу не изменила ясность ума; он скоро догадался, что за столом члены семейства Джонсонов, Зависть представляет Сьюки Симпсон, а Добродетель — леди Уильямс.

Засим Маски сняли, и Общество перешло в другую комнату, чтобы отведать изысканное и прекрасно приготовленное Угощение, после чего, благодаря трем Джонсонам, беспрестанно подливавшим из Бутылок, все собрание (не исключая и Добродетель) развезли по домам, Мертвецки Пьяными.

Глава вторая

Добрых три месяца Маскарад давал пищу разговорам среди населения Паммидидл; но более всего распространялись о Чарльзе Адамсе. Своеобразие внешности, лучи, исходящие из его глаз, блеск Остроумия и весь общий эффект затронули сердца множества юных леди, так что из шести, присутствующих на Маскараде, лишь пять вернулись непокоренными. Элис Джонсон оказалась несчастной шестой, чье сердце не смогло устоять пред силой его Обаяния. Однако если мои Читатели сочтут странным, что такая бездна достоинств и Совершенств, принадлежащих ему, завоевала лишь её, стоит напомнить, что девиц Симпсон защитили Честолубие, Зависть и Самолюбование.

Все желания Кэролайн сходились на титулованном Супруге; в Сьюки столь превосходные совершенства могли вызвать одну только Зависть, а не Любовь; а Сесилия была слишком привязана к собственной персоне, чтобы восхищаться кем-то еще. Что до леди Уильямс и миссис Джонс, одной хватало благоразумия не влюбляться в человека настолько её Моложе, а другая, хоть и высокая, а также вспыльчивая, обожала мужа и ни о чём таком не думала.

Вопреки поползновениям мисс Джонсон обнаружить в нем к себе привязанность, холодное и равнодушное сердце Чарльза Адамса, по всей видимости, еще хранило прирожденную свободу; вежливый со всеми, он не отличал никого, и оставался милым, любезным, но нечувствительным Чарльзом Адамсом.

Однажды вечером, подогретая вином (нередкий случай) Элис решила искать утешения расстроенному Уму и томящемуся Сердцу в Беседе с разумной леди Уильямс.

Она застала её светлость дома, как обычно, поскольку та не любила выходить, и — как достославный сэра Чарльз Грандисон — считала ниже своего достоинства отказывать в приёме, находясь Дома, поскольку рассматривала сей модный метод скрываться от неприятных Посетителей чуть ли не как откровенное Двоеженство.

Несмотря на выпитое вино, несчастная Элис пребывала в расстроенных чувствах; она не могла думать ни о чём, кроме Чарльза Адамса, не могла говорить ни о ком, кроме него, и, словом, выразилась столь открыто, что леди Уильямс вскоре догадалась о её безответной привязанности, возбудившей в ней Жалость и Сочувствие, и обратилась к гостье следующим образом:

— Я вижу, увы, слишком явно, дорогая мисс Джонсон, что ваше Сердце не в силах противостоять притягательному Очарованию сего Юноши, и искренне вам сочувствую. Это что, первая Любовь?

— Да.

— Тем печальнее слышать; я сама могу служить примером Страданий, обыкновенно сопровождающих первую Любовь, и твердо решила в будущем сторониться подобного Несчастья. Надеюсь, ещё не слишком поздно и вам сделать то же; если так, попытайтесь, моя дорогая, избежать столь серьёзной Опасности. Вторая привязанность редко влечёт за собой значительные последствия; здесь я ничего не имею возразить. Остерегайтесь первой Любви, и вам не нужно будет бояться второй.

— Вы упомянули, мадам, что и сами пострадали от несчастья, которого в своей доброте желаете мне избежать. Не поведаете ли свою Жизнь и Приключения?

— С охотой, Душа моя.

Глава третья

«Мой отец был беркширский джентльмен с немалым Состоянием; я и мои братья с сестрами — его единственные Дети. Мне было всего шесть лет, когда мне не посчастливилось лишиться Матери, и, снисходя к моему Нежному возрасту, отец не отослал меня в Школу, а нанял дельную Гувернантку надзирать за моим Образованием под домашней Кровлей. Братьев разослали по Школам в соответствии с их Возрастом, а сёстры, все моложе меня, оставались на Попечении своей Няньки.

Мисс Дикинс оказалась превосходной Гувернанткой. Она учила меня ступать Путиами Добродетели; под её руководством день ото дня я становилась всё лучше и лучше; возможно, к сему дню уже почти достигла бы совершенства, не будь моя драгоценная Наставница вырвана из моих объятий, едва мне исполнилось семнадцать. Никогда не забуду её последние слова: «Милая Китти, — сказала она, — спокойной ночи». Больше я никогда её не видела, — продолжала леди Уильямс, утирая слезы. — Той же ночью она сбежала с дворецким.

На следующий год дальняя родственница отца пригласила меня провести Зиму с нею в Лондоне. Миссис Уоткинс была светская леди, родовитая, богатая; слыла вполне миловидной, но я, со своей стороны, никогда не считала её особенно красивой. Лоб у неё был высоковат, глаза маловаты, и ещё — она была слишком румяная».

— Как такое может быть? — прервала мисс Джонсон, багровея от гнева. — Думаете, можно быть такой румяной?

— Верно, думаю, и скажу вам, почему, дорогая Элис; если у кого-то слишком много красноты на щеках, это придаёт лицу, по-моему, слишком красный вид.

— Но может ли, леди Уильямс, лицо быть слишком красным?

— Конечно, дорогая мисс Джонсон, и скажу вам, почему. Когда лицо слишком красное, оно не столь хорошо выглядит, как более бледное.

— Пожалуйста, мадам, продолжайте ваш рассказ.

— Что ж, как уже сказано, я получила приглашение провести несколько недель у неё в Лондоне. Многие джентльмены считали её Красивой, но, на мой взгляд, лоб у неё был высоковат, глаза маловаты, и она была слишком румяная.

— Вот здесь, мадам, как я упомянула, ваша светлость ошибается. Миссис Уоткинс не могла быть слишком румяной, поскольку это невозможно.

— Прощу меня извинить, Душа моя, если чуточку не соглашусь с вами. Позвольте мне объяснить подробнее; моё представление таково: если у Дамы избыточно много красноты на Щеках, она, следует признать, слишком румяная.

— Но, мадам, я не считаю, что у кого-то может быть избыточно много красноты на Щеках.

– Как, Душа моя, даже если кто-то слишком румяный?

Мисс Джонсон вконец потеряла терпение, не в последнюю очередь, возможно, оттого, что леди Уильямс хранила непоколебимое хладнокровие. Следует помнить, однако, что её светлость в одном отношении имела явное преимущество перед гостьей; я имею в виду, в трезвости, поскольку, разгоряченная вином и возбужденная Страстью, Элис утратила остатки Самообладания.

Наконец Спор стал таким жарким со стороны Элис, что «чуть к кулакам от слов не перешел», но, к счастью, появился мистер Джонсон и с некоторым усилием увлек её прочь от леди Уильямс, миссис Уоткинс и красных щёк.

Глава четвертая

Если Читатели воображают, что после описанной перепалки дружеские отношения между семейством Джонсонов и леди Уильямс должны были прекратиться, они ошибаются; её светлость была слишком разумна, чтобы сердиться из-за поступка, который — как невольно бросилось ей в глаза — был естественным следствием подпития, Элис же питала глубокое уважение к леди Уильямс и нежные чувства — к её бордо, с чем и постаралась пойти на уступки.

Через несколько дней после примирения леди Уильямс навестила мисс Джонсон и предложила прогуляться по Цитроновой Роще, ведущей от свинарника её светлости к лошадиной поилке в имении Чарльза Адамса. Элис приняла предложение с изъявлениями восторга, покоренная добротой леди Уильямс и надеждой полюбоваться лошадиной поилкой Чарльза. Они отошли совсем недалеко, когда Элис внезапно отвлекли от мыслей о грядущем развлечении такие слова леди Уильямс:

– Я до сих пор пренебрегала возможностью, дорогая Элис, продолжить рассказ о моей Жизни, не желая вызвать у вас в Памяти сцену, которую (поскольку она скорее бросает на вас тень, чем выставляет в выгодном свете) лучше забыть, чем помнить.

Элис вспыхнула и, открыла было рот, но её светлость, заметив такое неудовольствие, продолжала:

– Боюсь, дорогая, что мои слова вас задели; позвольте вас уверить, что ни в коей мере не желаю никого огорчать воспоминаниями о том, что всё равно не изменишь; принимая во внимание обстоятельства, я не виню вас настолько, как прочие; ведь если некто под Хмельком, он не отвечает за свои действия.

– Мадам, это невыносимо; я настаиваю...

– Дорогая, не давайте воли раздражению; уверяю вас, я целиком простила всё случившееся; да я и тогда не сердилась, поскольку с самого начала заметила: вы едва держались на ногах. Понятно, что вы не контролировали свои странные речи. Кажется, я привожу вас в уныние;

ничего, я сменю тему, не будем больше об этом; помните, что всё забыто — продолжу свой рассказ; но настаиваю на том, чтобы не возвращаться к описанию миссис Уоткинс; незачем поминать старое, да и вы никогда её не видели, вам без разницы, если лоб у неё был высоковат, глаза маловаты, а сама она была слишком румяная.

– Опять! Леди Уильямс, это уж слишком...

Несчастливая Элис была вне себя при возобновлении прежнего рассказа, и не знаю, к чему бы это привело, если бы их внимание не занял другой предмет. Прелестная юная Девица, лежавшая, явно страдая от боли, под цитроновым деревом, не могла не броситься им в глаза. Забыв собственные разногласия, они поспешили к ней с нежным сочувствием и приветствовали её в следующих выражениях:

– Кажется, прелестная Нимфа, вас постигла некая невзгода, каковую мы были бы счастливы облегчить, если вы только сообщите, в чём она заключается. Не поведаете ли свою Жизнь и Приключения?

– Охотно, леди; будьте любезны, присядьте.

Они уселись, и начался рассказ.

Глава пятая

«Я уроженка Северного Уэльса, мой отец среди самых известных там Портных. Обременённый многочисленной семьёй, он согласился, чтобы сестра моей матери, обеспеченная вдова и владелица пивной в соседней деревне, взяла меня на воспитание собственным коштом. Я провела у неё восемь лет Жизни, за это время она предоставила мне лучших Учителей, которые наставляли меня во всех совершенствах, требуемых от девицы в моем положении. Под их руководством я изучила Танцы, Музыку, Рисование и многочисленные Языки, благодаря чему стала образованнейшей среди Дочерей Портных в Уэльсе. Не было никого счастливее меня, пока полгода назад... Но мне следовало сообщить вам ранее, что самое богатое имение в нашем околотке принадлежит Чарльзу Адамсу, владельцу того кирпичного Дома, что виднеется вдалеке».

– Чарльзу Адамсу! — воскликнула Элис в изумлении. — Вы знаете Чарльза Адамса?

– Увы, да, мадам. Он приехал в упомянутое мною имение полгода назад собрать арендную плату. Тогда я впервые его увидела; поскольку вы, очевидно, с ним знакомы, мне нет необходимости описывать его. Я не смогла противостоять его чарам...

– Ах! кто бы смог, — вздохнула Элис.

«Моя тётя, лучшая подруга его кухарки, решила, по моей просьбе, узнать у неё, есть ли у меня надежда на ответное чувство. С этой целью она отправилась однажды вечером выпить чаю у миссис Сьюзен; та в ходе разговора распространялась о своём удачном Месте и Доброте своего Хозяина; а когда моя тетя стала весьма тонко выспрашивать её, Сьюзен

вскоре призналась, что, по её мнению, Хозяин никогда не женится, «потому что (объясняла она) он частенько говаривал, что его жена, кто бы она ни была, должна соединять в себе Юность, Красоту, Знатность, Остроумие, Достоинство и Богатство. Много раз» (продолжала она) «я пыталась наставить его на путь истинный и убедить, как мала вероятность встретить подобную Леди, но мои объяснения ни к чему не привели, и он все так же тверд в своём решении, как и раньше». Можете себе представить, дамы, сколь печально мне было это слышать; я боялась, что хотя и соединяю Юность, Красоту, Остроумие и Достоинство, а также унаследую Дом и торговое предприятие моей тети, он может счесть недостаточной мою Знатность, а тем самым и меня — недостойной его руки.»

«Однако я решилась на рискованный шаг и отправила ему чрезвычайно любезное письмо, нежно предлагая руку и сердце, на что получила суровый и безоговорочный отказ. Посчитав, что здесь сыграла роль его скромность, и ничто другое, я стала вновь настаивать. Но он более не отвечал на мои Письма и спешно покинул наши Края. Узнав о его отъезде, я написала сюда и сообщила, что вскоре буду иметь честь нанести ему визит в Паммидидл, но ответа не получила. Решив, что Молчание — знак Согласия, я покинула Уэльс, без ведома тети, и прибыла сюда после утомительного Путешествия не далее как сегодня Утром. Меня направили к его Дому, в виду которого мы находимся, через Лес. Я вступила в рощу с легким сердцем, в ожидании счастья его увидеть, и дошла до этого места, где внезапно обнаружила неподвижность в ноге; изучив причину такого явления, я пришла к выводу, что попала в капкан, какие встречаются в частных владениях у джентльменов».

— Ах, — воскликнула леди Уильямс, — как удачно, что вы оказались на нашем пути; иначе мы могли бы сами пасть жертвой подобного несчастья...

— Действительно, вам повезло, леди, что я вас опередила на некоторое время. Я кричала, как легко можно себе представить, пока эхо не стало отдаваться во всей роще, и пока один из служителей жестокого Негодяя не пришёл мне на помощь, высвободив меня из ужасного заключения, но, увы, не раньше, чем нога была сломана.

Глава шестая

От сего горестного повествования прекрасные глаза леди Уильямс наполнились слезами, а Элис невольно воскликнула:

— О, жестокий Чарльз! Как ранит он сердца и ноги всех прелестниц.

Леди Уильямс перебила её, заметив, что ногу юной Девы необходимо вылечить безотлагательно. Осмотрев перелом, соответственно, она тут же приступила к делу и провела операцию с блеском, и тем более поразительно, что никогда раньше ничем подобным не занималась. Люси поднялась с земли и, обнаружив, что может передвигаться с величайшей

легкостью, пошла вместе с ними к дому леди Уильямс, по настоятельной просьбе её светлости.

Идеальная фигура, красивое лицо и элегантные манеры Люси окончательно покорили сердце Элис, и при расставании после Ужина та уверяла, что — за исключением Отца, Брата, Дядьев, Теток, Кузенов, Кузин и другой родни, леди Уильямс, Чарльза Адамса и ещё нескольких десятков лучших друзей — она обожает её больше всех на свете.

Подобные лестные уверения вполне справедливо принесли бы немалое удовольствие слушательнице, если бы той не бросилось в глаза, что любезная Элис слишком обильно вкусила от бордо леди Уильямс.

Её светлость (проницательная, как всегда) прочла мнение Люси на её здоровомыслящем лице, и как только мисс Джонсон попрощалась, обратилась к ней:

— Когда вы ближе познакомитесь с моей дорогой Элис, вас перестанет изумлять, что милое создание пьёт, не зная меры, и так каждый день. У неё множество необыкновенных и обворожительных качеств, но Трезвость к ним не относится. Да и вся Семейка, что говорить, сплошные выпивохи. Как ни печально признать, и трёх таких заядлых Игроков, как они, особенно Элис, тоже поискать. Но она — само очарование. Не лучший нрав, правда; видывала я такие вспышки! Однако, она неиспорченная юная Особа. Уверена, вам она понравится, Люси. Я не знаю никого, столь же приветливого. Ах, если б вы слышали её недавно Вечером! Как она бушевала! Да ещё по столь ничтожному поводу! Нет, в самом деле, она очень приятная Девица! Я буду любить её вечно!

— Судя по отзыву вашей светлости, у неё великое множество достоинств, — отвечала Люси.

— О, тысячи! — согласилась леди Уильямс. — Хотя я пристрастна, возможно, слепая привязанность и не даёт мне заметить её истинные недостатки.

Глава седьмая

На следующее утро три девицы Симпсон нанесли визит леди Уильямс, были приняты с отменной вежливостью и представлены Люси, которая столь понравилась старшей, что на прощанье та заявила о своём единственном стремлении: взять её с собой в Бат на следующее же утро; сёстры отправлялись туда на несколько недель.

— Люси, — заявила леди Уильямс, — сама себе хозяйка, и если она решит воспользоваться столь любезным приглашением, надеюсь, не станет колебаться из деликатности по отношению ко мне. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь с ней расстаться. Она ни разу не была в Бате, и, смею полагать, поездка покажется ей весьма приятным Увеселением.

— Ну, Душа моя, — обратилась она к Люси, — что вы скажете на предложение сопровождать этих леди? Вы оставите меня в печали...

путешествие вас очень порадует... надеюсь, вы поедете; если вы меня покинете, я зачахну... позвольте вас убедить...

Люси отклонила честь их сопровождать, с многочисленными выражениями благодарности Мисс Симпсон за любезное приглашение. Мисс Симпсон казалась весьма разочарованной отказом. Леди Уильямс настояла на согласии — объявила, что никогда ей не простит, если та не поедет, и что не переживёт, если та поедет; словом, прибегла к убедительнейшим аргументам подобного рода, и в конце концов было решено, что Люси поедет. На следующий день сёстры Симпсон заехали за ней в десять утра, и леди Уильямс, к своему удовлетворению, вскоре получила от юной подруги радостное известие об их благополучном прибытии в Бат.

Теперь следует вернуться к Герою сего Романа, брату Элис, о котором, по-моему, мы ещё не имели случая поговорить; главным образом потому, что ввиду злополучной склонности к Напиткам он не имел никакой возможности проявить способности, дарованные ему Природой, и не свершил ничего достойного упоминания. Вскоре после отъезда Люси наступила его Смерть, естественное следствие упомянутой слабости. Кончина брата привела к тому, что сестра стала единственной наследницей большого состояния, и это — придав ей новую Надежду оказаться подходящей супругой в глазах Чарльза Адамса — не могло не радовать её, а поскольку следствие было Отрадным, о Причине вряд ли стоило скорбеть.

Обнаружив, что сила её чувства возрастает день ото дня, наконец, она открылась отцу и просила его предложить Чарльзу союз между ними. Отец согласился и утром направился обсудить вопрос с молодым Человеком. Мистер Джонсон всегда был молчалив, изложил дело в немногих словах и получил следующий ответ:

— Сэр, возможно, мне и следует предстать радостным и благодарным за предложение, которое вы мне сделали; но позвольте заметить, что рассматриваю его как оскорбление. Я считаю себя, сэр, воплощением Красоты — где вы найдете фигуру величественней или лицо привлекательней? Далее, сэр, мои Манеры и Обхождение самые изысканные; в них есть некая элегантность, особая приятность, какую невозможно ни имитировать, ни описать. Без всякого пристрастия, я превосхожу всех в Европе в любом Языке, любой Науке, любом Искусстве и прочем. Благодетели моё неизменно, добродетели неисчислимы, я не имею себе равных. Раз моя личность такова, с чего вам в голову взбрело женить меня на своей Дочери? Позвольте кратко обрисовать вас и её. Вас я рассматриваю, сэр, как человека в целом неплохого; конечно, напиваетесь вы как свинья, но меня это не касается. Ваша дочь, сэр, недостаточно красива, недостаточно любезна, недостаточно остроумна, недостаточно богата для меня. От своей супруги я ожидаю не меньшего, чем найдёт она во мне — Совершенства. Таковы, сэр, мои чувства и я себя за них уважаю. У меня один лишь друг, и я горжусь тем, что лишь один. В настоящее время она готовит мне Обед, но,

если вы пожелаете с нею увидиться, то непременно явится и подтвердит, что мои чувства всегда были неизменны.

Мистер Джонсон удовлетворился сказанным и, выразив благодарность мистеру Адамсу за характеристику, что тот изволил дать ему и его Дочери, отправился восвояси.

Несчастливая Элис, получив от отца досадный отчёт о провале, которым увенчался его визит, едва могла сдержать разочарование — она поспешила к Бутылке и вскоре забылась.

Глава восьмая

Пока шли события в Паммидидле, в Бате Люси покоряла все Сердца. Пленительный образ Чарльза почти изгладился из её памяти за две недели. Воспоминания, как пострадало Сердце от его чар, а Нога — от его капкана, также способствовали забвению, чего она достигла с необычайной Легкостью, отводя пять минут каждый день на то, чтобы изгнать его из мыслей.

Во втором Письме к леди Уильямс содержалось приятное известие, что ей удалось полностью преуспеть в своём начинании; кроме того, она упомянула о предложении руки от герцога —, пожилого, но с изрядным состоянием, поправлявшего в Бате расстроенное здоровье.

«Ума не приложу (писала она), собираюсь ли принять его. Брак с герцогом сулит тысячи преимуществ, поскольку — не считая столь незначительных как Знатность и Богатство — я наконец заживу своим домом, чего желаю более всего на свете. Участливое побуждение вашей светлости навсегда оставить меня при себе благородно и великодушно; однако невыносимо даже представить, как я стану обузой той, кого безгранично люблю и почитаю. Моя достойная тетя постаралась внушить мне с младых лет, что принимать благоденствия следует лишь от тех, кого презираешь, чего я намерена строго придерживаться. Достоянная женщина, о которой зашла речь, по слухам, чрезвычайно раздражена из-за моего опрометчивого отъезда из Уэльса и не примет меня назад. Я искренне желаю покинуть Дам, у которых сейчас пребываю. Правда, мисс Симпсон (если не принимать во внимание честолюбия) ведёт себя любезно, но средняя сестра, завистливая и злобная Сьюки, невыносима в домашнем кругу. У меня есть некоторые основания полагать, что восхищение, которым я пользуюсь здесь среди Высших кругов, вызвало её Ненависть и Зависть; поскольку она часто грозила, а временами и пыталась перерезать мне горло. Посему ваша светлость признает мою правоту, если я стремлюсь покинуть Бат и занять собственный кров, куда приклонить голову. С нетерпением жду вашего совета касательно герцога, остаюсь навеки признательной и т.д.

Люси».

Леди Уильямс послала ей своё мнение о предмете в таких Выражениях:

«Отчего вы колеблетесь хоть мгновение, дражайшая Люси, касательно герцога? Я навела справки о его Личности и узнала, что он беспринципный, безграмотный Невежа. Никогда моя Люси не соединит себя узами брака с таким! У него сказочное состояние, и оно возрастает что ни день. Как превосходно вы станете его тратить! Какой кредит вы придадите ему в глазах окружающих! Как его станут уважать благодаря Жене! Но почему, дражайшая Люси, вы не разрешите проблему раз и навсегда, вернувшись опять ко мне? Хоть я и восхищаюсь вашими благородными понятиями о благодеяниях, все же позвольте умолять вас не поддаваться им, не лишать меня такого счастья. Разумеется, если вы постоянно будете жить у меня, мне это обойдется недешево — просто не по карману — но что это в сравнении со счастьем пребывать в вашем обществе? — я разорюсь, понимаю — нет, вы не сможете устоять перед моими аргументами, и оставить в одиночестве вашу преданную и т.д.

К.Уильямс».

Глава девятая

Как повлиял бы на Люси совет леди Уильямс, дойди он до неё вовремя, неизвестно, поскольку письмо прибыло в Бат через несколько Часов после того, как она испустила последний вздох. Она пала жертвой Зависти и Злобы, когда Сьюки, ревнуя к её недостижимым чарам, с помощью яда заставила её покинуть восхищенный Мир в семнадцать лет.

Так погибла прелестная Люси, чья Жизнь не была отмечена никаким злодеянием, никаким проступком, за исключением безрассудного бегства от тети, и чью смерть искренне оплакивали все, кто её знал. Среди её друзей более всего страдали леди Уильямс, мисс Джонсон и герцог; названные дамы испытывали к ней чистосердечную привязанность, особенно Элис, что провела в её обществе целый вечер и больше никогда о ней не вспоминала. Объяснить печаль его сиятельства ничуть не сложнее, поскольку он утратил ту, к которой последние десять дней питал нежные чувства и беспримерное расположение. Он оплакивал свою потерю с непоколебимой верностью ещё две недели, а затем порадовал честолюбивую Кэролайн Симпсон, сделав её герцогиней. Вот так она обрела, наконец, совершенное счастье, удовлетворив свои амбиции. Её сестра, коварная Сьюки, также достигла высокого положения, которого всемерно заслуживала, а может быть, и желала, судя по её всегдашнему поведению. Её жестокое Убийство было раскрыто, и, несмотря на попытки друзей вмешаться, она очутилась на высокой Виселице. Красивая, но жеманная Сесилия была такого мнения о своём бесподобном обаянии, что решила: если Кэролайн может выйти за герцога, её-то никто не сможет порицать за поиски Принца — а зная, что в родной стране незанятых

не осталось, покинула Англию и, говорят, теперь любимая Султанша Великого Могола.

Тем временем обитателей Паммидидл поверг в величайшее Изумление неожиданный слух о предстоящей женитьбе Чарльза Адамса. Имя леди оставалось тайной. Мистер и миссис Джонс полагали, что невеста — мисс Джонсон, но та лучше всех знала обратное; все её страхи обратились к его Кухарке, и, наконец, ко всеобщему удивлению, он публично сочетался браком с леди Уильямс...

Перевод Анны Исаевой (a.isaeva@donnu.ru), ассистента кафедры германской филологии Донецкого национального университета. В 2019 г. окончила магистратуру по направлению подготовки 45.04.01 Филология «Теория перевода и сопоставительное изучение языков (немецкий язык)» ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет».

Jack Delany. The Case of The Lower Case Letter

She breezed into my office one cold September morning. I'd been enjoying a hot cup of Starbuck's finest and surfing the web for local news. The famous lexical semanticist Professor Edgar Nettleston had been found dead, a gunshot wound to the head. The police verdict was suicide.

She held out an elegant hand as she floated towards me and I glimpsed a wedding band with a stone the size of a peanut M&M.

"I'm Edith Nettleston."

"Sorry about the old man."

"I'm not. He loved me, but he loved words more. I'll be brief. My husband was working on a paper that will rock the very foundation of lexical semantics. It's worth a fortune in lecture tours, but nobody can find it. I believe his suicide note is a clue to its whereabouts."

She removed a scrap of paper from her blouse.

"edith. i'm not going to whine, i've had a good life. i've found wealth and happiness as a teacher, a seller of knowledge. but i find myself depressed beyond hope ... and so i'm choosing the hour and manner of my own demise. i have treated you badly. i demanded you dyed your brown curls blonde. i thought i could buy you when i should have won your love. i called you a witch. i'd complain: where's the woman i married? i said you ate too much. if i wanted change, i could have used a carrot rather than a stick. you probably wanted to wring my neck. forgive me. farewell."

"It's all written in lower case. My husband was a stickler for correct grammar. I refuse to believe it doesn't mean something."

"Mrs. Nettleston, I think I can help you. There's a couple of odd things about this letter. Firstly, as you say, it's written entirely in lower case. Mr. Nettleston was a world-renowned lexical semanticist, not a teenager texting his BFFs."

"Secondly, it has a more than usual number of homophones, words where there is another word with the same sound but different spelling and meaning. When dealing with a lexical semanticist, that's surely no accident."

"If we read those homophones in order, we have: whine, seller, hour, manner. And translating to their homophones: Wine cellar our manor."

Several hours later, we arrived at the Nettlestons' country house and immediately headed for the basement. A flip of a light switch revealed tunnels filled with rows of dark bottles.

"Where is it? It would take years to search this place."

"Not so fast, Mrs. Nettleston. First I have to ask you something: your wedding ring diamond, how large is it?"

"It's eight carats. Edgar wouldn't stop talking about it."

"That's what I feared." I pulled out my trusty revolver. "How you must have hated him and his lexical semantics! You figured you'd kill him and keep the money from the paper yourself. You forced him to write that suicide note, thinking you knew where it was. But he was suspicious and he'd already hidden it. And he had another surprise for you: the rest of the note, it doesn't reveal where the paper is, it reveals his killer. The final homophones: dyed buy won witch where's ate carrot wring. That is: died by one which wears eight carat ring."

As the cops left with Mrs. Nettleston I took a quick trip round the maze of tunnels. It didn't take me long to find it. Most of the wine lay unpacked on racks but in one corner two cases sat stacked, one on top of each other. Carefully, I opened the lower one.

Джек Делани. Дело о маленьких буквах

Холодным сентябрьским утром она ворвалась ко мне в кабинет. Я наслаждался чашкой горячего кофе из «Старбакса» и просматривал местные новости в интернете. Известного специалиста по лексической семантике, профессора Эдгара Нетлстона, нашли мёртвым с огнестрельным ранением в голову. В полиции решили, что это самоубийство.

Она подплыла ко мне и протянула изящную руку. Краем глаза я заметил обручальное кольцо с камнем, напоминающим по размеру арахис из M&M's.

— Меня зовут Эдит Нетлстон.

— Мне жаль, что всё так сложилось.

— А мне нет. Слова он любил больше меня. Постараюсь быть краткой. Последний труд моего мужа должен был пошатнуть сами основы лексической семантики. Выступления с ним могли бы принести целое состояние, но, увы, никто и понятия не имеет, куда подевался этот труд. Я подумала, что предсмертная записка мужа сможет как-то помочь.

Она вытащила из кармана клочок бумаги.

"эдит. я не собираюсь жаловаться, у меня была хорошая жизнь. я обрел богатство и счастье как учитель, продавец знаний. но я нахожусь в безнадежной депрессии... и поэтому сам выбираю время и способ смерти. я плохо с тобой обходился, потребовал, чтобы ты перекрасилась из брюнетки в блондинку, думал, что смогу купить тебя, когда должен был завоевать твою любовь. я называл тебя ведьмой. я бы пожаловался: где же та женщина, на которой я женился? я сказал, что ты слишком много ешь. если бы я хотел перемен, то мог бы использовать пряник, а не кнут. ты, наверное, хотела свернуть мне шею. прости меня. прощай".

— Все это написано маленькими буквами. А муж был помешан на правильной грамматике. Не верю, что это просто так.

— Миссис Нетлстон, думаю, что смогу вам помочь. В письме есть несколько странностей. Во-первых, как вы говорите, оно полностью написано маленькими буквами. Мистер Нетлстон был всемирно известным специалистом, а не подростком, который строчит СМС-ки лучшим друзьям.

— Во-вторых, он использует массу омофонов — слов, которые звучат одинаково, но имеют разное написание и значение. Когда имеешь дело со специалистом по лексической семантике, возникает мысль, что это не случайно.

— Если мы прочитаем их по порядку, то получится: жаловаться, продавец, час, манера. Омофоны этих слов составляют фразу: винный погреб нашей усадьбы¹.

¹ Англ. *whine, seller, hour, manner* – *wine cellar our manor*.

Через несколько часов мы прибыли в загородный дом Нетлстонов и сразу же направились в подвал. Щелчок выключателя — и нашему взгляду открылись туннели, заполненные рядами темных бутылок.

— Но где же он? Чтобы обыскать всё, уйдут годы.

— Подождите, миссис Нетлстон. Сначала я должен спросить кое о чём: сколько весит бриллиант в вашем обручальном кольце?

— Восемь карат. Эдгар без умолку об этом твердил.

— Этого я и боялся, — я вытащил свой верный револьвер. — Как вы, должно быть, ненавидели мужа и его лексическую семантику! Вы заставили его написать предсмертную записку, а затем убили, чтобы самой получить весь гонорар. Но Эдгар что-то подозревал и поэтому спрятал свой труд. И что ещё интересней: во второй части записки говорится не о местонахождении, а об убийце. Финальные омофоны: перекрасилась, купить, завоевать, ведьмой, где же, ешь, пряник, свернуть. То есть: убит той, кто носит кольцо в восемь карат¹.

Когда полицейские увели миссис Нетлстон, я быстро обошёл подземные закоулки и без долгих поисков нашел то, что искал. Почти все бутылки вина уже были распакованы и лежали на стеллажах, но в одном углу, один на другом, стояли два ящика разного размера. Я осторожно открыл нижний, маленький².

Перевод Константина Смирнова (ksmith.russia@gmail.com), студента специальности «перевод: английский язык» факультета иностранных языков ДонНУ. Перевод был выполнен для конкурса «Littera Scripta» (2020).

¹ Англ. *dyed, buy, won, witch, where's, ate, carrot, wring* – *died by one which wears eight carat ring*.

² Автор использует игру слов и смыслов, основываясь на трёх значениях выражения *lower case* – маленькие (строчные) буквы, нижний ящик и худший вариант/неблагополучный сценарий (речь об убийстве героя). — *Прим. пер.*

Jean Portante. Un Monde Immonde, Le Jeudi, Luxembourg

Il y a une guerre sourde, sournoise, implacable, dont personne ne parle. Elle ne fait pas la une des journaux. Elle n'apparaît ni sur le petit ni sur les grands écrans. Elle se propage au galop et sème ses ravages. Elle participe de la dérive. C'est la guerre des mots. Ou, plus précisément, la guerre contre le mot.

En apparence, nous nous parlons encore. Nous y mettons encore toutes les formes. Nous tentons encore de ne pas trop malmenager la syntaxe ni le lexique. Les phrases qui apparaissent devant nous ont l'air d'être bien faites encore. Rien n'en trahit l'usure. Mais en réalité, dans le centre même de la parole, un travail de sape systématique creuse un tunnel sous le sens. Il y a un effacement de sens. Il y a, surtout, un évider. Il y a, comme le dirait Bernard Noël, "sensure".

Voilà l'enjeu de la guerre contre le mot. Petit à petit, sans que personne ne crie gare, sans qu'il n'y ait de déclaration ouverte, sans qu'on ne l'étale au grand jour, la machine à évider les mots grignote le sens de la parole. On la retrouve à l'œuvre partout, cette machine.

Un mot magique, essentiel pour la vie en commun, a été détourné pour l'occasion. Le mot communication. Il y a en lui ce que l'humain a de plus précieux : l'échange avec l'Autre. Donc le respect de l'Autre, la connaissance de l'Autre, bref, la vie en commun. Dans la bouche des politiques, des argentiers et de tous ceux qui participent à l'effacement du sens cependant, la communication n'est même plus l'ombre d'elle-même. Communiquer signifie soudain faire acheter dans un emballage attrayant ce que jamais nous n'achèterions.

La communication nous vend ce que nous ne voulons pas acheter. Les vendeurs s'évertuent à qui mieux mieux pour faire passer vers le grand nombre des idées et des propositions dont le grand nombre ne voit pas l'intérêt, puisque ces idées et ces propositions ne sont pas au service du grand nombre.

Ce sont des vendeurs d'emballages vides. Ils fonctionnent par slogans. Ils vendent du toc. Ils parlent par formules préfabriquées. Ils appauvrissent le mot. La langue. Et non contents de briser la chaîne communicative, ils s'adonnent à leur jeu favori, le plus dangereux parmi tous, qui est celui du formatage des cerveaux.

Il est sans doute là, l'enjeu central de la guerre qui sévit. Dans le formatage du cerveau. Les mots, ne l'oublions pas, sont de la pensée qui descend dans la bouche. Mais le chemin n'est pas à sens unique. Les mots descendent du cerveau et remontent sans cesse vers lui. Les évider de leur sens fait monter du vide vers le cerveau. Du slogan. Qui, à la longue, dans l'incessant va-et-vient entre le penser et le parler, installe durablement l'usure du sens dans l'esprit.

C'est là que gît le levier magnifique du mot poétique. La poésie, l'écriture littéraire en général, celle qui sans cesse réinvente les mots, celle qui sans cesse les sauve de l'effacement, est une arme nécessairement efficace contre les vendeurs de sens. Une arme clandestine. Le poète, l'écrivain, travaillent dans la clandestinité. Leur outil, ce sont les mots. Les mots mis en relation entre eux, pour se rencontrer pour la première fois, pour créer sans cesse des images inédites. Des mots qui se

moquent du temps et du lieu et disent l'irremplaçable odyssee de l'humain. Des mots qui placent chacun d'entre nous au centre de la vie en commun. Des mots qu'on ne peut ni acheter ni vendre.

Le mot poétique— l'art tout entier — dérègle la machine à formater les cerveaux. Il en est le résistant principal. Il est du côté du sens.

Жан Портант. Полный мир (газета «Jeudi»¹, Люксембург)

Идет скрытая война, невидимая и беспощадная, о которой никто не говорит. О ней не пишут на первых полосах газет. Ее не показывают ни в кино, ни по телевизору. Она стремительно набирает обороты и сеет разрушения. Суть ее в том, чтобы направить по ложному пути. Это война слов. Точнее, война со словом.

На первый взгляд, мы по-прежнему общаемся между собой. Мы все еще используем все грамматические формы. Стараемся не коверкать слова и синтаксические конструкции. Предложения тоже выглядят вполне связными. Ничто не выдает в них изъяна. Но в действительности, в недрах нашей речи идет систематическая подрывная работа, ведется подкоп под смысл. Смысл разрушается. Он попросту вынимается. Происходит, по выражению Бернара Ноэля, «изъятие смысла»².

В этом и состоит главная цель войны со словом. Мало-помалу, так, чтобы никто не забил тревогу, без громких фраз и не привлекая общественного внимания, машина по выемке смысла из слов постепенно уничтожает само содержание нашей речи. На каждом шагу мы видим эту машину за работой.

Так, например, извратили чудесное слово, составляющее основу коллективного существования. Это слово — коммуникация. В нем заключено самое дорогое, что есть у людей: обмен информацией, со-общение с Другим. А значит, уважение к Другому, познание Другого, попросту говоря, основу человеческого сосуществования. Однако в устах политиков, финансовых воротил и всех тех, кто участвует в разрушении смыслов, подлинное значение этого слова исказилось до неузнаваемости. Коммуникация вдруг стала означать способность навязать в привлекательной упаковке то, что иначе мы бы никогда не купили.

Пиар-коммуникация продает нам то, что мы не хотим покупать. Продавцы лезут из кожи вон, наперебой старясь внушить большинству идеи и образ действий, которые ему не интересны, так как они совершенно бесполезны этому большинству.

¹ Еженедельная люксембургская газета для иностранцев, выходящая по четвергам (фр. «jeudi» — четверг). — *Прим. пер.*

² «La sensure» — понятие, предложенное французским писателем Бернаром Ноэлем для обозначения изъятия смысла, по аналогии с созвучным ему понятием «la censure», означающим, в том числе, изъятие из текста неугодных фрагментов, изъятие из обращения печатной продукции, звуко- и видеозаписей и т.п. — *Прим. пер.*

Это продавцы пустых упаковок. Они генерируют рекламные слоганы. Они торгуют подделками. Они разговаривают готовыми фразами. Они обедняют слово. Обедняют язык. Разрывают коммуникативные связи. И, не довольствуясь этим, они с наслаждением предаются своей любимой игре, самой опасной из всех игр — форматированию сознания масс.

Форматирование сознания — вот, без сомнения, главная цель этой ожесточенной войны. Не будем забывать, что слова — это мысль, которая спускается к языку и обретает звучание в нашей речи. Но это дорога с двусторонним движением. Слова без конца снуют по ней туда и обратно. Если вынуть из них смысл, они принесут с собой в мозг пустоту. Рекламный слоган. Со временем, в условиях постоянного круговорота слов между мыслью и речью, это непременно приведет к эрозии смысла в сознании.

В том-то и кроется удивительная сила поэтического слова. Поэзия, ... вообще, всякая литература, которая вновь и вновь изобретает слова, которая вновь и вновь спасает их от гибели, — это единственное по-настоящему эффективное оружие против похитителей смысла. Тайное оружие. Поэты и писатели работают в подполье. Их инструмент — слова. Слова, расставленные в такой последовательности, чтобы всякий раз возникали новые сочетания, непрестанно рождались неведомые ранее образы. Слова, которые независимо от времени и места, повествуют о единственной в своем роде многовековой одиссее человечества. Слова, которые каждого из нас делают ключевой фигурой человеческого сообщества. Слова, которые нельзя ни купить, ни продать.

Поэтическое слово — искусство как таковое — выводит из строя механизм форматирования сознания. В этой войне оно — главный боец сопротивления. Оно — на стороне смысла.

Перевод Анны Поповой, доцента кафедры зарубежной литературы Донецкого национального университета. Перевод вошел в «короткий список» международного конкурса художественного перевода INALCO RUSSE OPEN (2018).

Verdandy Isenstein. Dreimal

Dreimal... Wenn Viktoria nur bis drei hätte zählen können... Sie kannte nur eins, zwei und viele. Natürlich wusste sie auch, dass zwei ein Paar sein konnte, ein paar aber nicht für die Zahl zwei stehen musste. < >

Viktoria konnte nicht wissen, dass jemand bei ihrer Mutter gewesen war, während sie ins Dorf ging Sie konnte auch nicht wissen, dass dieser jemand ihrer Mutter mitgeteilt hatte, dass Viktorias Vater endlich gefunden wurde. Man hatte ihn erschossen im Wald gefunden, er hatte auf einem Pfad gelegen, auf dem Soldaten im Gleichschritt gegangen waren. Man wurde einen Boten schicken um das Dorf zu evakuieren, aber man habe keine Zeit mehr Elisabeth ins Dorf zu transportieren bevor der Spähtrupp das Dorf erreicht habe. Vielleicht hätten sie und ihre Tochter Glück und man marschiere an ihrem Häuschen vorbei. Viktoria

konnte auch nicht wissen, dass ihre Mutter ihr deshalb dieses Bis-drei-zählen-Versprechen abnahm, als sie mit der winzigen Lebensmittelration wieder das Forsthaus betrat.

Viktoria konnte nicht wissen, dass jemand bei ihrer Mutter gewesen war, während sie ins Dorf ging. Sie konnte auch nicht wissen, dass dieser jemand ihrer Mutter mitgeteilt hatte, dass Viktorias Vater endlich gefunden wurde. Man hatte ihn erschossen im Wald gefunden, er hatte auf einem Pfad gelegen, auf dem Soldaten im Gleichschritt gegangen waren. Man würde einen Boten schicken um das Dorf zu evakuieren, aber man habe keine Zeit mehr Elisabeth ins Dorf zu transportieren bevor der Spähtrupp das Dorf erreicht habe. Vielleicht hätten sie und ihre Tochter Glück und man marschiere an ihrem Häuschen vorbei. Viktoria konnte auch nicht wissen, dass ihre Mutter ihr deshalb dieses Bis-drei-zählen-Versprechen abnahm, als sie mit der winzigen Lebensmittelration wieder das Forsthaus betrat.

In der Nacht dann klopfte es. Eins, Zwei, noch mal, noch mal. Viktoria hatte es gehört. War das Dreimal? Sie wusste es nicht. „Es ist Vater. Er hat überlebt, er hat nach Haus gefunden. Es waren dreimal. Ich muss öffnen. Und wenn es nicht dreimal waren?“ Die Euphorie siegte über die Vorsicht. Viktoria öffnete die Tür. Sie war nicht leise, sie versteckte sich nicht. Und es hatte nicht dreimal geklopft. Aber das konnte sie nicht wissen. Dann ging es schnell, das Haus wurde gestürmt, überall Soldaten, ausländische Stimmen, Hektik, Wirwarr, ein Schuss. Einer der Soldaten blickte ihr in die Augen. Er hob die Waffe, sah sie weiter an, dann senkte er sie wieder und rief den anderen etwas zu, das Viktoria nicht verstand. Zwei Tage blieben die Soldaten in der Forsthütte, bis sie sich auf den Weg zum Dorf machten. Viktoria ließen sie zurück.

Ферданди Изенштайн. Три раза

Три раза... Если бы Виктория умела считать хотя бы до трех! Но она знала только, что такое один, два и много. Конечно, ей было известно, что два иначе называется пара, но пару не подставишь вместо числа.

Откуда было Виктории знать, что ее мать ходила в деревню не одна, а с кем-то. Что этот кто-то рассказал матери: отца Виктории наконец-то нашли. Его нашли застреленным в лесу, он лежал на тропе, по которой строевым шагом шли солдаты. Послать бы вестника, чтобы крестьяне успели спастись, — но отправить Елизавету в деревню до того, как туда проник разведывательный отряд, времени уже не хватило. Может, ей бы с дочерью повезло, и солдаты в марше обошли бы их домик стороной. Откуда было Виктории знать, что мать взяла с нее обещание научиться считать до трех, потому что они с крохотным запасом еды уже дошли до лесной сторожки.

Ночью раздался стук. Раз, два, еще и еще раз. Виктория услышала. Что такое три раза? Она не знала. «Это отец. Он выжил, он нашел дорогу домой. Стучали три раза. Надо открыть. А вдруг не три?» Но радостное волнение

оказалось сильнее чувства опасности, и Виктория отворила дверь. Она не осторожничала, не пряталась. И стучали не три раза. Но откуда ей было знать? Все случилось очень быстро, сторожку взяли приступом, повсюду солдаты, иностранные голоса, суета и неразбериха, раздался выстрел. Один из солдат посмотрел ей в глаза. Он вскинул ружье, не отрывая от нее взгляда, потом опустил взгляд и крикнул другому что-то, чего Виктория не разобрала. Двое суток солдаты оставались в сторожке, пока не вышли на дорогу к деревне. Викторию они оставили там.

Перевод Веры Матвиенко, ученицы 11-го класса специализированной физико-математической школы № 17, Донецк.

В ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ



Из переводов Ольги Комаровой

Ольга Комарова окончила Воронежскую государственную лесотехническую академию и Воронежский государственный университет (факультет романо-германской филологии). Научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института лесной генетики, селекции и биотехнологии. Переводит с английского, итальянского, испанского. Многократная победительница конкурса им. Э. Л. Линецкой (olya34@mail.ru).

Ernest Hemingway. Pursuit as Happiness

That year we had planned to fish for marlin off the Cuban coast for a month. The month started the tenth of April and by the tenth of May we had twenty-five marlin and the charter was over. The thing to have done then would have been to buy some presents to take back to Key West and fill the Anita with just a little more expensive Cuban gas than was necessary to run across, get cleared, and go home. But the big fish had not started to run.

“Do you want to try her another month, Cap?” Mr. Josie asked. He owned the Anita and was chartering her for ten dollars a day. The standard charter price then was thirty-five a day. “If you want to stay, I can cut her to nine dollars.”

“Where would we get the nine dollars?”

“You pay me when you get it. You got good credit with the Standard Oil Company at Belot across the bay, and when we get the bill I can pay them from last month’s charter money. If we get bad weather, you can write something.”

“All right,” I said, and we fished another month. We had forty-two marlin by then and still the big ones had not come. There was a dark, heavy stream close in to the Morro—sometimes there would be acres of bait—and there were flying fish going out from under the bows and birds working all the time. But we had not raised one of the huge marlin, although we were catching, or losing, white marlin each day and on one day I caught five.

We were very popular along the waterfront because we butchered all our fish and gave them away, and when we came in past the Morro Castle and up the channel toward the San Francisco piers with a marlin flag up we could see the crowd starting to run for the docks. The fish was worth from eight to twelve cents a pound that year to a fisherman and twice that in the market. The day we came in with five flags, the police had to charge the crowd with clubs. It was ugly and bad. But that was an ugly and bad year ashore.

“The goddam police running off our regular clients and getting all the fish,” Mr. Josie said. “To hell with you,” he told a policeman who was reaching down for a ten-pound piece of marlin. “I never saw your ugly face before. What’s your name?”

The policeman gave him his name.

“Is he in the compromiso book, Cap?”

“Nope.”

The compromiso book was where we wrote down the names of the people to whom we had promised fish.

“Write him down in the compromiso book for next week for a small piece, Cap,” Mr. Josie said. “Now, policeman, you go the hell away from here and club somebody who isn’t a friend of ours. I seen enough damn police in my life. Go on. Take the club and the pistol both and get off the dock unless you’re a dock police.”

Finally, the fish was all butchered and apportioned out according to the book and the book was full of promises for next week.

“You go on up to the Ambos Mundos and get washed up, Cap. Take a shower and I’ll meet you there. Then we can go to the Floridita and talk things over. That policeman got on my nerves.”

“You come on up and take a shower, too.”

“No. I can clean up good here. I didn’t sweat like you did today.”

So I walked up the cobbled street that was a shortcut to the Ambos Mundos Hotel and checked if I had any mail at the desk and then rode up in the elevator to the top floor. My room was on the northeast corner and the trade wind blew through the windows and made it cool. I looked out the window at the roofs of the old part of town and across at the harbor and watched the Orizaba go out slowly down the harbor with all her lights on. I was tired from working so many fish and I felt like going to bed. But I knew that if I lay down I might go to sleep, so I sat on the bed and looked out the window and watched the bats hunting and then, finally, I undressed and took a shower and got into some fresh clothes and went downstairs. Mr. Josie was waiting in the doorway of the hotel.

“You must be tired, Ernest,” he said.

“No,” I lied.

“I’m tired,” he said. “Just from watching you pull on fish. That’s only two under our all-time record. Seven and the eye of an eighth.” Neither Mr. Josie nor I liked to think of the eye of the eighth fish, but we always stated the record in this way.

We were walking up the narrow sidewalk on Obispo Street and Mr. Josie was looking at all the lighted windows of the shops. He never bought anything until it was time to go home. But he liked to look at everything there was for sale. We passed the last two stores and the lottery-ticket office and pushed open the swinging door of the old Floridita.

“You better sit down, Cap,” Mr. Josie said.

“No. I feel better standing up at the bar.”

“Beer,” said Mr. Josie. “German beer. What you drinking, Cap?”

“Frozen daiquiri without sugar.”

Constante made the daiquiri and left enough in the shaker for two more. I was waiting for Mr. Josie to bring up the subject. He brought it up as soon as his beer came.

“Carlos says they’ve got to come in this next month,” he said. Carlos was our Cuban mate and a great commercial marlin fisherman. “He says he never saw such a current and when they come they’ll be something like we never seen. He says they’ve got to come.”

“He told me, too.”

“If you want to try another month, Cap, I can make her eight dollars a day and I can cook, instead of us wasting money on sandwiches. We can run into the cove for lunch and I’ll cook in there. We’re getting those wavy-striped bonito all the time. They’re as good as little tuna. Carlos says he can pick us up stuff cheap in the market when he goes for bait. Then we can eat supper nights in the Perla of San Francisco restaurant. I ate there good last night for thirty-five cents.”

“I didn’t eat last night and saved money.”

“You got to eat, Cap. That’s maybe why you’re a little tired today.”

“I know it. But are you sure you want to try another month?”

“She don’t have to be hauled out for another month. Why should we leave it when the big ones are coming?”

“You have anything you’d rather do?”

“No. You?”

“Do you think they’ll really come?”

“Carlos says they’ve got to come.”

“Then suppose we hook one and we can’t handle him on this tackle we have.”

“We’ve got to handle him. You can stay with him forever if you eat good. And we’re going to eat good. Then I’ve been thinking about something else.”

“What?”

“If you go to bed early and don’t have any social life, you can wake up at daylight and start to write and you can get a day’s work done by eight o’clock. Carlos and I’ll have everything ready to go and you just step on board.”

“O.K.,” I said. “No social life.”

“That social life is what wears you out, Cap. But I don’t mean none at all. Just take it on Saturday nights.”

“Fine,” I said. “Social life on Saturday nights only. Now, what would you suggest I write?”

“That’s up to you, Cap. I don’t want to interfere with that. You always did good when you worked.”

“What would you like to read?”

“Why don’t you write good short stories about Europe or out West or when you were on the bum or war or that sort of thing? Why don’t you write one about just things that you and I know? Write one about what the Anita’s seen. You could put in enough social life to make it appeal to everybody.”

“I’m laying off social life.”

“Sure, Cap. But you got plenty to remember. Laying off won’t harm you now.”

“No,” I said. “Thank you very much, Mr. Josie. I’ll start working in the morning.”

“What I think we ought to do before we start on the new system is for you to eat a big rare steak tonight so you’ll be strong tomorrow and wake up wanting to work and fit to fish. Carlos says the big ones can come any day now. Cap, you got to be at your best for them.”

“Do you think one more of these would do me any harm?”

“Hell no, Cap. All they got in them is rum and a little lime juice and maraschino. That isn’t going to hurt a man.”

Just then two girls we knew came into the bar. They were very nice-looking girls and they were fresh for the evening.

“The fishermen,” one said in Spanish.

“The two big healthy fishermen in from the sea,” the other girl said.

“N.S.L.,” Mr. Josie said to me.

“No social life,” I confirmed.

“You have secrets?” one of the girls asked. She was an awfully nice-looking girl and in her profile you could not see the slight imperfection where some early friend’s right hand had marred the purity of the line of her rather beautiful nose.

“The Cap and I are talking business,” Mr. Josie said to the two girls, and they went down to the far end of the bar. “You see how easy it is?” Mr. Josie asked. “I’ll handle the social end and all you have to do is get up in the mornings early and write and be in shape to fish. Big fish. The kind that can run over a thousand pounds.”

“Why don’t we trade,” I said. “I’ll handle the social end and you get up early in the mornings and write and keep yourself in shape to fish big fish that can run over a thousand pounds.”

“I’d be glad to, Cap,” Mr. Josie said seriously. “But you’re the one of us two that can write. And you’re younger than me and better suited to handle the fish. I’m putting in the boat at just what I figure is the depreciation on the engine, running her the way I do.”

“I know it,” I said. “I’ll try to write well, too.”

“I want to keep proud of you,” Mr. Josie said. “And I want us to catch the biggest goddam marlin that ever swam in the ocean and weigh him honest and cut him up and give him away to the poor people we know and not one piece to any damn clubbing police in the country.”

“We’ll do it.”

Just then one of the girls waved to us from the far end of the bar. It was a slow night and there was no one but us in the place.

“N.S.L.,” Mr. Josie said.

“N.S.L.,” I repeated ritually.

“Constante,” Mr. Josie said. “Ernesto here wants a waiter. We’re going to order a couple of big rare steaks.”

Constante smiled and raised his finger for a waiter.

As we passed the girls to go into the dining room, one of them put out her hand and I shook it and whispered solemnly in Spanish, "N.S.L."

"My God," the other girl said. "They're in politics and in a year like this." They were impressed and a little frightened.

In the morning, when the first daylight from across the bay woke me I got up and started to write a short story that I hoped Mr. Josie would like. It had the Anita in it and the waterfront and the things we knew that had happened and I tried to get into it the feeling of the sea and the things we saw and smelled and heard and felt each day. I worked on the story every morning and we fished each day and caught good fish. I trained hard and found all the fish while standing, instead of sitting in a chair. And still the big fish had not come.

One day we saw one towing a commercial fisherman's dinghy, with the dinghy down by the bows and the marlin making splashes as a speedboat would each time he jumped. That one broke off. Another day, in a rain squall, we saw four men trying to hoist one, wide and deep and dark purple, into a skiff. That marlin dressed out five hundred pounds and I saw the huge steaks cut from him on the marble slab in the old market.

Then, on a sunny day, with a heavy dark stream, the water so clear and in so close that you could see the shoals in the mouth of the harbor ten fathoms deep, we hit our first big fish just outside the Morro. In those days there were no outriggers and no rod holders and I was just letting out a light rig, hoping to pick up a kingfish in the channel, when this fish hit. He came out in a surge and his bill looked like a sawed-off billiard cue. Behind it his head showed huge and he looked as wide as a dinghy. Then he passed us in a rush, with the line cutting parallel to the boat and the reel emptying so fast that it was hot to the touch. There were four hundred yards of fifteen-thread line on the reel and half of it was gone by the time I got into the bow of the Anita.

I got there by holding on to handholds we had built into the top of the house. We had practiced this run and the scramble over the forward deck to where you could brace against the stem of the boat with your feet. But we had never practiced it with a fish that passed you like a subway express when you are at a local station, and with one arm holding the rod, which was bucking and digging into the butt rest, and the other hand and both bare feet braking on the deck as the fish hauled you forward.

"Hook her up, Josie!" I yelled. "He's taking all of it."

"She's hooked up, Cap. There he goes."

By now I had one foot braced against the stem of the Anita and the other leg against the starboard anchor. Carlos was holding me around the waist and ahead of us the fish was jumping. He looked as big around as a wine barrel when he jumped. He was silver in the bright sun and I could see the broad purple stripes down his sides. Each time he jumped he made a splash like a horse falling off a cliff and he jumped and jumped and jumped. The reel was too hot to hold and the core of line on it was getting thinner and thinner in spite of the Anita going full speed after the fish.

"Can you get any more out of her?" I called to Mr. Josie.

"Not in this world," he said. "What you got left?"

"Damn little."

"He's big," Carlos said. "He's the biggest marlin I've ever seen. If he'll only stop. If he'll only go down. Then we'll run up on him and get line."

The fish made his first run from just off the Morro Castle to opposite the National Hotel. That is about the way we went. Then, with less than twenty yards of line on the reel, he stopped and we ran up on him, recovering line all the time. I remember that there was a Grace Line ship ahead of us with the black pilot boat going out to her and I was worried that we might be on her course as she came in. Then I remember watching her while I reeled and then working my way back to the stern and watching the ship pick up her speed. She was coming in well outside of us and the pilot boat would not foul us, either.

Now I was in the chair and the fish was straight up and down and we had a third of the line on the reel. Carlos had poured seawater on the reel to cool it and he poured a bucket of water over my head and shoulders.

"How are you doing, Cap?" Mr. Josie asked.

"O.K."

"You didn't hurt yourself up in the bow?"

"No."

"Did you ever think there was a fish like that?"

"No."

"Grande. Grande," Carlos kept saying. He was trembling like a bird dog, a good bird dog. "I've never seen such a fish. Never. Never. Never."

We did not see him again for an hour and twenty minutes. The current was very strong and it had carried us down to opposite Cojímar, which was about six miles from where the fish first sounded. I was tired but my hands and feet were in good shape and I was getting line on him now quite steadily, being careful never to pull harshly or to jerk. I could move him now. It wasn't easy. But it was possible if you kept the line just this side of the breaking point.

"He's going to come up," Carlos said. "Sometimes the great ones do that and you can gaff them while they are still innocent."

"Why does he come up now?" I asked.

"He's puzzled," Carlos said. "And you're leading him. He doesn't know what it is about."

"Don't ever let him find out," I said.

"He'll weigh over nine hundred dressed out," Carlos said.

Gregor Samsa from Kafka's *Metamorphosis* wakes up. Caption reads 'As Gregor Samsa awoke at 343 PM from a nap he found...

Cartoon by Jason Adam Katzenstein

"Keep your mouth off of him," Mr. Josie said. "You don't want to work him any different, Cap?"

"No."

When we saw him we knew how really big he was. You couldn't say it was frightening. But it was awesome. We saw him slow and quiet and almost unmoving in the water with his great pectoral fins like two long purple scythe blades. Then he saw the boat and the line started to race off the reel as though we were hooked to a motorcar, and he started jumping out to the northwest with the water pouring from him at each jump.

I had to go into the bow again and we chased him until he sounded. This time he went down almost opposite the Morro. Then I worked my way back to the stern again.

"Do you want a drink, Cap?" Mr. Josie asked.

"No," I said. "Get Carlos to put some oil in the reel and not spill it and put some more salt water on me."

"Can't I get you anything really, Cap?"

"Two hands and a new back," I said. "The son of a bitch is as fresh as he was at the start."

The next time we saw him was an hour and a half later, well past Cojímar, and he jumped and ran again and I had to go into the bow while we chased him.

When I got back to the stern and could sit down again, Mr. Josie said, "How is he, Cap?"

"He's just the same as always. But the temper is starting to go out of the rod."

The rod was bent like a full-drawn bow. But now, when I lifted, it did not straighten as it should.

"She's still got some left," Mr. Josie said. "You can stick with him forever, Cap. You want some more water on your head?"

"Not yet," I said. "I'm worried about the rod. His weight has just taken the temper out."

An hour later the fish was coming in steadily and well and he was making big slow circles.

"He's tired," Carlos said. "He's going to come in easy now. The jumping has filled up his air sacs and he can't go deep."

"The rod's gone," I said. "She won't straighten at all now."

It was true. The rod's tip now touched the surface of the water and when you lifted to raise the fish and to reel to take up line the rod did not react. It was not a rod anymore. It was like a projection of the line. It was still possible to gain a few inches of line each time you lifted. But that was all.

The fish was moving in slow circles and as he moved on the outgoing half of the circle he took line off the reel. On the incoming circle you gained it back. But with the temper gone out of the rod you could not punish him and you had no command over him at all.

"It's bad, Cap," I said to Mr. Josie. We called each other Cap interchangeably. "If he decided to go down now to die we'd never get him up."

"Carlos says he's coming up. He says he caught so much air jumping he can't go deep and die. He says that this is the way the big ones always act at the

end when they've jumped a lot. I counted him jumping thirty-six times and maybe I missed some."

This was one of the longest speeches I had ever heard Mr. Josie make and I was impressed. Just then the big fish started down and down and down. I was braking with both hands on the drum of the reel and keeping the line almost at breaking point and feeling the metal of the reel drum revolve in slow jerks under my fingers.

"How's the time?" I asked Mr. Josie.

"You've been with him three hours and fifty minutes."

"I thought you said he couldn't go down and die," I said to Carlos.

"Hemingway, he has to come up. I know he has to come up."

"Tell him so," I said.

"Get him some water, Carlos," Mr. Josie said. "Don't talk, Cap."

The ice water felt good and I spat it out onto my wrists and told Carlos to pour the rest of the glass on the back of my neck. Sweat salted the places on my shoulders where the harness had rubbed them bare but it was so hot in the sun that there was no warm feeling from the blood. It was a July day and the sun was at noon.

"Put some more salt water on his head," Mr. Josie said. "With a sponge."

Just then the fish stopped taking out line. He hung steady for a time, feeling as solid as though I were hooked to a concrete pier, and then slowly he started up. I recovered the line, reeling with the wrist alone, as there was no spring in the rod at all and it was as limp as a weeping willow.

When the fish was about a fathom under the surface, so that we could see him looking like a long purple-striped canoe with two great jutting wings, he started to circle slowly. I held all the tension I could on him, to try to shorten the circle. I was holding up to that absolute hardness that indicates the breaking strength of the line when the rod let go. It did not break sharply or suddenly. It just collapsed.

"Cut thirty fathoms of line off the big rig," I said to Carlos. "I'll hold him on the circles and when he's coming in we can get enough line to make this line fast to the big line and I'll change rods."

There was no question anymore of catching the fish as a world's record or any other sort of record, since the rod was broken. But he was a whipped fish now and on the heavy gear we should get him. The only problem was that the big rod was too stiff for the fifteen-thread line. That was my problem and I would have to work it out.

Carlos was stripping white thirty-six-thread line off the big Hardy reel, measuring it with his arms extended as he pulled it out through the guides of the rod and dropped it on the deck. I held the fish all that I could with the useless rod and saw Carlos cut the white line and pull a long length of it through the guides.

"All right, Cap," I said to Mr. Josie. "You take this line now when he comes in on his circle and take in enough so Carlos can make the two lines fast. Just take it in soft and easy."

The fish came in steadily as he rounded on his circle and Mr. Josie brought the line in foot by foot and passed it to Carlos, who was knotting it to the white line.

“He’s got them tied,” Mr. Josie said. He still had about a yard of the green fifteen-thread line to spare and was holding the live line in his fingers as the fish came to the inside limit of his circle. I broke my hands loose from the small rod, laid it down, and took the big rod that Carlos handed me.

“Cut away when you are ready,” I said to Carlos. To Mr. Josie I said, “Let your slack out soft and easy, Cap, and I’ll use a light, light drag until we get the feel of it.”

I was watching the green line and the great fish when Carlos cut. Then I heard a cry such as I have never heard a sane human being make. It was as though you could distill all despair and make it into a sound. Then I saw the green line slowly going through Mr. Josie’s fingers and then watched it go on down, down, and out of sight. Carlos had cut the wrong loop of the knots he had made. The fish was out of sight.

“Cap,” Mr. Josie said. He did not look very well. Then he looked at his watch. “Four hours and twenty-two minutes,” he said.

I went down to see Carlos. He had been vomiting in the head and I told him not to feel bad, that it could happen to anyone. His brown face was all tied up and he was talking in a low strange voice so I could hardly hear him.

“All my life fishing and I never saw such a fish and I did that. I’ve ruined your life and my life.”

“Hell,” I told him. “You mustn’t talk nonsense like that. We’ll catch plenty of bigger fish.” But we never did.

Mr. Josie and I sat in the stern and let the Anita drift. It was a lovely day on the Gulf, with only a light breeze, and we looked at the shoreline with the small mountains showing behind it. Mr. Josie was putting Mercurochrome on my shoulders and on my hands, where they had stuck to the rod, and on the soles of my bare feet, where the skin was chafed through. Then he mixed two whiskey sours.

“How’s Carlos?” I asked.

“He’s pretty broke up. He’s just crouching down there.”

“I told him not to blame himself.”

“Sure. But he’s down there blaming himself.”

“How do you like the big ones now?” I asked.

“It’s all I ever want to do,” Mr. Josie said.

“Did I handle her all right for you, Cap?”

“Hell yes.”

“No. Tell me true.”

“The charter’s supposed to be up today. Now I’ll fish for nothing, if you want.”

“No.”

“I’d rather it was that way. Do you remember him going up toward the National Hotel like nothing in the world?”

“I remember everything about him.”

“Have you been writing good, Cap? It isn’t too hard doing it in the early mornings?”

“I’ve been writing as good as I can.”

“You keep it up and everybody is all right for always.”

“I may lay off it tomorrow morning.”

“Why?”

“My back’s bad.”

“Your head’s all right, isn’t it? You don’t write with your back.”

“My hands will be sore.”

“Hell, you can hold a pencil. You’ll find in the morning you’ll probably feel like it.”

Strangely enough I did and I worked well and we were out of the harbor at eight o’clock and it was another perfect day, with just a light breeze and the current close to the Morro Castle, as it had been the day before. On that day we didn’t put out any light rig when we hit the clear water. We had done that once too often. I slacked out a big cero mackerel, which weighed about four pounds, from the one really big outfit we had. It was the heavy Hardy rod and the reel with the white thirty-six-thread line. Carlos had spliced back on the thirty fathoms of line he had taken off the day before and the five-inch reel was full. The only trouble was that the rod was too stiff. In big-game fishing a rod that is too stiff kills the angler, while a rod that bends properly kills the fish.

Carlos spoke only when spoken to and he was still in his sorrow. I could not afford my sorrow because I ached too much and Mr. Josie was never much of a man for sorrow.

“All he’s been doing all morning is shaking his goddam head,” he said. “He’s not going to bring any fish back that way.”

“How do you feel, Cap?” I asked.

“I feel good,” Mr. Josie said. “I went uptown last night and sat and listened to that all-girl orchestra on the square and drank a few bottles of beer and then I went to Donovan’s. There was hell in there.”

“What kind of hell?”

“No-good hell. Bad. Cap, I’m glad you weren’t along.”

“Tell me about it,” I said, holding the rod well out to the side and high so that the big mackerel skipped at the edge of the wake. Carlos had turned the Anita to follow the edge of the stream along past the fortress of Cabañas. The white cylinder of the teaser was jumping and darting in the wake and Mr. Josie had settled in his chair and was slacking out another big mackerel bait on his side of the stern.

“In Donovan’s there was a man claimed he was a captain in the secret police. He said he liked my face and he said he’d kill any man in the place for me as a present. I tried to quiet him down. But he said he liked me and he wanted to

kill somebody to prove it. He was one of those special Machado police. Those clubbing police.”

“I know them.”

“I guess you do, Cap. Anyway, I’m glad you weren’t there.”

“What did he do?”

“He kept wanting to kill somebody to show how much he liked me and I kept telling him it wasn’t necessary and to just have a drink and forget about it. So he would quiet down a little and then he would want to kill somebody again.”

“He must have been a nice fellow.”

“Cap, he was worthless. I tried to tell him about the fish so as to take his mind off it. But he said, ‘Shit on your fish. You never had any fish. See?’ So I said, ‘O.K., shit on the fish. Let’s settle for that and you and me both go home.’ ‘Go home hell!’ he says. ‘I’m going to kill somebody for you as a present and shit on the fish. There wasn’t any fish. You got that straight?’ So then I said good night to him, Cap, and I gave my money to Donovan and this policeman knocks it off the bar onto the floor and puts his foot on it. ‘Like hell you’re going home,’ he said. ‘You’re my friend and you’re going to stay here.’ So I said good night to him and I said to Donovan, ‘Donovan, I’m sorry your money’s on the floor.’ I didn’t know what this policeman would try to do and I didn’t care. I was going home. So as soon as I start for home this policeman hauls out his gun and starts to pistol-whip a poor damn Gallego who was in there drinking a beer and who’d never opened his mouth all night. Nobody did anything to the policeman. I didn’t, either. I’m ashamed, Cap.”

“It isn’t going to last much longer now,” I said.

“I know it. Because it can’t. But what I didn’t like the most was that policeman saying he liked my face. What the hell kind of face have I got, Cap, that a policeman like that would say he liked it?”

I liked Mr. Josie’s face very much, too. I liked it more than the face of almost anybody I knew. It had taken me a long time to appreciate it because it was a face that had not been sculptured for a quick or facile success. It had been formed at sea, on the profitable side of bars, playing cards with other gamblers, and by enterprises of great risk conceived and undertaken with cold and exact intelligence. No part of the face was handsome except the eyes, which were a lighter and stranger blue than the Mediterranean is on its brightest and clearest day. The eyes were wonderful and the face certainly not beautiful and now it looked like blistered leather.

“You have a good face, Cap,” I said. “Probably the only good thing about that son of a bitch was that he could see it.”

“Well, I’m going to stay out of joints now until this business is over,” Mr. Josie said. “Sitting there on the square with the all-girl orchestra and that girl who sings, it was fine and wonderful. How do you really feel, Cap?”

“I feel pretty bad,” I said.

“It didn’t hurt you in the gut? I was worried always when you were in the bow.”

“No,” I said. “It’s in the roots of the back.”

“The hands and feet don’t amount to anything and I bandaged up the harness,” Mr. Josie said. “It won’t chafe as bad. Did you really work O.K., Cap?”

VIDEO FROM THE NEW YORKER

Jonathan Van Ness’s Keys to “Gorg” Self-Maintenance

“Sure,” I said. “It’s a hell of a habit to get into and it’s just about as hard to get out.”

“I know a habit is a bad thing,” Mr. Josie said. “And work probably kills more people than any other habit. But with you when you do it then you don’t give a damn about anything else.”

I looked at the shore and we were off a lime kiln, close to the beach where the water was very deep and the Gulf Stream made it almost to shore. There was a little smoke coming up from the kiln and I could see the dust of a truck moving along the rock road on the shore. Some birds were working over a patch of bait. Then I heard Carlos shout, “Marlin! Marlin!”

We all saw him at the same time. He was very dark in the water and, as I watched, his bill came out of the water behind the big mackerel. It was an ugly bill, round and thick and short, and the fish behind it bulked under the surface.

“Let him have it!” Carlos yelled. “He’s got it in his mouth.”

Mr. Josie was reeling his bait in and I was waiting for the tension that would mean that the marlin had really taken the mackerel.

Published in the print edition of the June 8 & 15, 2020, issue.

Эрнест Хемингуэй. Погоня как счастье

В тот год мы собирались месяц рыбачить у берегов Кубы. Мы арендовали лодку десятого апреля и за месяц до десятого мая поймали двадцать пять марлинов. Оставалось купить сувениры для своих, заполнить «Аниту» чуть более дорогим кубинским топливом, чем требовалось, чтобы пересечь Флоридский пролив, уладить таможенные формальности и вернуться домой, в Ки-Уэст. Но большая рыба так и не пошла.

— Не хочешь продлить ещё на месяц, Кэп? — спросил Джози. Он сдавал нам «Аниту» в аренду за десять долларов в день. Обычной ценой тогда считалось тридцать пять долларов в день. — Если останешься, я сброшу цену до девяти долларов.

— И где нам взять эти девять долларов?

— Заплатишь, когда сможешь. Ты же там, в гавани, на хорошем счету? У компании «Стэндрт Ойл» в Белоте. Когда они выставят нам счёт, я могу расплатиться арендными деньгами с прошлого месяца. Если не будет погоды, ты можешь что-нибудь писать.

— Хорошо, — сказал я, и мы остались ещё на месяц. К тому времени наш улов составлял сорок два марлина, а крупной рыбы всё не было. Близ

крепости Морро тёмное течение кишело рыбой — иногда там можно было наловить целые акры живцов — летучая рыба выпрыгивала прямо из-под носа кораблей, птицы сновали без устали. Но пресловутых гигантских марлинов всё не было, хотя белых марлинов мы с переменным успехом ловили каждый день, а однажды мне попало целых пять рыбин.

У местного населения мы пользовались популярностью, потому что разделявали и сбывали всю пойманную рыбу, и когда мы шли с уловом вдоль канала мимо крепости Морро к молам Сан-Франциско, к набережной стекалась толпа. Рыба в тот год стоила от восьми до двенадцати центов за фунт у рыбаков и вдвое больше — на рынке. В тот день, когда мы принесли пять марлинов, полиции пришлось разгонять народ дубинками. Дурная и безобразная сцена. Но в тот год на суше вообще жили дурно и безобразно.

— Чёртова полиция распугала нам всех постоянных клиентов и забирает всю рыбу, — ворчал Джози. — Катись отсюда, — обратился он к полицейскому, потянувшемуся было к десятифунтовому куску марлина. — Я твоей рожи раньше не видел. Ты кто?

Полицейский назвался.

— Он у нас записан, Кэп?

— Нет.

Все заказы наших клиентов мы заносили в специальную книгу.

— Запиши его на следующую неделю, Кэп, — сказал Джози, — на небольшой кусочек. А пока, — обратился он к полицейскому, — катись отсюда со своей дубинкой, колошмать кого-нибудь другого, ты всех наших друзей разогнал. Хватит с меня полиции. Давай-давай. Забирай дубинку, пистолет и вали, нечего тебе на берегу делать, тоже мне, береговая охрана выискалась!

Наконец вся рыба была разделана и роздана, согласно нашему списку, а книга наполнилась заказами на следующую неделю.

— Ступай в «Амбос Мундос», ополоснись, Кэп. Примешь душ, а потом я за тобой зайду. Сходим во «Флоридиту», поболтаем. Этот полицейский меня вывел из себя.

— Тебе тоже не мешало бы принять душ.

— Нет, я и здесь обмоюсь. Я сегодня не потел так, как ты.

И я отправился по мощёной улице короткой дорогой к гостинице «Амбос Мундос». Спросил в вестибюле, не было ли писем, а потом поднялся на лифте на последний этаж. Я жил в северо-восточном углу здания, в прохладной, продуваемой пассатами комнате. Я выглянул в окно, посмотрел на крыши старого города и залив, увидел, как почтовое судно «Орисаба», светя огнями, выходит из гавани. Разделка рыбы вымотала меня, хотелось прилечь, но я знал, что если лягу, то могу уснуть, поэтому сидел на кровати и следил, как ловят добычу летучие мыши. Наконец я разделся, принял душ, переоделся и спустился вниз. Джози уже ждал меня на пороге отеля.

— Ты, наверное, вымотался, Эрнест, — сказал он.

— Нет, — солгал я.

— А я да, — сказал он. — Я даже смотреть устал, как ты ворочаешь этой рыбой. Сегодня всего на две меньше нашего исторического рекорда. Семь рыбин и глаз восьмой.

Ни я, ни Джози не любили вспоминать глаз той восьмой рыбы, но наш рекорд звучал так и никак иначе.

Мы шли по тротуару вверх по улице Обиспо, Джози глазел на огоньки витрин. Он никогда ничего не покупал, пока не поворачивал к дому, но любил смотреть на выставленные товары. Мы прошли последние два магазина и лотерейную лавку и толкнули дверь привычной «Флоридиты».

— Ты присядь, Кэп, — предложил Джози.

— Нет, я лучше постою у стойки.

— Пива, — заказал Джози. — Немецкого. Ты что будешь, Кэп?

— Ледяной дайкири без сахара.

Константе сделал дайкири, в шейкере осталось ещё на две порции. Я ждал, когда заговорит Джози. Он начал, как только принесли пиво.

— Карлос сказал, что рыба пойдёт в следующем месяце, — произнёс он. Карлос был нашим кубинским другом и бывалым ловцом марлина. — Он говорит, что такого течения ещё не видывал и рыба будет как никогда. Сказал, она не может не пойти.

— Он и мне это говорил.

— Надо оставаться ещё на месяц, Кэп. Я сброшу цену до восьми долларов и могу сам готовить, не придётся тратиться на сэндвичи. Мы можем заплывать на обед в бухту, я буду там готовить. Мы же всё время ловим этих полосатых бонито, они ничем не хуже тунца. Карлос говорит, что всё необходимое он может покупать нам на рынке по дешёвке, когда ходит за приманкой. А ужинать можно в ресторане «Перла» в Сан-Франиско. Я там вчера наелся за тридцать пять центов.

— А я вчера не ел, это вовсе бесплатно.

— Есть надо, Кэп. Ты, может, потому и устал так сегодня.

— Знаю. А ты точно хочешь уступить нам «Аниту» ещё на месяц?

— Она у меня следующий месяц свободна. Чего бросать сейчас, когда большая рыба на подходе?

— А других дел у тебя нет?

— Нет. А у тебя?

— Ты правда веришь, что она пойдёт?

— Карлос сказал, не может не пойти.

— А ну как и правда поймает большую, мы с ней справимся? С нашими-то снастями?

— Должны справиться. Ты же её век удерживать можешь, если тебя кормить как следует. Будем кормить как следует. И знаешь, что я ещё подумал?

— Что?

— Если ты будешь пораньше ложиться спать и откажешься от общественной жизни, то сможешь просыпаться на рассвете и писать, тогда к восьми часам будешь делать дневную норму. А мы с Карлосом будем готовиться к рыбалке, чтоб тебе оставалось только взойти на борт.

— Хорошо, — сказал я, — откажусь от общественной жизни.

— Тебя эта жизнь выматывает, Кэп. Я же не говорю совсем никуда не ходить. По субботам можешь расслабляться.

— Хорошо, — сказал я. — сведу жизнь к субботам. А о чём ты мне предлагаешь писать?

— Это тебе решать, Кэп. Я не хочу в это влезать. Ты же всегда хорошо писал.

— А о чём бы тебе хотелось прочесть?

— Попробуй писать хорошие рассказы про Европу или Новый Свет, или как ты скитался, или про войну, что-нибудь такое. Напиши о наших с тобой приключениях. Напиши, что повидала «Анита». Ты сможешь туда вложить столько общественной жизни, что любой зачитается.

— С общественной жизнью покончено.

— Само собой, Кэп. Но тебе есть что вспомнить. Небольшая передышка не повредит.

— Не повредит, — согласился я. — Спасибо тебе, Джози. Завтра же сяду за работу.

— Ещё я думаю, что прежде чем начать новую жизнь, тебе нужно съесть бифштекс с кровью. Тогда завтра будешь бодр и полон сил. Карлос говорит, большая рыба пойдёт со дня на день. Тебе надо быть в форме, Кэп.

— А как думаешь, ещё один стаканчик мне не повредит?

— Не повредит, Кэп. Это же всего лишь ром с соком и ликёром мараскино. Разве это может повредить?

В этот момент в бар вошли две наши знакомые. Они были прелестны и явно строили планы на вечер.

— Вон наши рыбаки, — сказала одна из них по-испански.

— Два здоровых крепких рыбака прямоком с моря, — оценила другая.

— Долой общественную жизнь! — напомнил мне Джози.

— Долой общественную жизнь! — подтвердил я.

— Секретничаете? — спросила одна из девчонок. Она была невероятно хорошенькой, в профиле её не видно было даже следа от вмешательства кулака одного из друзей её юности, нарушившего совершенство её миловидного носика.

— У нас с Кэпом деловой разговор, — сказал Джози девушкам, и они прошли в глубину бара. — Видишь, как просто, — сказал Джози. — Я возьму на себя общественную жизнь, а тебе остаётся вставать пораньше, писать и готовиться ловить рыбу. Большую рыбу. Не меньше тысячи фунтов.

— А у меня встречное предложение, — сказал я. — Давай я возьму на себя общественную жизнь, а ты будешь вставать пораньше, писать и готовиться ловить большую рыбу не меньше тысячи фунтов?

— Я бы с радостью, Кэп, — серьёзно ответил Джози, — но писатель у нас ты. К тому же ты моложе и лучше управляешься с рыбой. С меня лодка, я её уступаю по такой цене, что, по-моему, даже износ двигателя не покрываю.

— Знаю, — согласился я. — Я постараюсь писать как следует.

— Я верю, что ты меня не разочаруешь, — сказал Джози, — и что мы поймем самого огромного марлина из всех, когда-либо бороздивших океан, честно его взвесим, разделаем и раздадим бедным людям по списку, и ни кусочка не оставим этим чёртовым полицейским с их дубинками!

— Так тому и быть!

Тут одна из девчонок помахала нам из глубины бара. В тот вечер в баре посетителей, кроме нас, не было.

— Долой общественную жизнь! — напомнил мне Джози.

— Долой общественную жизнь! — повторил я, как пароль.

— Константе, — окликнул Джози. — Позови-ка нам официанта. Мы с Эрнестом хотим заказать по большому бифштексу с кровью.

Константе улыбнулся и поманил официанта.

Когда мы проходили мимо девушек в столовую, одна из них протянула мне руку, я пожал её и глубокомысленно произнёс по-испански: «Долой общественную жизнь!»

— О Господи! — сказала её подруга. — У них тут какие-то политические лозунги! В такой-то год¹.

Наше поведение их поразило и слегка напугало.

Утром, когда над гаванью показались первые лучи солнца, я проснулся и сел писать короткий рассказ, который, как я надеялся, придётся по нраву Джози. Там было и про «Аниту», и про порт, и про наши совместные вылазки, я пытался передать в нём дух моря, всё то, что мы каждый день видели, слышали, чувствовали и ощущали. Каждое утро я писал, каждый день мы рыбачили и имели неплохой улов. Я старательно тренировался и всё время рыбачил стоя, не садясь в своё рыболовное кресло. Но большая рыба всё не шла.

Как-то раз мы увидели одну такую, тащившую за собой рыбацкий ялик. Ялик клевал носом, а марлин нёсся вперёд, подпрыгивая на волнах, точно моторная лодка. В конце концов он сорвался. В другой раз мы наблюдали, как четверо рыбаков в шквалистый дождь пытались втащить огромную мощную тёмно-фиолетовую рыбину в свою лодку. Тот марлин весил добрых пятьсот фунтов, и я своими глазами видел, какие огромные ломти вырезали из него на мраморных плитах старого рынка.

А потом, солнечным днём, когда течение было мощным и тёмным, а вода — такой прозрачной и чистой, что у входа в гавань в десяти морских

¹ Действие рассказа разворачивается в 1933 году — в год военного переворота на Кубе. Использованное героями сокращение: N.S.L. (“No social life”, дословно “Никакой социальной жизни”) было также аббревиатурой Лиги национальной безопасности (National Security League) — американской шовинистской организации, в числе прочего пресекавшей деятельность существующих профсоюзных и партийных социалистических организаций. — *Прим.пер.*

саженях под нами виднелись косяки рыб, мы наткнулись на свою первую крупную рыбу прямо за Морро. Тогда ещё не было ни упоров, ни держателей для удилищ, и я как раз разматывал лёгкие снасти, собираясь половить в канале макрель для наживки, когда появился он. Марлин выплыл в буруне пены, его мечевидный нос казался обрубком бильярдного кия. За носом последовала голова, рыба была огромной, с нашу лодку шириной. Она промелькнула мимо нас, леса дёрнулась параллельно лодке, катушка неистово завертелась, раскаляясь. На ней было четыреста ярдов плетёной пятнадцатизильной лески, но разматывалась она с такой скоростью, что половина исчезла прежде, чем я добежал до носа «Аниты».

Я залез туда, цепляясь за поручни, которые мы встроили под крышей кабины. Мы тренировались взбегать на верхнюю палубу, где можно было упереться ногами в нос лодки. Но нам ещё не доводилось проделывать это с гигантской рыбиной на крючке, которая пролетает мимо тебя, как мчащийся на полном ходу скорый поезд, когда ты стоишь на полустанке; не доводилось карабкаться наверх, сжимая в одной руке удочку, когда та брыкается и врежется в задний держатель удилища, а другой рукой и босыми ногами ища опору на палубе, пытаясь удержаться, когда рыба тянет тебя за собой.

— Полный вперёд, Джози! — крикнул я. — Несётся как угорелый!

— Есть полный вперёд, Кэп! Врешь, не уйдёшь...

Теперь я упирался одной ногой в нос «Аниты», а другой — в правый становой якорь. Карлос обхватил меня вокруг пояса, а марлин, подпрыгивая, мчался вперёд. Когда он выпрыгивал из воды, было видно, что в обхвате он не уступает винной бочке. Чешуя его серебрилась на солнце, бока опоясывали широкие лиловые полосы. Волны от каждого прыжка вздымались такие, словно лошадь упала с обрыва, а он всё скакал, скакал и скакал. Катушка перегрелась, её уже невозможно было держать в руках, а моток лесы становился всё меньше, хотя «Анита» неслась за рыбиной на всех парах.

— Можешь выжать ещё немного? — крикнул я Джози.

— Больше некуда, — отозвался он. — Сколько у тебя осталось?

— На пределе.

— Он огромный, — сказал Карлос. — Крупнее марлина я не видал. Вот бы он остановился! Или вниз ушёл!.. Мы бы подобрались ближе и подмотали лесу.

Рыба пересекла бухту от края до края, проплыв от крепости Морро до берега напротив отеля «Насьональ». Мы повторяли её путь. На катушке оставалось уже менее двадцати ярдов лески, когда рыбина остановилась, и мы нагнали её, поспешно сматывая бечеву. Я помню, что впереди маячил лайнер «Грэйс Лайн», и из порта к нему уже двигался чёрный лоцманский катер, — я подумал, не окажемся ли мы на его пути, когда лайнер завернёт к причалу. Помню, что следил за ним, пока наматывал лесу на катушку и возвращался на корму. Лайнер двинулся вперёд, набирая скорость, но

прошёл на значительном расстоянии от нас, лоцманский катер тоже остался в стороне.

Теперь я сидел на рыболовном кресле, рыба была под нами, немного впереди, а на катушке оставалась ещё треть мотка. Карлос полил катушку морской водой, чтобы охладить её, а заодно обдал из ведра и меня.

— Ты как, Кэп? — спросил Джози.

— В порядке.

— Не убился там, на носу?

— Нет.

— Ты небось о такой и не мечтал?

— Нет.

— Гранде... Гранде... — бормотал Карлос. Он дрожал мелкой дрожью, как охотничий пёс, хорошо натасканный охотничий пес. — Никогда не видел такой рыбы. Никогда. Никогда. Никогда...

Мы не видели её ещё час и двадцать минут. Течение там было очень сильным, и нас снесло на другую сторону бухты к деревне Кохимар, где-то в шести милях от того места, где марлин первый раз ушёл на глубину. Я устал, но руки и ноги мои были готовы к такой нагрузке, и я размеренно выбирал лесу, без рывков и резких движений. Теперь я мог вести его. Задача эта была нелёгкой, но выполнимой, главное было — не доводить леску до разрыва.

— Сейчас всплывёт, — сказал Карлос. — Самые крупные иногда так делают, и их можно взять багром, пока не очухались.

— С чего ему сейчас всплывать? — спросил я.

— Он не понимает, что происходит, — сказал Карлос. — Ты его ведёшь, а он не поймёт, в чём дело.

— Главное, чтоб так и не понял — сказал я.

— Добрых девятьсот фунтов весу будет, — сказал Карлос.

— Хватит болтать, — сказал Джози. — Не хочешь с другой стороны зайти, Кэп?

— Нет.

Когда марлин показался из глубины, мы осознали, насколько он велик. Пугающе огромным его нельзя было назвать, но впечатление он производил сильное. Мы смотрели, как марлин медленно, бесшумно и почти неподвижно скользит под водой, его огромные грудные плавники походили на два длинных лиловых серпа. Затем он заметил лодку, и леска вновь запрыгала на катушке, разматываясь, словно на другом конце её был гоночный автомобиль. Марлин рванул на северо-запад, взметая фонтаны брызг при каждом прыжке.

Мне пришлось вернуться на нос лодки, и мы шли за ним, пока он вновь не ушёл в глубину. На этот раз он занырнул почти напротив Морро. Тогда я вновь перешёл на корму.

— Пить хочешь, Кэп? — спросил Джози.

— Нет, — ответил я. — Скажи Карлосу, пусть смажет катушку, да поаккуратней, не проливая масло, и ещё разок окатит меня морской водой.

— Нет, правда, может, тебе что-нибудь нужно, Кэп?

— Мне бы пару свежих рук и новую спину, — ответил я. — Этот поганец ни капли не выдохся.

В следующий раз мы увидели его через полтора часа, уже далеко за Кохимаром. Он опять пустился вскачь по волнам, и мне снова пришлось вернуться на нос лодки, пока мы шли за ним.

Когда я вновь перешёл на корму и сел отдохнуть, Джози спросил:

— Как он, Кэп?

— Он по-прежнему, — ответил я. — А вот удочка начинает сдавать.

Удилище было изогнуто, как туго натянутый лук, и когда я приподнял его, оно не приняло прежнюю форму.

— Ещё немного послужит, — сказал Джози. — А ты этого марлина можешь вечно удерживать, Кэп. Полить тебя ещё водой?

— Не надо пока, — сказал я. — Удочка меня беспокоит. Эта туша её в бараний рог согнула.

Час спустя марлин вернулся и всё так же плавно стал описывать медленные размашистые круги.

— Устал, — сказал Карлос. — Больше так рваться не будет. Напрыгался, нахалпал воздуха в плавательные пузыри, теперь не сможет глубоко нырнуть.

— Удочке конец, — сказал я. — Вообще не выпрямляется.

Она и правда не распрямлялась, конец её шлёпал по воде и никак не реагировал на мои попытки приподнять её, чтоб подтянуть рыбу вверх и намотать лесу на катушку. Это была уже не удочка, а продолжение лески. Я ещё мог, поддёргивая её, выбрать несколько дюймов, но не больше.

Рыба медленно кружила под нами. Отдаляясь, она разматывала катушку, а когда вновь приближалась, мне удавалось отвоевать немного лесы. Но без прочной удочки одёрнуть марлина не получалось, и я уже никак не контролировал его движение.

— Плохо дело, Кэп, — сказал я Джози. Мы по очереди называли так друг друга. — Если он сейчас решит нырнуть и умереть на глубине, мы ни за что его не поднимем.

— Карлос говорит, что он сейчас всплывёт. Говорит, он нахвтал столько воздуха в свои пузыри, пока прыгал, что не сможет уйти в глубину и умереть. Карлос говорит, что с крупными марлинами всегда так, когда они много прыгают. А я насчитал тридцать шесть прыжков, мог даже несколько упустить.

Это была одна из самых длинных тирад, что я когда-либо слышал от Джози, и я проникся. В этот момент большая рыба устремилась вниз, всё ниже и ниже. Я обеими руками силился удержать барабан катушки, до предела натягивая лесу, и чувствовал, как металл барабана медленными рывками ходит под пальцами.

— Что там со временем? — спросил я у Джози.

— Ты его уже три часа пятьдесят минут ведёшь.

— Ты же говорил, что он не может уйти в глубину и умереть, — напомнил я Карлосу.

— Он должен всплыть, Хемингуэй, ей-богу должен!

— Это ты ему скажи, — ответил я

— Принеси ему воды, Карлос, — скомандовал Джози. — Не болтай, Кэп.

Ледяная вода приятно освежала. Струйкой изо рта а полил себе на руки и попросил Карлоса вылить оставшуюся воду мне на шею. Солёный пот разъедал плечи там, где я натёр их наплечными лямками поясного упора, но солнце палило так, что жжения не чувствовалось. Был июльский полдень, солнце стояло в зените.

— Плесни ему ещё морской воды на голову, — скомандовал Джози. — Оботри губкой.

В этот момент марлин перестал разматывать лесу. На какое-то время она замерла неподвижно, натянутая, как струна, будто зацепилась за бетонный пирс, а потом рыба пошла вверх. Я подматывал леску, действуя одной лишь кистью руки — удочка висела плетью, как ветвь плакучей ивы.

Когда рыба была уже в двух ярдах от нас и мы видели её огромный силуэт, похожий на длинное каное с лиловыми полосами и двумя массивными выступающими крыльями плавников, она начала медленно кружить. Я вцепился в лесу изо всех сил, принуждая марлина делать круг поменьше. Она натянулась до звона, до той точки, за которой только разрыв, и в этот момент удочка сдала окончательно. Она не сломалась резко, не хрустнула, а просто осела.

— Отрежь шестьдесят ярдов лески от большой катушки! — крикнул я Карлосу. — Я удержу его на этом круге, и когда он подойдёт ближе, мы подтянем леску, привяжем к новой, и я поменяю удочки.

Теперь, когда мы лишились удочки, речь уже не шла ни о мировом рекорде по трофейной рыбалке, ни о каком-либо вообще рекорде. Но и рыба вымоталась, и тяжёлой снастью мы должны были её достать. Незадача заключалась в том, что большая удочка была слишком жёсткой для нашей пятнадцатизильной лески. Но это уже было бы моей проблемой, и я бы как-нибудь с ней разобрался.

Карлос взялся за большую катушку «харди» и принялся отмерять белую тридцатishестьзильную лесу вытянутыми руками. Он пропускал её через кольца удилица и бросал на палубу. Я удерживал рыбу, как мог, орудя никудышной удочкой, и смотрел, как Карлос отрезает белую леску и протягивает её во всю длину через кольца.

— Теперь так, Кэп, — сказал я Джози, — Держи эту леску, и когда он подойдёт ближе, подтягивай, а Карлос свяжет её с новой. Только тани легонько, без рывков.

Рыба плавно завернула, заходя на очередной круг. Джози подтягивал леску фут за футом и передавал её Карлосу, а тот уже вязал её к новой, белой.

— Привязал! — крикнул Джози. В руках у него оставалось около ярда старой зелёной пятнадцатизильной плетёнки, и пальцы его сжимали напряжённую лесу, когда рыба пошла на новый круг. Я опустил старую удочку на палубу и взялся за новую, которую протягивал мне Карлос.

— Обрежай, если готов! — велел я ему. А потом повернулся к Джози и крикнул: — Трави потихоньку, Кэп, а я буду подтягивать, пока не пойдёт как следует.

Я не отрывал глаз от зелёной лески и нашей рыбины, когда Карлос обрезал нить. А затем я услышал такой вопль, какого, казалось, не могло издать человеческое существо. Как будто чистое отчаяние всего мира слилось в этом звуке. Я увидел, как зелёная леса медленно выскользывает из пальцев Джози и исчезает за бортом, внизу, в недоступных глазу глубинах. Карлос перерезал её не с той стороны затянутого узла. Рыба скрылась из виду.

— Кэп, — сказал Джози. На нём лица не было. Он посмотрел на часы: — Четыре часа двадцать две минуты.

Я спустился к Карлосу. Его тошнило, и я сказал ему не переживать, с кем не бывает. Его смуглое лицо окаменело, и говорил он странным сдавленным голосом, так что я его едва слышал.

— Я всю жизнь рыбачу, и такой рыбы не видел. И такого маху дать. Всю жизнь испоганил, и вам, и себе.

— Бред, — сказал я. — Не носи чушь. Мы ещё не такую рыбу поймаем, уйму рыбы.

Но такой рыбы нам больше не попало.

Мы с Джози устроились на корме, оставив «Аниту» дрейфовать. День выдался чудесный, над бухтой дул лёгкий бриз, мы смотрели на берег, вдали виднелись невысокие горы. Джози обрабатывал мне антисептиком плечи и руки в тех местах, где я стёр их удилищем, и босые ноги, где кожа тоже была стёрта. Потом он навёл нам два виски с лимонным соком.

— Как Карлос? — спросил я.

— Раздавлен. Сидит там, скрючившись.

— Я просил его не винить себя.

— Понятное дело. Но ведь всё равно винит.

— Что теперь скажешь про большую рыбу? — спросил я.

— Это то, о чём я всегда мечтал.

— Как я, не подкачал?

— Ещё как не подкачал!

— Нет, правда?

— Сегодня истекает срок аренды. Если хочешь, я готов продолжать бесплатно.

— Не хочу.

— Зато я хочу. Как он шёл к отелю «Насьональ», а? Как так и надо! Помнишь?

— Я всё про него помню.

— Как тебе пишется, Кэп? Не слишком трудно вставать спозаранку?

— Стараюсь изо всех сил.

— Продолжай в том же духе, и всё всегда будет пучком.

— Завтра-то утром, пожалуй, отдохну.

— Это ещё почему?

— Спина отваливается.

— Но голова-то не отваливается! Ты же не спиной пишешь.

— Да и руки будут болеть.

— Ничего, небось карандаш-то удержишь. Вот увидишь, завтра в охотку пойдёт.

Как ни странно, он оказался прав, писалось мне хорошо. К восьми часам мы уже вышли из гавани, нас ждал очередной чудесный день, дул лёгкий бриз, и течение близ крепости Морро было таким же, как накануне. На этот раз, дойдя до чистой воды, мы не стали расчехлять ручные удочки, наживки и так хватало. Я опустил за борт крупную королевскую макрель весом около четырех фунтов на нашей большой удочке — том самом крепком удилище «харди» с белой тридцатишестижильной леской на катушке. Карлос уже навязал обратно шестьдесят ярдов лесы, отрезанной накануне, так что пятидюймовая катушка была заполнена до отказа. Единственная неприятность заключалась в том, что это удилище было слишком жёстким. При ловле крупной рыбы слишком жёсткая удочка губительна для рыбака, тогда как в меру мягкая удочка губительна как раз для рыбы.

Карлос всё ещё горевал и говорил, только когда к нему обращались. У меня всё болело, и не было сил ему сочувствовать, а Джози сочувствовать вообще не очень-то умел.

— Всё утро сидит и трясёт своей дурной головой, — сказал он. — А что толку? Рыбу этим не вернёшь.

— Ты-то как, Кэп? — спросил я.

— Я в порядке, — сказал Джози. Вчера вечером ходил в город. Посидел, послушал девчачий оркестр на площади, выпил несколько бутылок пива. А потом пошёл к Доновану. Там был суший ад.

— В каком смысле ад?

— В плохом. Жуть что творилось, Кэп, хорошо, что ты со мной не пошёл.

— Расскажи, — попросил я, отводя удочку от себя и вверх, так чтобы наживлённая макрель плескалась на краю кильватерной струи. Карлос повернул «Аниту» и пошел по краю течения мимо крепости Ла-Кабанья. Приманка белым цилиндром подпрыгивала и дёргалась в струе кильватера, а Джози устроился на своём рыболовном кресле и опустил ещё одну крупную приманочную макрель со своей стороны кормы.

— Там, у Донована, был один посетитель, по его словам, капитан тайной полиции. Он сказал мне, что ему нравится моё лицо, и сказал, что убьёт мне в подарок любого в этом баре. Я пытался его успокоить. Но он сказал, что я ему понравился и он в доказательство хочет мне кого-нибудь убить. Он был из того спецподразделения полиции Мачадо, из тех, что с дубинками.

— Я их помню.

— Не сомневаюсь, Кэп. В общем, я рад, что ты со мной не пошёл.

— И что он сделал?

— Он всё рвался кого-нибудь убить, показать, как сильно я ему нравлюсь, а я всё говорил ему, что не стоит, лучше пропустить ещё рюмашку и забыть об этом. Он на время успокаивался, а потом опять подрывался доказывать.

— Должно быть, славный малый.

— Да он был никакой, Кэп. Я ему стал рассказывать про нашу рыбу, просто чтоб отвлечь. А он сказал: «Хрен с ней, с твоей рыбой. Не было никакой рыбы, понял?», я сказал: «Ладно, хрен с ней, с рыбой. Как скажешь. Нам пора по домам», а он: «Какое, к чёрту, по домам?! Я должен убить кого-нибудь тебе в подарок, а с рыбой — хрен с ней! Не было никакой рыбы. Понял?» Тогда я ему пожелал спокойной ночи, Кэп, заплатил Доновану, а этот полицейский смахнул деньги со стойки на пол и наступил на них. Сказал: «Чёрта с два ты куда пойдёшь! Ты мой друг и останешься со мной». А я ему пожелал спокойной ночи и сказал Доновану: «Донован, мне жаль, что твои деньги на полу». Я не знал, что ещё выкинет этот полицейский, и знать не хотел. Я собрался домой. А когда я повернулся и пошёл к выходу, этот полицейский выхватил пистолет и стал лупить рукояткой первого подвернувшегося под руку галисийца — бедняга пил пиво за стойкой и за весь вечер слова не сказал. И никто этого полицейского не остановил. Я тоже. Мне стыдно, Кэп.

— Долго это не продлится, — сказал я.

— Знаю. Этому скоро придёт конец. Но обидней всего, что этому полицейскому понравилось моё лицо. Что, чёрт возьми, у меня за лицо, Кэп, что оно понравилось такому полицейскому?

Мне тоже очень нравилось лицо Джози. Нравилось больше, чем лица почти всех остальных моих знакомых. Я не сразу оценил его по достоинству, потому что лицо его было не из тех, что вызывают мгновенную безотчётную симпатию. Черты его ваяло море, удачные вечера в барах, где он умело обставлял противников в карты, рискованные авантюры, задуманные и осуществлённые на трезвую и ясную голову. Красивым его нельзя было назвать, разве что глаза выделялись своей голубизной, диковиннее и лучистее, чем Средиземное море в самый светлый и ясный день. Глаза у него были изумительные, а вот лицо красотой не отличалось, а сейчас и вовсе кожа выглядела обожжённой.

— У тебя очень хорошее лицо, Кэп, — сказал я. — Наверное, единственное достоинство того ублюдка — это то, что он сумел это разглядеть.

— Я, пожалуй, пока что не буду появляться в кабаках, пусть всё уляжется, — сказал Джози. — А там на площади, под девчачий оркестр и пение той девчонки, я отлично посидел, душевно. Ты сам-то как, Кэп? Если честно?

— Паршиво, — признался я.

— Ты там себе грыжу не заработал? Я всё время за тебя волновался, пока ты был на носу.

— Грыжу — нет, а вот поясница ноет.

— Руки с ногами — ерунда, это пройдёт, а к лямкам поясного упора я добавил дополнительные ремешки, — сказал Джози, — больше так впиваться не будут. Как тебе, хорошо работалось?

— Очень даже, — сказал я. — Дело привычки. Сначала чертовски трудно войти в это русло, но потом почти так же трудно перестать.

— Я знаю, что привычка — дело дурное, — сказал Джози, — работа поди сгубила больше народу, чем любая другая привычка. Но когда ты занят делом, тебе на всё вокруг плевать.

Я посмотрел на берег: мы миновали промышленную печь для обжига известняка, здесь у побережья было очень глубоко, и Гольфстрим доходил почти до самого берега. Над трубой курился дымок, а по каменистой дороге, идущей по побережью, ехал грузовик, поднимая пыль. Над куском приманки трудились птицы. И тут я услышал крик Карлоса: «Марлин! Марлин!»

Мы все увидели его одновременно. В воде он казался очень тёмным, и я увидел, как над водой позади нашей большой макрели показался его нос. Нос был уродливым: толстый, короткий и закруглённый, а за ним тёмной массой маячила и сама рыба.

— Пусть заглотит! — крикнул Карлос. — Он почти что у нас на крючке!

Джози начал подтягивать свою приманку, а я ждал, когда натянется леса, чтобы убедиться, что марлин действительно заглотил макрель...

Vicini

(tratto da Paolo Cognetti «Il ragazzo selvatico. Quaderno di montagna»)

In giugno arrivarono i pastori, e la mia solitudine cambiò. Vennero in camion, grossi autocarri per il trasporto animali che comparvero un giorno alla fine della strada. Nervose per il viaggio, e forse eccitate da tutti quei prati fioriti, le mucche correvano giù dagli scivoli, si prendevano a cornate tra loro, ignoravano i confini dei pascoli e andavano a nascondersi nel fitto degli abeti. I pastori le lasciavano fare. Nonostante la transumanza a motore, i più anziani portavano ancora il gilet di velluto e il cappello di feltro, un costume a cui i giovani avevano

sostituito lunghi grembiuli impermeabili. Tutti osservavano le montagne all'orizzonte come se avessero bisogno di riabituarsi al panorama. Era un trasloco in piena regola il loro: cambiavano casa per quattro mesi, trasferendo lassù animali e famiglie, passando a una vita molto diversa da quella invernale, perché l'estate significa più ore di luce, più tempo al pascolo, più erba, più latte, più lavoro. Eppure c'era un'allegria evidente nei loro gesti. Scambiandosi notizie in dialetto ridevano spesso. Mi sembrava che la felicità degli animali avesse contagiato gli uomini: che anche per loro salire in alpeggio significasse tornare a casa, forse ai luoghi della propria infanzia, di certo alle radici del proprio mestiere.

Così ora avevo qualcosa da osservare, oltre alle nuvole che in quei giorni portavano piogge interminabili. Non lontano dalla baita, sull'altro versante della valletta in cui abitavo, c'era l'alpeggio di una famiglia di allevatori: dalla mia parte all'inizio di giugno regnava il giallo del tarassaco, in mezzo all'erba che cresceva rigogliosa ormai da un mese. Sul lato opposto, se mi svegliavo presto la mattina, potevo spiare il pastore padre che spostava i confini del pascolo, avanzando i paletti di qualche metro al giorno in modo da razionare il cibo. Poco dopo il pastore figlio apriva il portone della stalla, e allora sette giovani vitelli e una trentina di mucche adulte si precipitavano giù, verso la nuova striscia di erba alta. Erano quasi tutte pezzate valdostane, dominate da alcune regine nere muscolose come tori. A sera di quel prato non era rimasto più nulla. Mentre mi preparavo la cena dalla stalla si alzavano imperiosi muggiti: tre o quattro bidoni d'acciaio comparivano davanti al portone, e il fuoristrada del caseificio veniva a ritirarli. Allora davvero la giornata era finita.

Ma il cambiamento più grande, nella mia vita quotidiana, fu provocato dai cani. Siccome mettevo via per loro le croste di formaggio, tornavano a trovarmi diverse volte al giorno (a dire il vero, anche se non è da montanaro, ogni tanto sostituivo alle croste qualche biscotto, di quelli che tra me chiamavo i biscotti degli amici). Avevano un campanello appeso al collo grazie a cui li sentivo arrivare da lontano. Per qualche loro gerarchia interna uno dei tre restava sempre al pascolo, gli altri due invece erano liberi di gironzolare fino al momento di ricondurre le bestie nella stalla. Allora, richiamati dal pastore figlio, facevano gioco di squadra: accerchiavano la mandria abbaiando, mordevano ai fianchi le mucche più pigre e inseguivano quelle indisciplinate, le spingevano in gruppo verso l'alpeggio. Era uno spettacolo vederli all'opera.

Dalle grida del padrone scoprii che si chiamavano Black, Billy e Lampo. Black era il più vecchio, un gran bastardo nero con sei dita nelle zampe posteriori e l'orecchio destro sbranato in chissà quale rissa. Per questo decisi di non chiamarlo Black, ma Mozzo. Si vedeva che era a fine carriera: alle mucche preferiva l'ombra degli abeti, o gli odori dei selvatici che seguiva pigramente nel sottobosco. Billy era un cane lupo e un lavoratore infaticabile, per questo io e lui ci incontravamo meno. Se la mandria era tranquilla riposava accanto ai piedi del pastore figlio. Quando veniva da me sembrava sentirsi in colpa: prendeva una buccia di salame e subito scappava via, difficilmente si faceva accarezzare. Lampo era il più giovane,

un border collie con una passione per i rametti di larice lanciati a grande distanza. Amava farsi grattare dietro le orecchie e mi lasciava un buon odore di stalla nelle mani. Stava imparando il mestiere, ma era alle prime armi e ogni tanto ne combinava una: una mattina, sotto il diluvio, i sette vitelli si ammutinarono e tutti insieme superarono il confine del pascolo, gettandosi nell'erba alta come su una tavola imbandita. Allora il pastore figlio lanciò un gran fischio: Billy partì subito all'inseguimento, Lampo lo vide e gli corse dietro, Mozzo invece rimase a osservare dal mio balcone, all'erta ma defilato, come al suo solito. Io mi sedetti accanto a lui a godermi le operazioni. Nel pascolo Billy stava già riportando i fuggitivi in gruppo, ma poi Lampo se la prese troppo con uno dei vitelli, continuò a morderlo e abbaiargli addosso e così quello scappò di nuovo, e gli altri sei dietro. Billy corse a riprenderli, e la scena si ripeté uguale. Lampo li spaventò e loro fuggirono via.

Billy a quel punto era fradicio di pioggia: guardò i vitelli, guardò Lampo, guardò il padrone che bestemmiava agitando il suo ombrello, poi entrò in sciopero e se ne andò verso il bosco. Il pastore figlio gridava: Billy! Ma Billy sparì tra i larici e non si vide più. Lampo scodinzolava lì vicino, per lui sarà stato un gioco. I vitelli banchettavano nell'erba che doveva essere il pasto dell'indomani. Veniva giù un'acqua da spazzarci via tutti, lavarci via dalla montagna come foglie secche, e Mozzo finì il suo biscotto, si stiracchiò la schiena, brontolando si rassegnò all'idea che adesso toccava a lui.

La mattina dopo pioveva ancora, e avevo deciso di fare le tagliatelle verdi. Raccolsi cime di ortiche intorno alla baita, le feci appassire in padella, poi le tritai e mescolai a uova e farina. Avevo cominciato a stendere la pasta con il mattarello quando sentii un frastuono di campanacci e le grida di un pastore. Mi affacciai alla finestra e feci in tempo a vedere due vitelli che scappavano in giù. Il pastore non era uno dei miei vicini, ma quello solitario e un po' zoppo che ogni tanto passava col trattore: era l'unico che mi rivolgeva un cenno di saluto, benché non avessimo mai scambiato una parola. Per colpa della sua gamba non era riuscito a inseguire i fuggiaschi. Lo vedevo su in alto, in mezzo al prato, a sbracciarsi e imprecare. Allora mi slacciai il grembiule, spensi il fornello sotto l'acqua della pasta, presi il bastone e uscii, tutto infarinato com'ero. Trovai i vitelli poco più sotto, in una radura in mezzo al bosco. Pascolavano tranquilli. Non sapevo se mi avrebbero obbedito, l'avevo solo visto fare: girai intorno al primo e gli diedi un colpetto di bastone sul fianco, e piano piano, contro voglia, quello cominciò a risalire. Il secondo gli andava dietro. Tutto fiero di me li portai a Fontane e li chiusi in un angolo tra lo steccato e la baita, poi aspettai il pastore zoppo sperando che arrivasse presto. Comparve dopo pochi minuti su una moto da cross guidata da un suo amico. Legò i vitelli con una corda di canapa e mi chiese com'ero riuscito a catturarli: risposi che era stato facile, avevano fatto tutto loro. Lui rise, e vidi che gli mancavano gli incisivi. Disse che quasi quasi mi assumeva come lavorante.

Si chiamava Gabriele. Aveva un'età tra i quaranta e i cinquanta, difficile dirlo per via delle mani enormi, il fisico da peso massimo, gli abiti laceri, la barba

incolta e la pelle bruciata. Da vicino zoppicava vistosamente: mi raccontò che l'anno prima era finito sotto al trattore, e ora la sua gamba sinistra era tenuta insieme da una placca al titanio e un bel po' di viti. Di me sapeva già tutto. A che ora accendevo la stufa al mattino, ogni quanto uscivo nell'orto a strappare le erbacce, e che quasi ogni giorno prendevo e me ne andavo a camminare. Mi vedeva da sopra portando le mucche al pascolo: la sua baita si trovava poco più in alto, a un quarto d'ora circa di sentiero, e grazie alla mia impresa eroica mi guadagnai un invito a cena per quella sera.

Non valevo granché come eremita: ero andato lassù per stare da solo, eppure non facevo altro che cercarmi degli amici. O forse era proprio la solitudine a rendere ogni incontro così prezioso. Nel pomeriggio rilessi una pagina di Reclus: "Il pastore mio compagno, unico rappresentante dell'umanità da cui fuggivo, m'era divenuto poco a poco necessario; sentivo nascere verso di lui fiducia e amicizia. Non mi limitavo più a ringraziarlo del cibo che mi portava e dei servigi che mi rendeva, ma lo studiavo cercando di imparare ciò che aveva da insegnarmi. La sua istruzione era ben poca cosa, ma quando l'amore per la natura si fu impadronito di me, fu lui a farmi conoscere la montagna dove pascolavano le sue greggi, alle cui falde era nato. Mi disse il nome delle piante, mi mostrò le rocce in cui si trovavano i cristalli e le pietre rare, mi accompagnò sulle cornici vertiginose dei baratri per indicarmi la via da prendere nei passaggi difficili. Dall'alto delle vette mi indicava le valli, mi tracciava il corso dei torrenti; poi, di ritorno alla nostra capanna annerita dal fumo, mi raccontava le storie del paese e le leggende locali".

Alle sette passò Mozzo in cerca di biscotti, e mi scrutò mentre mettevo i jeans e la mia camicia a scacchi più elegante. Era abituato a vedermi con i calzoni corti e un maglione bucato, e non capiva. Che cos'hai da guardare?, gli chiesi. Non posso avere un invito a cena anch'io? Poi allacciai gli scarponi, presi la bottiglia di Nebbiolo che tenevo da parte per le occasioni speciali, gli diedi una grattata sulla testa e mi avviai per il sentiero verso il mio appuntamento.

Соседи

(глава из повести Паоло Коньетти «Дикарь. Записки горца»)

Однажды в июне за поворотом дороги показались фургоны для перевозки животных. Это приехали пастухи на скотовозах, и моему одиночеству пришёл конец. Истомлённые долгой дорогой, а может, взбудораженные видом цветущих лугов, коровы ринулись вниз по склону, резвясь и бодаясь, и разбрелись далеко за ограждения выгонов, многие скрылись от глаз в густом ельнике. Люди не спешили их собирать. Несмотря на то, что скот на новые пастбища теперь перевозили на колёсах, старики-погонщики по привычке носили вельветовые жилетки и фетровые шляпы, молодёжь же этим нарядам предпочитала длинные фартуки из плащёвки. Мои новые соседи вглядывались в горы на горизонте, словно заново привыкая к открывшейся панораме. Их перекочёвка была масштабной

затеей: на четыре долгих месяца пастухи со своими семьями и скотом снимались с насиженных за зиму мест и перебирались в горы, где их ждал совершенно иной уклад жизни. Летом световой день был длиннее, коровы проводили на пастбищах больше времени, а значит травы требовалось больше, больше становилось и молока, и работы. Однако погонщики радостно переговаривались на своём диалекте, делились новостями, смеялись. Казалось, будто нахлынувшее на коров воодушевление передалось и людям, будто и для них переезд на альпийские луга означал возвращение домой, быть может, к знакомым с детства местам, во всяком случае, к истокам пастушьего ремесла.

Теперь я мог наблюдать за чем-то, помимо туч, приносящих в эти дни лишь бесконечные дожди. Одна из пастушьих семей обосновалась совсем недалеко от моей хижины, на противоположном склоне ложбины. Тот склон, где жил я, уже больше месяца утопал в сочной зелени и с начала июня золотился жёлтыми головками одуванчиков. Просыпаясь рано утром, я видел, как отец семейства на другой стороне ложбины переставляет колышки на несколько метров дальше, отмеряя скоту норму свежей травы на день. Чуть позже пастуший сын открывал двери хлева, и семь молодых телят, а с ними десятка три взрослых коров рассыпались по склону, торопясь к полосе нетронутой зелени. Почти все они были представителями пятнистой вальдостанской породы, среди которых резко выделялись несколько рогатых «королев» — чёрных мускулистых, как быки, бурёнок. К вечеру от отведённого стариком пастбища не оставалось ни травинки. Пока я готовил ужин, из хлева доносилось протяжное мычание, а у ворот появлялось три-четыре стальных бидона, за которыми приезжал внедорожник от сыроварни. Вот тогда день действительно можно было считать оконченным.

Но больше всего мою повседневную жизнь изменили собаки. Поскольку я откладывал для них сырные обрезки, они навевались ко мне по нескольку раз в день (по правде говоря, хоть в горных селеньях это и не принято, вместе с обрезками я стал угощать собак печеньем, называя это про себя «дружеская пайка»). На ошейниках у псов звенели колокольчики, поэтому их приближение я слышал издали. Повинуясь только им ведомой иерархии, один из них всегда оставался со стадом, позволяя двум другим немного побродить по окрестностям. Когда коров пора было вести домой, пастуший сын свистом созывал собак, и те дружно брались за дело: окружали стадо и с лаем гнали его обратно, к стойлам, нерасторопных покусывали за бока, своенравных преследовали, возвращая в гурт. Наблюдать за их работой было одно удовольствие.

Из окликов пастуха я узнал, что звали моих товарищей Блэк, Билли и Буян. Блэк был старше других — крупная чёрная дворняга с шестью пальцами на задних лапах и правым ухом, разодранным в бог весть какой схватке. Из-за этого я прозвал его Кургуз. Было видно, что он уже предпенсионного возраста, погоне за коровами Кургуз предпочитал отдых в

тени ельника или дразнящие запахи лесных обитателей, которые он неторопливо вынюхивал в подлеске. Билли был немецкой овчаркой и самым неутомимым труженником, поэтому ко мне он заглядывал нечасто. Если стадо вело себя смиренно, он отдыхал у ног пастухова сына. Наведываясь ко мне, Билли виновато прижимал уши, брал свою долю колбасных обрезков и тут же убегал, обычно не давая себя погладить. Буян был младшим — бордер-колли, он очень любил, чтобы хозяин бросал ему палку, и самозабвенно носился за ней по кустам. Ещё он обожал, когда его чешут за ушами, а на руках после него оставался приятный запах стойла. Буян только постигал пастушью науку и то и дело что-нибудь учинял. Однажды утром под проливным дождём семь телят взбунтовались, прорвались за пределы пастбища к высокой нетронутой траве и закатали там пир. Пастухов сын зашёлся свистом, Билли тут же кинулся на помощь, Буян помчался следом, а Кургуз остался у меня наблюдать за гвалтом с балкона. Он прядал ушами, но вмешиваться, как всегда, не спешил. Я присел с ним рядом — полюбоваться слаженной работой псов. Билли уже водворял беглянок на место, когда Буян, слишком ополчился на одного из телят: он заливался лаем и так ярко кусал того за ноги, что телёнок с перепугу рванул в сторону, а за ним ещё шесть коров. Билли вновь пригнал их, но всё повторилось снова: Буян опять напугал телёнка, группа опять кинулась наутёк.

К тому моменту Билли вымок до костей, он посмотрел на телят, потом на хозяина, который чертыхался, размахивая зонтиком, потом на Буяна, потом плюнул и направился к лесу. Сын пастуха кричал ему вслед: Билли! Билли! Но Билли дошёл до ельника и скрылся в подлеске. Буян пританцовывал неподалёку, виляя хвостом — ему забава нравилась. Телята налегали на свежую траву, которая должна была стать их завтрашним обедом. А дождь лил как из ведра, грозя смыть нас всех, смести со склона, как груды сухих листьев. Кургуз понял, что настал его черёд нести службу, догрыз печенье, потянулся и, ворча, направился к стаду.

Дождь не закончился и следующим утром. В этот день я решил приготовить тальятелле с крапивой. Листья я нарвал прямо у хижины, потушил их на сковороде, потом измельчил, добавил муки, яиц, и уже начал раскатывать пасту скалкой, когда с улицы донёсся неистовый перезвон колокольчиков и крики пастуха. Я выглянул в окно и увидел, что два телёнка удирают вниз по склону. Пастух был не из моих соседей, но я встречал его раньше на тракторе: одинокий и хромоногий, единственный, с кем мы здоровались кивком, хотя ни разу не перекинулись словом. Он ковылял по лугу, выше по склону, прихрамывая, но не мог догнать беглецов и лишь ругался и размахивал руками. Тогда я снял фартук, выключил огонь под кастрюлей, схватил трость и, как был, весь в муке, выскочил из дома. Телят я обнаружил на лужайке в лесу неподалёку. Они мирно щипали травку. Раньше мне не доводилось водить коров, и я не знал, послушают ли они меня, но, вспомнив, как управлялись пастухи, подошёл к одному из телят и слегка

стукнул его тростью по боку. Мало-помалу тот, нехотя, тронулся в обратный путь, второй потянулся за ним. Гордый собой, я довёл их до самого посёлка и загнал в закуток между своей хижиной и оградой, надеясь, что хромоногий хозяин не заставит себя долго ждать. И впрямь, не прошло и пары минут, как пастух подъехал на мотоцикле. За рулём сидел его друг, а сам хозяин достал пеньковую веревку, привязал телят и спросил, как мне удалось их отловить: я ответил, что это было совсем не трудно, они послушные. Пастух усмехнулся, продемонстрировав отсутствие передних зубов, и сказал, что не отказался бы от такого помощника.

Его звали Габриэль. Лет сорока-пятидесяти — точнее сказать было трудно, с огромными ручищами, массивного телосложения, в истрёпанной одежде, с патлатой бородой и задубевшей от солнца кожей. Вблизи стало ещё заметней, что он припадает на одну ногу: оказалось, что годом раньше Габриэль угодил под трактор, и левую ногу ему собрали по частям, скрепив титановой пластиной и дюжиной винтов. Обо мне он уже знал всё: и во сколько я затапливаю печь по утрам, и как часто выхожу в огород пропалывать сорняки, и даже то, что я чуть ли не каждый день отправляюсь бродить по горам — он наблюдал за мной с высоты, выгоняя коров на пастбище. Хижина его находилась чуть выше по склону, где-то в четверти часа пути от моей, и своим героическим поступком я удостоился приглашения на ужин.

Отшельник из меня вышел не ахти какой: я уходил в горы в поисках одиночества, а в итоге только и делал, что находил новых друзей. А, может, именно благодаря уединению каждая новая встреча обретала особую ценность. Днём, листая «Историю горы» Реклю, я прочёл: «Мой товарищ-пастух, единственный представитель человечества, от которого я бежал, мало-помалу стал мне необходим: всё больше проникался я к нему дружеским доверием. Я уже не просто был благодарен ему за то, что он меня кормил и заботился обо мне, но и старался узнать его ближе, научиться от него чему-нибудь. Знал он немного, но когда я полюбил природу, через него я познакомился с горой, где он пас свои стада и у подножия которой родился. Он называл мне растения, указывал утёсы, где можно было найти редкие кристаллы и камни, ходил со мною по опасным краям пропасти, чтобы показать мне путь в трудных местах. С высоты вершин он объяснял мне направление долин и течение потоков, а потом, когда мы возвращались в нашу закоптелую хижину, развлекал меня местными байками и преданиями».

В семь вечера забежал за лакомством Кургуз. Под его изумлённым взглядом я натянул джинсы и самую приличную клетчатую рубашку. Он привык видеть меня в шортах и дырявом свитере и не мог понять, чего я так вырядился. «Ну, чего смотришь? — спросил я. — Могут и меня на угощение позвать?» Затем я зашнуровал ботинки, прихватил бутылку Небболо, дожидавшуюся особого случая, почесал Кургуза за ухом и отправился в гости вверх по тропке.

Из переводов Игоря Волокитина

И. С. Волокитин родился и живет в Барнауле, закончил химический факультет Алтайского государственного университета. Работает в Сибирском центре безопасности труда инженером. Пишет стихи, рассказы, сказки. Занимается переводами, в основном с польского языка (harry_cherep@mail.ru)

Поэзия Виславы Шимборской (перевод с польского)

Wołanie do Yeti (1957). Buffo

Najpierw minie nasza miłość,
potem sto i dwieście lat,
potem znów będziemy razem:

komediantka i komediant,
ulubieńcy publiczności,
odegrają nas w teatrze.

Mała farsa z kupletami,
trochę tańca, dużo śmiechu,
trafny rys obyczajowy
i oklaski.

Będziesz śmieszny nieodparcie
na tej scenie, z tą zazdrością,
w tym krawacie.

Moja głowa zawrócona,
moje serce i korona,
głupie serce pękające
i korona spadająca.

Będziemy się spotykali,
rozstawali, śmiech na sali,
siedem rzek, siedem gór
między sobą obmyślali.

I jakby nam było mało
rzeczywistych klęsk i cierpień
– dobijemy się słowami.

Буффонада

Когда уйдёт от нас любовь,
Пройдут две сотни лет,
Потом мы снова будем вместе.

Артистка и артист,
Любимцы публики
Сыграют нас в комедии на сцене.

Чуть фарса, песен чуть,
Немного танца, смех
И безупречная игра.
Аплодисменты.

Вы будете смешны неимоверно
На этой сцене, с ревностью своей
И в галстукe вот этом.

Кружится голова.
Сердечко и корона.
Сердечко глупое замолкнет,
Корона упадёт к ногам.

Мы встретимся и разойдёмся.
Друг другу рук не можем протянуть,
А в зале — смех.
Семь рек, семь гор восстанут между
нами.

Страданий дождь обрушится с небес,
А нам и этого как будто мало,
И мы друг друга начинаем добивать
словами.

A potem się pokłonimy
i to będzie farsy kres.
Spektatorzy pójdą spać
ubawiwszy się do łez.

Oni będą ślicznie żyli,
oni miłość obłaskawią,
tygrys będzie jadł z ich ręki.

A my wiecznie jacyś tacy,
a my w czapkach z dzwoneczkami,
w ich dzwonenie barbarzyńsko
zasłuchani.

Dwie małpy Bruegla

Tak wygląda mój wielki naturalny sen:
siedzą w oknie dwie małpy przykute
łańcuchem,
za oknem fruwa niebo
i kąpie się morze.

Zdaję z historii ludzi.
Jąkam się i brnę.

Małpa wpatrzona we mnie, ironicznie
słucha,
druga niby to drzemie –
a kiedy po pytaniu nastaje milczenie,
podpowiada mi
cichym brząkaniem łańcucha.

Martwa natura z balonikiem

Zamiast powrotu wspomnień
w czasie umierania
zamawiam sobie powrót
pogubionych rzeczy.

Потом поклон,
Конец, на фарсе крест,
И публика уходит спать,
Смахнув забавы слёзы.

Течёт их жизнь в любви
Приятна и светла.
Их тигры корм берут из рук.

А мы — нелепо-вечные,
Мы в шапках с бубенцами.
В их звоне варварском
Звучит очарованье.

Две обезьяны с картины Брейгеля

Так выглядел когда-то мой великий
сон-экзамен:
Сидят в окне две обезьянки,
скованные цепью.
Парило небо за окном,
Купаясь, опускалось в море.

А я сдаю историю людей.
Чего-то бормочу и заикаюсь.

Та обезьяна, что повёрнута ко мне,
лукаво слушает.
Другая, вроде, спит.
Но только слышно в наступившей
тишине:
Она подсказывает мне
Своей оковы бряцаньем чуть
слышным.

Натюрморт с воздушным шаром

Не возвращение воспоминаний
В смертный час,
Себе устрою возвращение
Потерянных вещей.

Oknami drzwiami parasole,
walizki, rękawiczki, płaszcz,
żebym mogła powiedzieć:
Na co mi to wszystko.

Agrafki, grzebień ten i tamten,
róża z bibuły, sznurek, nóż,
żebym mogła powiedzieć:
niczego mi nie żal.

Gdziekolwiek jesteś kluczu,
staraj się przybyć w porę,
żebym mogła powiedzieć:
Rdza, mój drogi, rdza.

Spadnie chmura zaświadczeń,
przepustek i ankiet,
żebym mogła powiedzieć:
Słoneczko zachodzi.

Zegarku, wypłyn z rzeki,
pozwól się wziąć do ręki,
żebym mogła powiedzieć:
Udajesz godzinę.

Znajdzie się też balonik
porwany przez wiatr,
żebym mogła powiedzieć:
Tutaj nie ma dzieci.

Odfruń w otwarte okno,
odfruń w szeroki świat,
niech ktoś zawoła: O!
żebym zapłakać mogła.

Z nie odbytej wyprawy w Himalaje

Aha, więc to są Himalaje.
Góry, w biegu na księżyc.
Chwila startu utrwalona
na rozprutym nagle niebie.
Pustynia chmur przebita.
Uderzenie w nic.

В окно и двери: зонтик,
Перчатки, сумки, плащ,
Чтоб я могла сказать:
Зачем мне это всё.

Булавки, гребни — тот и этот,
Бумажные цветы, верёвки, нож,
Чтоб я могла сказать:
Мне ничего не жаль.

Спешит пропавший ключ,
Стараясь в срок прибыть,
Чтоб я могла сказать:
Ржа, дорогая, ржа.

Пройдёт из справок дождь,
Анкет и пропусков,
Чтоб я могла сказать,
Что солнышко заходит.

Часы всплывут в реке
И лягут в руку мне,
Чтоб я могла сказать:
Удачный час.

Найдётся старый шар,
Что ветром унесён,
Чтоб я могла сказать:
Детей здесь нет.

В открытое окно,
Порхну в широкий свет.
Пусть кто-то крикнет: O!
Чтоб я могла заплакать.

С несостоявшейся экспедиции в Гималаи

А вот и Гималаи.
Горы, что бегут к Луне.
Минута старта запечатлена
В разорванном внезапно небе.
Пустыня облаков пробита.
Удар в ничто.

Echo – biała niemowa.
Cisza.

Yeti, niżej jest środa,
abecadło, chleb
i dwa a dwa to cztery
i topnieje śnieg.
Jest czerwone jabłuszko
przekrojone na krzyż.

Yeti, nie tylko zbrodnie
są u nas możliwe.
Yeti, nie wszystkie słowa
skazują na śmierć.

Dziedziczymy nadzieję –
dar zapominania.
Zobaczysz jak rodzimy
dzieci na ruinach.

Yeti, Szekspira mamy.
Yeti, na skrzypcach gramy.
Yeti, o zmroku
zapalamy światło.

Tu – ni księżyc, ni ziemia
i łzy zamarzają.
O Yeti Półtwardowski,
zastanów się, wróć!

Tak w czterech ścianach lawin
wołam do Yeti
przytupując dla rozgrzewki
na śniegu
na wiecznym.

И эха белое безмолвье.
Тишина.

О, Йети, ниже есть среда,
Хлеб, азбука
И дважды два — четыре,
Там тает снег,
И яблоко румяное
Разрезано накрест.

Не только злодеянья, Йети,
У нас возможны,
Не только те слова,
Что говорятся к смерти.

Ведь мы — наследники надежды —
Дара забывать.
Увидишь сам, как на руинах
Играют наши дети.

Увидишь, Йети, есть у нас Шекспир,
На скрипках мы играем,
А сумерки придут –
Мы включим свет.

А здесь — и не Луна, и не Земля,
И слёзы замерзают.
О, Йети Полтвардовский*,
Одумайся, приди!

Так, в четырёх стенах лавин
Взываю к Йети,
Притопывая, чтоб согреться
На снегу
На вечном.

* Пан Твардовский — герой польских народных легенд, продавший душу дьяволу и ожидающий расплаты между небом и землёй. В Шимборска называет Йети — Полтвардовским, видимо, намекая на то, что, хоть он и живёт между небом и землёй, но в своё удовольствие, как пан Твардовский, он так и не пожил. — *Прим. пер.*

Sól (1962). Muzeum

Są talerze, ale nie ma apetytu.
Są obrączki, ale nie ma wzajemności
od co najmniej trzystu lat.

Jest wachlarz – gdzie rumieńce?
Są miecze – gdzie gniew?
I lutnia ani brzęknie o szarej godzinie.

Z braku wieczności zgromadzono
dziesięć tysięcy starych rzeczy.
Omszały woźny drzemie słodko
zwiesiwszy wąsy nad gablotką.

Metale, glina, piórko ptasie
cichutko tryumfują w czasie.
Chichocze tylko szpilka po śmieszce z
Egiptu.

Korona przeczekwała głowę.
Przegrała dłoń do rękawicy.
Zwyciężył prawy but nad nogą.

Co do mnie, żyję, proszę wierzyć.
Mój wyścig z suknią nadal trwa.
A jaki ona upór ma!
A jakby ona chciała przeżyć.

Kobiety Rubensa

Waligórzanki, żeńska fauna
jak łoskot beczek nagie.

Gnieźdzą się w stratowanych łóżach,
śpią z otwartymi do piania ustami.
Źrenice ich uciekły w głąb
i penetrują do wnętrza gruczołów,
z których się drożdże sączą w krew.

Музей

Есть тарелки, но нет аппетита.
Есть обручальные кольца, но
взаимности нет
Самое мало — лет триста.

Вот веер, а где же румянец?
Есть меч, только где же гнев?
И даже лютия не бренчит в час
сумерек.

В нехватке вечности здесь собраны
Десятки тысяч древних экспонатов.
Замшелый сторож дремлет сладко,
Усы его повисли над витриной.

Металлы, глина, перья птиц
Тихонько торжествуют в это время.
Смеётся лишь египетская шпилька.

Корона пережила короля.
Перчатка обыграла руку.
Ботинок правый ногу победил.

Что до меня, то я ещё живу, поверьте
мне.
И продолжаю свой забег с одеждой.
А как она упряма!
Как хочет победить.

Женщины Рубенса

Громадобокие, тип женской фауны,
Как грохот бочек обнажённых.

Гнездятся на растоптанных постелях
И засыпают, рот для кукареканья
открыв.
Зрачки их затекают вглубь
И проникают внутрь желёз,
С которых в кровь сочатся дрожжи.

Córy baroku. Tyje ciasto w dzieży,
parują łaźnie, rumienia się wina,
cwałują niebem prosięta obłoków,
rżą trąby na fizyczny alarm.

O rozdynione, o nadmierne
i podwojone odrzuceniem szaty,
i potrojone gwałtownością pozy
tłuste dania miłosne!

Ich chude siostry wstały wcześniej,
zanim się rozwidniło na obrazie.
I nikt nie widział, jak gęsiego szły
po niezamalowanej stronie płótna.

Wygnaniki stylu. Żebra przeliczone,
ptasia natura stóp i dłoni.
Na sterczących łopatkach próbują
ulecieć.

Trzynasty wiek dałby im złote tło.
Dwudziesty – dałby ekran srebrny.
Ten siedemnasty nic dla płaskich nie
ma.

Albowiem nawet niebo jest wypukłe,
wypukli aniołowie i wypukły bóg –
Febus wąsaty, który na spoconym
rumaku wjeżdża do wrzącej alkowy.

Ballada

To ballada o zabitej,
która nagle z krzesła wstała.

Ułożona w dobrej wierze,
napisana na papierze.

О, дочери барокко. Тесто
поднимается в квашне,
Повиснет бани пар, румянится вино,
По небу скачут поросята облаков,
Фанфары ржут телесную тревогу.

О, чрезмерные, раздутые,
Удвоенные сброшены покровы,
Утроенные от несдержанности позы
У этих жирных блюд любви.

Худые сёстры их проснулись раньше
Зари, взошедшей над изображеньем,
И двинулись гуськом, никем не
зримы,
По неокрашенному краю полотна.

Отверженницы стиля. Рёбра
перечтёны,
Природа птичья рук и стоп.
Торчащими лопатками пытаются
взлететь.

Столетие тринадцатое дало б им
золотое тело.
Двадцатое — серебряный экран.
А в том, семнадцатом нет ничего для
плоских.

Ведь даже небо выпукло,
И выпуклые ангелы, и пухлый бог —
Усатый Феб на лошади вспотевшей
Въезжает в булькающий от кипения
альков.

Баллада

То баллада об убитой,
Что внезапно с кресла встала.

И, записанная в строчки,
Оказалась на листке.

Przy nie zasłoniętym oknie,
w świetle lampy rzecz się miała.

Każdy, kto chciał, widzieć mógł.

Kiedy się zamknęły drzwi
i zabójca zbiegł ze schodów,
ona wstała tak jak żywi
nagłą ciszą obudzeni.

Ona wstała, rusza głową
i twardymi jak z pierścionka
oczami patrzy po kątach.

Nie unosi się w powietrzu,
ale po zwykłej podłodze,
po skrzypiących deskach stąpa.

Wszystkie po zabójcy ślady
pali w piecu. Aż do szczętu
fotografii, do imentu
sznurowadła z dna szuflady.

Ona nie jest uduszona.
Ona nie jest zastrzelona.
Niewidoczną śmierć poniosła.

Może dawać znaki życia,
płakać z różnych drobnych przyczyn,
nawet krzyczeć z przerażenia
na widok myszy.

Tak wiele

jest słabości i śmieszności
nietrudnych do podrobienia.

Ona wstała, jak się wstaje.

Ona chodzi, jak się chodzi.

Nawet śpiewa czesząc włosy,
które rosną.

В незашторенном окошке,
В свете лампы всё случилось.

Каждый, кто хотел, увидел.

В миг, когда закрылись двери
За убийцей убежавшим,
Она встала как живая
От внезапной тишины.

Шеей двинув, и глазами,
Твёрдыми как перстеньками
Всё глядела по углам.

И, не поднимаясь в воздух,
Проходила как обычно
По скрипучим доскам пола.

Все следы её убийцы
Пламенем в печи сгорели.
Всё: от фото, до шнурочков,
Что в шкафу на дне лежали.

Но её не задушили,
Но её не застрелили,
Очень странное убийство.

Есть ещё сигналы жизни,
Плач от мелких неурядиц,
Или крик её испуга
С вида мыши.

Ведь и чувства,

И волнение, и насмешки
Так годятся для подделки.

Она встала, как вставала.

Она ходит, как ходила.

И поёт, расчёсывая волосы,
Которые растут.

Wiersz ku czci

Był sobie raz. Wymyślił zero.
W kraju niepewnym. Pod gwiazdą
dziś może ciemną. Pomędzy datami,
na które któż przysięgnie. Bez imienia
nawet spornego. Nie pozostawiając
poniżej swego zera żadnej myśli złotej
o życiu, które jest jak. Ani legendy,
że dnia pewnego do zerwanej róży
zero dopisał i związał ją w bukiet.
Że kiedy miał umierać, odjechał w
pustynię
na stugarbnym wielbłądzie. Że zasnął
w cieniu palmy pierwszeństwa. Że się
zbudzi,
kiedy już wszystko będzie przeliczone
aż do ziarenka piasku. Cóż za człowiek.
Szczeliną między faktem a zmyśleniem
uszedł naszej uwagi. Odporny
na każdy los. Strąca ze siebie
każdą, jaką mu daje, postać.
Cisza zrosła się nad nim, bez blizny po
głosie.
Nieobecność przybrała wygląd
horyzontu.
Zero pisze się samo.

Sto pociech (1967). Radość pisania

Dokąd biegnie ta napisana sarna przez
napisany las?
Czy z napisanej wody pić,
która jej pyszczek odbije jak kalka?
Dlaczego łeb podnosi, czy coś słyszy?
Na pożyczonych z prawdy czterech

Стихотворенье в честь

Был как-то раз. Он взял, придумал
ноль.
В стране неведомой. Под звёздами,
Быть может, негорящими сегодня. И
промеж дат,
Что кто-то всё же чтит. И не
назвавшись,
Даже понарошку. И не оставив
больше ничего
Того ноля, и даже мысли золотой
О жизни, что идёт. И даже ни
легенды,
Что в один прекрасный день до розы
сорванной
Ноль дописал и завязал её в букет.
И что, когда он умирал, он отъезжал
в пустыню
На верблюде в сто горбов. И что
уснул
В тени, под пальмой первенства. И
что проснётся,
Когда все будут пересчитаны
До зёрнышка пески. И этот человек –
Расщелина меж фактами и
измышленьем
Вниманья нашего бежал. Остался
стойк
К участи любой. И к столкновению
С собой, которое его проявит форму.
И тишина срослась над ним, без
шрама голоса.
Небытие вдруг стало горизонтом.
Ноль написался сам.

Радость письма

Куда бежит написанная лань между
написанных деревьев?
Разве написанной воды испить,
Которая как калька отразит её
мордашку?
И для чего поводит головой, ведь

nózkach wsparta
spod moich palców uchem strzyże.
Cisza – ten wyraz też szeleści po
papierze
i rozgarnia
spowodowane słowem „las” gałęzie.

Nad białą kartką czają się do skoku
litery, które mogą ułożyć się źle,
zdania osaczające;
przed którymi nie będzie ratunku.

Jest w kropli atramentu spory zapas
myśliwych z przymrużonym okiem,
gotowych zbiec po stromym piórze w
dół,
otoczyć sarnę, złożyć się do strzału.

Zapominają, że tu nie jest życie.
Inne, czarno na białym, panują tu
prawa.
Oka mgnienie trwać będzie tak długo,
jak zechcę,
pozwoli się podzielić na małe
wieczności
pełne wstrzymanych w locie kul.
Na zawsze, jeśli każę, nic się tu nie
stanie.
Bez mojej woli nawet liść nie spadnie
ani źdźbło się nie ugnie pod kropką
kopytka.

Jest więc taki świat,
nad którym los sprawuję niezależny?
Czas, który wiąże łańcuchami znaków?
Istnienie na mój rozkaz nieustanne?

Radość pisania.
Możność utrwalania.
Zemsta ręki śmiertelnej.

разве слышит что?
На данных правдою взаймы четырёх
ножках,
Из под моей руки стрижёт ушами.
Вот тишина — и это слово так же
шелестит с бумаги
И раздвигает
Воздвигнутые словом «лес» кусты.

Над белым листиком готовятся к
атаке
Буквы, что могут сложиться к беде
Во фразы окруженья;
От них не будет никому пощады.

Есть в капельке чернил большой
запас
Охотников, прищуривших глаза,
Готовых ринуться с пера крутого
вниз,
Сложиться в стрелы, окружая лань.

Забыв, что всё это не жизнь,
Иное, чёрное на белом, я окунусь в
другой закон.
Мгновенье ока будет длиться,
сколько захочу,
Я поделю его на маленькие вечности,
Исполненные замерших в полёте
пуль.
А если я решу, что ничего не будет –
Без моей воли даже лист не упадёт,
И стебелёк не склонится под точкою
копытца.

Есть мир такой,
Что не зависит от судьбы?
И время скованное символами
знаков?
Существование по моему велению?

Радость письма.
Запечатления возможность.
И воздаянье хватке смертной.

Dworzec

Nieprzyjazd mój do miasta N.
odbył się punktualnie.

Zostałeś uprzedzony
niewysłanym listem.

Zdażyłeś nie przyjść
w przewidzianej porze.

Pociąg wjechał na peron trzeci.
Wysiadło dużo ludzi.

Uchodził w tłumie do wyjścia
brak mojej osoby.

Kilka kobiet zastąpiło mnie
pośpiesznie
w tym pośpiechu.

Do jednej podbiegł
ktoś nie znany mi,
ale ona rozpoznała go
natychmiast.

Oboje wymienili
nie nasz pocałunek,
podczas czego zginęła
nie moja walizka.

Dworzec w mieście N.
dobrze zdał egzamin
z istnienia obiektywnego.

Całość stała na swoim miejscu.
Szczegóły poruszały się
po wyznaczonych torach.

Odbyło się nawet
umówione spotkanie.

Poza zasięgiem
naszej obecności.

Вокзал

Моё неотправленье в город N
Случилось пунктуально.

Предупреждён
Невысланным письмом,

Успел ты не прийти
В назначенное время.

Состав пришёл на третий путь.
И много вышло лиц.

Отправилось в толпе
Отсутствие моей особы.

И, заменившие меня, шли женщины
Поспешно
В этой спешке.

Бежал к одной из них,
Не знаю кто.
И ведь она его узнала
Сразу.

Они устроили обмен
Чужими поцелуями,
И после этого исчезла
Сумка не моя.

Вокзал в местечке N
Экзамен сдал
На объективную реальность.

Всё основное оставалось на местах.
Лишь мелочь всякая спешила,
В согласье с неким планом.

Свершилась образом таким
Условленная встреча.

Вдали от нас самих,
Без нашего присутствия.

W raju utraconym
prawdopodobieństwa.

Gdzie indziej.
Gdzie indziej.
Jak te słówka dźwięczą.

Monolog dla Kasandry

To ja, Kasandra.
A to jest moje miasto pod popiołem.
A to jest moja laska i wstążki prorockie.
A to jest moja głowa pełna wątpliwości.

To prawda, tryumfuję.
Moja racja aż łuną uderzyła w niebo.
Tylko prorocy, którym się nie wierzy,
mają takie widoki.
Tylko ci, którzy źle zabrali się do
rzeczy,
i wszystko mogło spełnić się tak
szybko,
jakby nie było ich wcale.

Wyraźnie teraz przypominam sobie,
jak ludzie, widząc mnie, milkli w pół
słowa.
Rwał się śmiech.
Rozplatały się ręce.
Dzieci biegły do matki.
Nawet nie znałam ich nietrwałych
imion.
A ta piosenka o zielonym listku –
nikt jej nie kończył przy mnie.

Kochałam ich.
Ale kochałam z wysoka.
Sponad życia.
Z przyszłości. Gdzie zawsze jest pusto
i skąd cóż łatwiejszego jak zobaczyć
śmierć.
Żałuję, że mój głos był twardy.
Spójrzcie na siebie z gwiazd –

В раю утратившем
Правдоподобие.

Gdzie indziej.
Где-то там.
Где звон от этих слов.

Монолог для Кассандры

Вот я, Кассандра.
А это мой город под пеплом.
А это мой посох и ленты пророчицы.
А это моя голова сомнений полная.

Вот так, торжествую.
Свет моей правоты струится заревом
небо.
Лишь у пророков, которым не верят,
Бывают такие виденья.
Лишь у таких, что плохо разбираются
в вещах,
Могло бы всё исполниться так
быстро,
Как будто бы его и не было совсем.

Теперь я вспоминаю ясно,
Как люди замолкали, увидав меня, на
полуслове.
Как обрывался смех.
Как расцеплялись руки.
И убегали дети к матерям
Так быстро, что не успевала узнавать
имён недолговечных.
И эту песенку о листике зелёном
Никто мне не допел.

Я их любила.
Но любила свысока.
Поверх их жизни.
Из будущего. Где одиночество,
И проще видеть смерть.
Жалею, что мой голос был суров.
Смотрите на себя со звёзд, —

wołałam –
spójrzcie na siebie z gwiazd.
Słyszeli i spuszczały oczy.

Żyli w życiu.
Podszyty wielkim wiatrem.
Przesądzeni.
Od urodzenia w pożegnalnych ciałach.
Ale była w nich jakaś wilgotna nadzieja,
własną migotliwością sycący się
płomyk.
Oni wiedzieli, co to takiego jest chwila,
och bodaj jedna jakakolwiek
zanim –
Wyszło na moje.
Tylko że z tego nie wynika nic.
A to jest moja szatka ogniem osmalona.
A to są moje prorockie rupiecie.
A to jest moja wykrzywiona twarz.
Twarz, która nie wiedziała, że mogła
być piękną

Tarsjusz

Ja tarsjusz syn tarsjusza,
wnuk tarsjusza i prawnuk,
zwierzątko małe, złożone z dwóch
żrenic
i tylko bardzo już koniecznej reszty;
cudownie ocalony od dalszej przeróbki,
bo przysmak ze mnie żaden,
na kołnier są więksi,
gruczoły moje nie przynoszą szczęścia,
koncerty odbywają się bez moich jelit;
ja tarsjusz
siedzę żywy na palcu człowieka.

Dzień dobry, wielki panie,
co mi za to dasz,
że mi niczego nie musisz odbierać?
Swoją wspaniałomyślność czym mi
wynagrodzisz?
Jaką mi, bezcennemu, przyznasz cenę
za pozowanie do twoich uśmiechów?

взывала, —
Смотрите на себя со звёзд.
Они всё слышали, но опускали очи.

И жили жизнью.
Великим ветром подвижны вперёд.
И высажены как рассада.
С рожденья в умирающих телах.
А может быть была в них тихая
надежда,
Мерцающий и слабый огонёк.
Они разглядывали каждое мгновенье,
Искали что-нибудь за ним
Пока –
По моему не вышло.
И только с этого не вышло ничего.
А это мой наряд, что опалён огнём.
А это мусор мой, пророческий.
А это искажённое лицо моё.
Лицо, которое не знало, что быть
могло красивым

Долгопят

Я долгопят, сын долгопята,
Внук долгопята и правнук,
Зверёныш малый, сложенный из двух
зрачков,
Плюс небольшой остаток,
Спасённый чудом от природного
отбора,
Как оснащение негодный никуда.
Сижу в ошейнике,
И железы мои мне не приносят
счастья.
Концерты проведутся без моих
кишок.
Ядолгопят
Сижу живой на пальце человека.

День добрый вам, великий господин.
Что вы дадите мне за то,
Что ничего я не могу иметь?
Чем, ваша милость, вам меня
вознаградить?

Wielki pan dobry –
wielki pan łaskawy –
któż by mógł o tym świadczyć, gdyby
brakło
zwierząt niewartych śmierci?
Wy sami może?
Ależ to, co już o sobie wiecie,
starczy na noc bezsenną od gwiazdy do
gwiazdy.

I tylko my nieliczne, z futer nie odarte,
nie zdjęte z kości, nie strącone z piór,
uszanowane w kolcach, łuskach, rogach,
kłach,
i co tam które jeszcze ma
z pomysłowego białka,
jesteśmy – wielki panie – twoim snem,
co uniewinnia cię na krótką chwilę.

Ja tarsjusz, ojciec i dziadek tarsjusza,
zwierzątko małe, prawie że półczegoś,
co jednak jest całością od innych nie
gorszą;
tak lekki, że gałązki wznoszą się pode
mną
i mogłyby mnie dawno w niebo wziąć,
gdybym nie musiał raz po raz
spadać kamieniem z serc
ach, roztkliwionych;
ja tarsjusz
wiem, jak bardzo trzeba być tarsjuszem.

Какую мне, бесценному, присудите
вы цену
За все старанья для улыбок ваших?

Великий господин хорош,
Великий господин доброжелателен
весьма,
И кто бы это подтвердил, когда бы не
было
Зверушек недостойных смерти?
Вот вы смогли бы?
Или того, что вам известно о себе,
На ночь бессонную хватает от звезды
и до звезды.

И только мы, немногие, что в шкурах,
неотобранных у нас,
Не сняты с кости и не выбиты из
перьев,
Достоинство храня в рогах, клыках,
шипях,
И что ещё там кто имеет
Из хитрого белка.
Мы служим вам, большие дамы, всем
вашим помыслам.
Доказываем вашу невиновность на
короткий миг.

Я долгопят, отец и дедушка,
Зверёныш малый, половинка от чего-
то,
Однако, целое иных не хуже.
Так лёгок я, что веточки растут, меня
не замечая,
И уж давно меня могли бы в небо
взять,
Когда б ни должен раз за разом
Я камнем опадать с сердец,
О ах, растроганных.
Я долгопят
Я знаю, как много нужно, чтоб быть
долгопятом.

Ruch

Ty tu płaczesz, a tam tańczą.
A tam tańczą w twojej łzie.
Tam się bawią, tam wesoło,
Tam nie wiedzą nic a nic.
Omalże migoty luster.
Omalże płomyki świec.
Prawie schodki i krużganki.
Jakby mankiet, jakby gest.
Ten lekkoduch wodór z tlenem.
Te gagatki chlor i sól.
Fircyk azot w korowodach
spadających, wzlatujących,
wirujących pod kopułą.
Ty tu płaczesz, w to im grasz.
Eine kleine Nachtmusik.
Kim jesteś piękna maseczko.

Wszelki wypadek (1972).

Wrażenia z teatru

Najważniejszy w tragedii jest dla mnie
akt szósty:
zmartwychwstawanie z pobojowisk
sceny,
poprawianie peruk, szatek,
wyrywanie noża z piersi,
zdejmowanie pętli z szyi,
ustawianie się w rzędzie pomiędzy
żywymi
twarzą do publiczności.

Ukłony pojedyncze i zbiorowe:
biała dłoń na ranie serca,
dyganie samobójczyni,
kiwanie ściętej głowy.

Ukłony parzyste:
wściekłość podaje ramię łagodności,
ofiara patrzy błogo w oczy kata,
buntownik bez urazy stąpa przy boku
tyrana.

Движение

Ты плачешь, а там танцуют.
Там танец, в твоей слезинке
Веселье идёт и забава,
Не ведают там ни о чём.
Там чуть зеркала мерцают,
Горят огоньки свечей
Вдоль лестниц и входа в подъезд.
И как бы рука в манжете
Изогнута как бы в жест.
Там ветрогон водород с кислородом,
Баловни натрий и хлор,
Франт и пижон азот в хороводах,
Мчащихся вниз и вверх,
Кружащихся под куполами.
Тут ты плачешь, а там играешь
Моцарта серенаду.
Кто ты прекрасная в маске?

Впечатление от театра

Наиглавнейшее в трагедии мне
действие шестое:
Восстание из мёртвых, что со сцен
побоищ,
В порядок приведенье париков,
одежд,
Ножа выхватыванье из груди
И снятие петли с шеи,
Вставанье в ряд, среди живых
И к публике лицом.

Поклоны сольные, совместные затем,
И белая ладонь на ране сердца,
Самоубийцы реверанс,
Киванье отсечённой головы.

Поклоны парные:
Тут бешенство протянет руку
кротости,
Блаженно жертва смотрит в очи
палача,
Бунтарь ступает без обиды сбоку от
тирана.

Deptanie wieczności noskiem złotego
trzewiczka.
Rozpędzanie morałów rondem
kapelusza.
Niepoprawna gotowość rozpoczęcia od
jutra na nowo.

Wejście gęsiego zmarłych dużo
wcześniej,
bo w akcie trzecim, czwartym, oraz
pomiędzy aktami.
Cudowny powrót zaginionych bez
wieści.

Myśl, że za kulisami czekali cierpliwie,
nie zdejmując kostiumu,
nie zmywając szminki,
wzrusza mnie bardziej niż tyrady
tragedii.

Ale naprawdę podniosłe jest opadanie
kurtyny
i to, co widać jeszcze w niskiej szparze:
tu oto jedna ręka po kwiat spiesznie
sięga,
tam druga chwyta upuszczony miecz.
Dopiero wtedy trzecia, niewidzialna,
spełnia swoją Powinność:
ściska mnie za gardło.

Zdumienie

Czemu w znanadto jednej osobie?
Tej a nie innej? I co tu robię?
W dzień co jest wtorkiem? W domu nie
gnieździe?
W skórze nie łusce? Z twarzą nie
liściem?
Dlaczego tylko raz osobiście?
Właśnie na ziemi? Przy małej
gwieździe?
Po tylu erach nieobecności?
Za wszystkie czasy i wszystkie glony?

Топтанье вечности носком золотого
башмачка.
Развеянье моралей полями шляпы.
Неисправимая готовность начать всё
заново и с завтрашнего дня.

И выход вереницей умерших намного
раньше,
Когда-то в акте третьем и четвёртом,
или где-то между.
Чудесное явление пропавших без
вести.

Та мысль, что за кулисой терпеливо
ждут,
Костюма не снимая,
Не смывая грима,
Меня волнует больше, чем трагедии
тирады.

И вот, когда на самом деле занавес
падёт,
Что будет видно в маленькую щелку:
Одна рука поспешно тянется к
цветку,
А там другая схватит обронённый
меч,
Потом лишь только третья, незримо,
Свой исполняя долг,
Вцепляется, сжимая моё горло.

Изумление

Вот почему бывает много одного?
И почему того, а не другого? И что
тут делать?
В день, который вторник? И в доме,
не в гнезде?
И в коже, а не в чешуе? С лицом, а не
листом?
И лично с ним, один лишь только
раз?
И непременно на Земле? Под
маленькой звездой?

Za jamochłony i nieboskłony?
Akurat teraz? Do krwi i kości?
Sama u siebie z sobą? Czemu
nie obok ani sto mil stąd,
nie wczoraj, ani sto lat temu
siedzę i patrzę w ciemny kąt
– tak jak z wzniesionym nagle łbem
patrzy warczące zwane psem?

Klasyk

Kilka grud ziemi a będzie zapomniane
życie.
Muzyka wyswobodzi się z okoliczności.
Ucichnie kaszel mistrza nad menuetami.
I oderwane będą kataplazmy.
Ogień strawi perukę pełną kurzu i wszy.
Znikną plamy inkaustu z koronkowego
mankietu.
Pójdą na śmietnik trzewiki, niewygodni
świadkowie.
Skrzypce zabierze sobie uczeń najmniej
zdolny.
Powymowane będą z nut rachunki od
rzeźnika.
Do mysich brzuchów trafią listy biednej
matki.
Uniestwiona zgaśnie niefortunna
miłość.
Oczy przestaną łzawić.
Różowa wstążka przyda się córce
sąsiadów.
Czasy, chwalić Boga, nie są jeszcze
romantyczne.
Wszystko, co nie jest kwartetem,
będzie jako piąte odrzucone.
Wszystko, co nie jest kwintetem,

И после стольких эр небытия?
За всякие часы и водоросли всякие?
И за кишечнополостных и
небосклон?
Вот именно сейчас? До крови и
костей?
Сам у себя с собою? Почему
Не рядом или миль за сто,
И не вчера иль сотню лет назад
Сижу, разглядывая тёмный угол,
Вдруг зарычу и дёрну головой.
Меня окликнул кто-то, оторвав от
дум.
Гляжу на своё тело с изумленьем
И вижу тело пса.

Классик

Несколько комьев земли, и будет
забыта жизнь.
Музыка освободится от
обстоятельств.
Утихнет кашель мастера над
менуэтами.
Оторван будет пластырь.
Огонь сжуёт парик, покрытый пылью
и кишаций вшами.
Исчезнут пятна с кружева манжет.
Пойдут на свалку башмаки,
свидетели ненужных сцен.
А скрипку заберёт паршивый ученик.
Из нот достанут счёт от мясника.
В мышинном брюхе сгинет
письмо несчастной
матери.
И будет стёрто угасание
неразделённой страсти.
И очи перестанут слёзы лить.
А ленту розовую ветер сдует к
дочкиным соседям.
Хотя бы, слава богу, ещё не
романтизма времена.
И всё, что не является квинтетом,
Как пятое отброшенное будет.

będzie jako szóste zdmuchnięte.
Wszystko, co nie jest chórem
czterdziestu aniołów,
zmilknie jako psi skowyt i czkawka
żandarma.
Zabrany będzie z okna wazon z
aloesem,
talerz z trutką na muchy i słoik z
pomadą,
i odsłoni się widok – ależ tak! – na
ogród,
ogród, którego nigdy tu nie było.
No i teraz słuchajcie, słuchajcie,
śmiertelni,
w zdumieniu pilnie nadstawiajcie ucha,
o pilni, o zdumieni, o zasłuchani
śmiertelni,
słuchajcie – słuchający – zamienieni w
słuch –

Cebula

Co innego cebula.
Ona nie ma wnętrzości.
Jest sobą na wskroś cebula
do stopnia cebuliczności.
Cebulasta na zewnątrz,
cebulowa do rdzenia,
mogłaby wejrzeć w siebie
cebula bez przerażenia.

W nas obczyzna i dzikość
ledwie skórą przykryta,
inferno w nas interny,
anatomia gwałtowna,
a w cebuli cebula,
nie pokrętne jelita.
Ona wielekroć naga,
do głębi itympodobna.

Byt niesprzeczny cebula,
udany cebula twór.

А всё, что не является квинтетом,
Незримый ветер сдует как шестое.
А всё, которое не хор сорока ангелов,
Умолкнет, как скулёж собак и
полицейского икота.
Так уберут с окна вазон с алоэ,
Тарелочку с отравою для мух и
баночку помады для волос,
И вид откроется — ещё какой! — на
сад,
На сад, которого здесь не было
доныне.
Ну, а теперь послушайте,
послушайте, подверженные смерти,
Внимательно и срочно подставляйте
уши.
О вы, усердные, о изумлённые, о вы,
внимающие смертные,
Послушайте — и вслушиваясь —
превратитесь в слух –

Лук

Вот что другое — лук.
Без внутренностей он.
Он — луковка насквозь,
До луковичной степени.
Снаружи луковаст,
И луковый внутри,
Он мог бы заглянуть в себя
Без страха.

В нас чужеродие и дикость
Чуть шкурою прикрыты,
В нас медицинский ад,
Насилье анатомии,
А в луке только лук,
Не скрученный в кишки.
Он многократно наг
И глубоко себе подобен.

Существование лука несомненно,
Нет луковки удачней существа.

W jednej po prostu druga,
w większej mniejsza zawarta,
a w następnej kolejna,
czyli trzecia i czwarta.
Dośrodkowa fuga.
Echo złożone w chór.

Cebula, to ja rozumiem:
najnadobniejszy brzuch świata.
Sam się aureolami
na własną chwałę oplata.
W nas – tłuszcz, nerwy, żyły,
śluzy i sekretności.
I jest nam odmówiony
idiotyzm doskonałości.

Jablonka

W raju majowym, pod piękną jablonką,
co się kwiatami, jak śmiechem zanoszą,

pod nieświadomą dobrego i złego,
pod wzruszającą na to gałęziami,

pod niczyją, ktokolwiek powie o niej
moja;
pod obciążoną tylko przecuciem
owocu,

pod nieciekawą, który rok, jaki kraj,
co za planeta i dokąd się toczy,

pod tak mało mi krewną, tak bardzo mi
inną,
że ani nie pociesza mnie, ani przeraża,

pod obojętną cokolwiek się stanie,
pod drżącą z cierpliwości każdym
listkiem,

pod niepojętą, jakby mi się śniła,
albo śniło się wszystko oprócz niej
zbyt zrozumiale i zarozumiale –

В одной другая просто,
В большую меньшая заключена,
А в следующую очередная,
А там и третья, и четвёртая.
Центростремительная fuga.
И эхо, сложенное в хор.

Вот лук, я это понимаю:
Наиизыщнейшее чрево мира.
Он — воплощение ореолов
Славы собственной.
В нас — жир и жилы, нервы,
Слизи и секреты.
И мы же отрицаем
Глупость совершенства.

Яблонька

В майском раю, под яблонькой
прекрасной,
Что цветами себя как смехом укрыла,

Под неведомой зла и добра,
Под волнующимися от этого ветками,

Под ничьей, о которой кто-то
скажет — моя;
Под беременной только
предчувствием яблочка,

Под неинтересующейся что за время,
что за страна,
Что за планета, и куда она катится,

Под родной мне чуть-чуть и чужой
бесконечно,
Что не радует и не пугает меня,

Под равнодушной к тому, что
останется,
Под дрожащей от ожидания каждым
листочком,

pozostać jeszcze, nie wracać do domu.
Do domu wracać chcą tylko
więźniowie.

Ludzie na moście (1986)
Krótkie życie naszych przodków

Niewielu dożywało lat trzydziestu.
Starość to był przywilej kamieni i
drzew.
Dzieciństwo trwało tyle co
szczeniństwo wilków.
Należało się śpieszyć, zdążyć z życiem
nim słońce zajdzie,
nim pierwszy śnieg spadnie.

Trzynastoletnie rodzicielki dzieci,
czteroletni tropiciele ptasich gniazd w
sitowiu,
dwudziestoletni przewodnicy łowów –
dopiero ich nie było, już ich nie ma.
Końce nieskończoności zrastały się
szybko.
Wiedzmy żuły zaklęcia
wszystkimi jeszcze zębami młodości.
Pod okiem ojca mężniał syn.
Pod oczodołem dziadka wnuk się rodził.

A zresztą nie liczyli sobie lat.
Liczyli sieci, garnki, szałas, topory.
Czas, taki hojny dla byle gwiazdy na
niebie,
wyciągał do nich rękę prawie pustą
i szybko cofał ją, jakby mu było szkoda.
Jeszcze krok, jeszcze dwa
wzdłuż połyskliwej rzeki,
co z ciemności wypływa i w ciemności
znika.

Под недостижимостью, как бы мне не
желалось,
Или снилось всякое кроме неё,
Такое отчётливое и недостижимое —

Как возвращенье домой.
Возвращения домой желают лишь
пленники.

Короткая жизнь наших предков

Немногие доживали до трёх десятков
лет.
А старость была уделом деревьев и
камней.
И детство длилось не больше
щенячества волков.
Должно было спешить, за жизнью
гнаться,
Солнце его заходило,
Первый снег его выпадал.

Тринадцатилетние родительницы
детей,
Четырёхлетние следопыты гнёзд в
камышках,
Двадцатилетние предводители
охотников —
Только что их ещё не было, и вот уже
их нет.
Концы бесконечности срастались
быстро.
Ведьмы жевали заклятья
Всеми ещё молодыми зубами.
Сын мужал перед глазами отца.
Внук рождался перед глазами
деда.

А впрочем, они не считали годы свои.
Считали лишь сети, горшки, шалаши,
топоры.
Время, такое щедрое к маленькой
звёздочке в небе,
Тянуло к ним руку, почти
совершенно пустую

Nie było ani chwili do stracenia.
pytań do odłożenia i późnych objawień,
o ile nie zostały zawczasu doznane.
Mądrość nie mogła czekać siwych
włosów.
Musiała widzieć jasno, nim stanie się
jasność,
i wszelki głos usłyszeć, zanim się
rozlegnie.

Dobro i zło –
wiedzieli o nim mało, ale wszystko:
kiedy zło tryumfuje, dobro się utaja;
gdy dobro się objawia, zło czeka w
ukryciu.
Jedno i drugie nie do pokonania
ani do odsunięcia na bezpowrotną
odległość.
Dlatego jeśli radość, to z domieszką
trwogi,
jeśli rozpacz, to nigdy bez cichej
nadziei.
Życie, choćby i długie, zawsze będzie
krótkie.
Zbyt krótkie, żeby do tego coś dodać.

И быстро одёргивало, словно боялось
ущерба.
Ещё шаг, ещё два
Вдоль блестящей реки,
Что выплыла из темноты и в темноте
исчезает.

Мгновения не оставалось, чтоб
впустую тратить.
Все вопросы копились для будущих
откровений,
В то время никто не искал к ним
ответа.
Мудрость не могла дожидаться седых
волос.
Она должна была видеть ясно, и всё
становилось ясным,
И слышала каждый голос, прежде
чем он зазвучал.

Добро и зло —
Об этом знали немногое или же всё:
Если зло торжествует, добро
затаится,
Если добро появляется, ждёт в
укрытии зло.
Ни одно, ни другое не достигнет
победы
Или ухода на непреодолимое
отдаление.
Поэтому радость несёт в себе
примесь тревоги,
А если приходит отчаянье, то не без
тихой надежды.
Жизнь постоянно, даже долгая, будет
короткой.
Слишком короткой, чтоб к этому что-
то добавить.

Tortury

Nic się nie zmieniło.
Ciało jest bolesne,
jeść musi i oddychać powietrzem, i
spać,
ma cienką skórę, a tuż pod nią krew,
ma spory zasób zębów i paznokci,
kości jego łamliwe, stawy rozciągliwe.
W torturach jest to wszystko brane pod
uwagę.

Nic się nie zmieniło.
Ciało drży, jak drżało
przed założeniem Rzymu i po założeniu,
w dwudziestym wieku przed i po
Chrystusie,
tortury są, jak były, zmaląa tylko
ziemia
i cokolwiek się dzieje, to tak jak za
ścianą.

Nic się nie zmieniło.
Przybyło tylko ludzi,
obok starych przewinień zjawily się
nowe,
rzeczywiste, wmówione, chwilowe i
żadne,
ale krzyk, jakim ciało za nie odpowiada,
był, jest i będzie krzykiem niewinności,
podług odwiecznej skali i rejestru.

Nic się nie zmieniło.
Chyba tylko maniery, ceremonie, tańce.
Ruch rąk osłaniających głowę
pozostał jednak ten sam.
Ciało się wije, szarpie i wyrywa,
ścięte z nóg pada, podkurcza kolana,
sinieje, puchnie, ślini się i broczy.

Nic się nie zmieniło.
Poza biegiem rzek,
linią lasów, wybrzeży, pustyni i
lodowców.

Пытки

Ничто не изменилось.
Тело до сих пор болезненно,
Есть должно и воздухом дышать, и
спать.
Имеется тонкая кожа и кровь
недалеко от неё,
Имеется полный набор зубов и
ногтей,
Кости хрупки, растяжений боятся
суставы.
В пытках всё это не обойдётся
вниманьем.

Ничто не изменилось.
Тело дрожит, как дрожало
До основания Рима и после его
основанья,
В веке двадцатом до и после прихода
Христа,
Пытки остались, как были,
уменьшилась только Земля,
Так что, если случается что, то будто
за стенкой.

Ничто не изменилось.
Прибавилось только людей,
Вместе со старыми преступлениями
появились другие:
Реальные, вымышленные, настоящие
и никуда не годные,
Но крик, которым тело отзывается,
Был, есть и будет криком
невиновности,
Согласно извечной шкале и реестру.

Ничто не изменилось.
Быть может лишь манеры, церемонии
и танцы.
Движенья рук в защиту головы
Осталось тем же.
Тело извивается, рвётся и
вырывается,

Wśród tych pejzaży duszyczka się
snuje,
znika, powraca, zbliża się, oddala,
sama dla siebie obca, nieuchwytna,
raz pewna, raz niepewna swojego
istnienia,
podczas gdy ciało jest i jest i jest
i nie ma się gdzie podziąć.

Koniec i początek (1993)

Koniec i początek

Po każdej wojnie
ktoś musi posprzątać.
Jaki taki porządek
sam się przecież nie zrobi.

Ktoś musi zepchnąć gruzy
na pobocza dróg,
żeby mogły przejechać
wozy pełne trupów.

Ktoś musi grzęznąć
w szlamie i popiele,
sprężynach kanap,
drzazgach szkła
i krwawych szmatach.

Ktoś musi przywlec belkę
do podparcia ściany,
ktoś oszklić okno
i osadzić drzwi na zawiasach.

А отсечённое падает с ног,
подогнувши колени,
Пухнет, синее, слюни пускает и
кровь.

Ничто не изменилось.
За бегом рек,
За линией лесов и побережий,
пустынь и ледников,
Среди пейзажей этих душонка
бродит.
То исчезает, возвращается, то
приближается, то удаляется,
Сама себе чужая и неуловимая,
То с верой, то без веры в своё
существование,
А в то же время тело есть, и есть, и
есть,
И никуда не денется.

Конец и начало

После каждой войны
Должен кто-то прибраться.
Так как порядок
Сам собой не наступит.

Кто-то должен убрать
Щебень к краю дорог,
Чтобы проехать могли
Телеги полные трупов.

Кто-то должен увязнуть
В иле и пепле,
Диванных пружинах,
Осколках стекла
И кровавых лохмотьях.

Кто-то должен балку нести,
Чтобы стену подпереть,
Кто-то окно застеклить,
Двери вставить в навесы.

Fotogeniczne to nie jest
i wymaga lat.
Wszystkie kamery wyjechały już
na inną wojnę.

Mosty trzeba z powrotem
i dworce na nowo.
W strzępach będą rękawy
od zakasywania.

Ktoś z miotłą w rękach
wspomina jeszcze jak było.
Ktoś słucha
przytakując nie urwaną głową.
Ale już w ich pobliżu
zaczną kręcić się tacy,
których to będzie nudzić.

Ktoś czasem jeszcze
wykopie spod krzaka
przeżarte rdzą argumenty
i poprzemieni je na stos odpadków

Ci, co wiedzieli
o co tutaj szło,
muszą ustąpić miejsca tym,
co wiedzą mało.
I mniej niż mało.
I wreszcie tyle co nic.

W trawie, która porosła
przyczyny i skutki,
musi ktoś sobie leżeć
z kłosem w zębach
i gapić się na chmury.

Nienawiść

Spójrzcie, jaka wciąż sprawna,
jak dobrze się trzyma
w naszym stuleciu nienawiści.
Jak lekko bierze wysokie przeszkody.
Jakie to łatwe dla niej – skoczyć,
dopaść.

Это не фотогенично
И требует годы,
А камеры едут уже
На другую войну.

Мосты вернутся заново
И станции.
Порвутся в клочья рукава
Засученные.

Кто-то с метлой в руках
Ещё помнит, как было.
Кто-то прислушивается,
Кивая неотрванной головой.
Но скоро и около них
Начнут появляться такие,
Которым это будет скучно.

А там и кто-нибудь ещё
Наткнётся под кустом
На съеденные ржавчиною аргументы
И бросит их на кучу хлама.

Кто знал
О том, что было здесь,
Уступят место тем,
Кто знает чуть,
И тем, кто меньше, чем чуть-чуть,
И, наконец, тому, кто ничего не
знает.

В траве, которой поросли
Причины и последствия,
Заляжет кто-то
С колосом в зубах
И будет пялиться на тучи.

Ненависть

Смотрите, какая вся ловкая,
И как прекрасно держится
В нашем столетии ненависть.
Как легко берёт высокие преграды.
Как просто это ей — подпрыгнуть и
догнать.

Nie jest jak inne uczucia.
Starsza i młodsza od nich równocześnie.
Sama rodzi przyczyny,
które ją budzą do życia.
Jeśli zasypia, to nigdy snem wiecznym.
Bezsensowność nie odbiera jej sił, ale
dodaje.

Religia nie religia –
byle przykleknąć na starcie.
Ojczyzna nie ojczyzna –
byle się zerwać do biegu.
Niezła i sprawiedliwość na początek.
Potem już pędzi sama.
Nienawiść. Nienawiść.
Twarz jej wykrzywia grymas
ekstazy miłosnej.

Ach, te inne uczucia –
cherlawe i ślamazarne.
Od kiedy to braterstwo
może liczyć na tłumy?
Współczucie czy kiedykolwiek
pierwsze dobiło do mety?
Zwątpienie ilu chętnych porywa za
sobą?
Porywa tylko ona, która swoje wie.

Zdolna, pojętna, bardzo pracowita.
Czy trzeba mówić ile ułożyła pieśni.
Ile stronic historii ponumerowała.
Ile dywanów z ludzi porozpościerała
na ilu placach, stadionach.

Nie okłamujmy się:
potrafi tworzyć piękno.
Wspaniałe są jej łuny czarną nocą.
Świetne kłęby wybuchów o różanym
świecie.
Trudno odmówić patosu ruinom
i rubasznego humoru
krzepko sterczącej nad nimi kolumnie.

Она не такая, как другие чувства.
Она и старше, и моложе их
одновременно.
Сама себе родит причину,
Что её побуждает к жизни.
И если засыпает, то не вечным сном.
Бессонница не отбирает сил её, а
придаёт.
Религия не религия —
Лишь повод, замереть на старте,
Отчизна не отчизна —
Лишь повод в бег сорваться.
Хорошая и справедливая сначала.
Потом летит сама как снежный ком.
Ненависть. Ненависть.
Лицо её искажено гримасой
Любовного экстаза.

Ах, все эти иные чувства —
Вялые и тщедушные.
С чего бы их братство
Рассчитывать могло на толпу?
Когда, к примеру, состраданье
Первым приходило к финишу?
Сколько охотников сомнение увлечь
могло за собой?
Увлечь может только она, которая
знает себе цену.

Способная, понятливая, очень
трудолюбивая.
Разве нужно рассказывать, сколько
сложила песен.
Сколько пронумеровала истории
страниц.
Сколько ковров из людей
порасстелила
На сколько площадях, стадионах.

Без обмана:
Может творить красоту.
Великолепны её зарева тёмной
ночью.

Jest mistrzynią kontrastu
między łoskotem a ciszą,
między czerwoną krwią a białym
śniegiem.
A nade wszystko nigdy jej nie nudzi
motyw schludnego oprawcy
nad splugawioną ofiarą.

Do nowych zadań w każdej chwili
gotowa.
Jeżeli musi poczekać, poczeka.
Mówią, że ślepa. Ślepa?
Ma bystre oczy snajpera
i śmiało patrzy w przyszłość
– ona jedna.

Chwila (2002) Chmury

Z opisywaniem chmur
musiałabym się bardzo śpieszyć –
już po ułamku chwili
przestają być te, zaczynają być inne.

Ich właściwością jest
nie powtarzać się nigdy
w kształtach, odcieniach, pozach i
układzie.

Nie obciążone pamięcią o niczym,
unoszą się bez trudu nad faktami.

Jacy tam z nich świadkowie
czegokolwiek –
natychmiast rozwiewają się na
wszystkie strony.

Дивные взрывов клубы в розовом
свете.
Трудно отказать развалинам в пафосе
И грубоватом юморе
Крепко торчащей над ними колонне.

Она мастерица контраста
Между грохотом и тишиной,
Меж красной кровью и снегом
белым.
И никогда не надоест ей над всеми
звучащая
Тема опрятного палача
Над опоганенной жертвой.

В каждый момент к испытаниям
новым готова.
Если нужно подождать, подождёт.
Говорят, что слепая. Слепая?
Имеет снайпера глаза
И смотрит ими в будущее смело
— она одна.

Облака

С описанием облаков
Необходимо спешить —
Уже на излёте мгновенья
Закончится одно, и наступит другое.

Их особенность —
Не повторять никогда
Очертаний, цветов, композиций и
поз.

Не несут воспоминаний ни о чём,
Без труда проносятся над фактами.

И какие там из них свидетели чего-
нибудь —
На все стороны развеются
немедленно.

W porównaniu z chmurami
życie wydaje się ugruntowane,
omal że trwałe i prawie że wieczne.

Przy chmurach
nawet kamień wygląda jak brat,
na którym można polegać,
a one, cóż, dalekie i płocze kuzynki.

Niech sobie ludzie będą, jeśli chcą,
a potem po kolei każde z nich umiera,
im, chmurom nic do tego
wszystkiego
bardzo dziwnego.

Nad całym Twoim życiem
i moim, jeszcze nie całym,
paradują w przepychu jak paradowały.

Nie mają obowiązku razem z nami
ginać.
Nie muszą być widziane, żeby płynąć.

Milczenie roślin

Jednostronna znajomość między mną a
wami
rozwija się nie najgorzej.

Wiem co listek, co płatek, kłos, szyszka,
łodyga,
i co się z wami dzieje w kwietniu, a co
w grudniu.

Chociaż moja ciekawość jest bez
wzajemności,
nad niektórymi schylam się specjalnie,
a ku niektórym z was zadzieram głowę.

По сравнению с облаками
Наша жизнь такая прочная,
Основательная и такая вечная.

Возле облака
Даже камень выглядит как брат,
Положиться можно на которого.
Облака же — легкомысленная
дальняя родня.

Пусть себе люди будут, если хотят,
А потом по очереди каждый из них
умрёт,
Им, тучам ничего до этого
Всякого
Очень странного.

Над целой жизнью Твоей,
И моей, не целой ещё,
Щеголяют в роскоши, как щеголяли.

Не имеют обязательств сгинуть
вместе с нами.
Не должны быть видимыми, чтобы
плыть.

Молчание растений

Одностороннее знакомство между
мною и вами
Развивается не плохо.

Я знаю каждый листик, каждый
лепесток и колос, шишку, стебель,
Что с вами станется в апреле, что
будет в декабре.

Хотя мой интерес и не взаимен,
Над кем-то специально наклоняюсь,
К другим тянусь, вытягивая шею.

Вы у меня имеете названия:
Печёночница, клён, репейник,

Macie u mnie imiona:
klon, łopian, przylaszczka,
wrzos, jałowiec, jemiоła,
niezapominajka,
a ja u was żadnego.

Podróż nasza jest wspólna.
W czasie wspólnych podróży rozmawia
się przecież,
wymienia się uwagi choćby o pogodzie,
albo o stacjach mijanych w rozpędzie.

Nie brakłoby tematów, bo łączy nas
wiele.
Ta sama gwiazda trzyma nas w zasięgu.
Rzucamy cienie na tych samych
prawach.
Próbujemy coś wiedzieć, każde na swój
sposób,
a to, czego nic wiemy, to też
podobieństwo.

Objaśnię jak potrafię, tylko zapytajcie:
co to takiego oglądać oczami,
po co serce mi bije
i czemu moje ciało nie zakorzenione.

Ale jak odpowiadać na niestawiane
pytania,
jeśli w dodatku jest się kimś
tak bardzo dla was nikim.

Porośla, zagajniki, łąki i szuwary –
wszystko, co do was mówię, to
monolog,
i nie wy go słuchacie.

Rozmowa z wami konieczna jest i
niemożliwa.

Pilna w życiu pośpiesznym
i odłożona na nigdy.

Омела, вереск, можжевельник,
незабудка,
А я у вас никто.

Мы вместе путешествуем.
В совместном путешествии
разговоримся,
И даже о погоде мнение своё друг
другу сообщим
Или о станциях, что промелькнули
мимо.

И бесконечность тем, что нас
объединяет.
Звезда одна и та же нас держит пред
собою.
Имеем право одинаковое на
отбрасыванье тени.
Пробуем что-то увидеть, каждый
своим манером,
А если чего-то не знаем, то тоже
подобно друг другу.

Обьясню, как смогу, только спросите:
Что это такое — смотреть глазами,
Почему моё сердце бьётся,
Почему моё тело не имеет корней.

Но как ответить на незаданный
вопрос,
Ещё вдобавок и кому-то,
Кто очень сильно
для вас никто.

Заросли, рощи, луга, камыши —
Всё что вам говорю — это мой
монолог,
И его вы не слышите.

Разговор с вами нужен и невозможен.
Незамедлителен в жизни поспешно,
Но всё же отложен до никогда.

Okropny sen poety

Wyobraź sobie, co mi się przyśniło.
Z pozoru wszystko zupełnie jak u nas.
Grunt pod stopami, woda, ogień,
powietrze,
pion, poziom, trójkąt, koło,
strona lewa i prawa.
Pogody znośne, krajobrazy niezłe
i sporo istot obdarzonych mową.
Jednak ich mowa inna niż na Ziemi.

W zdaniach panuje tryb bezwarunkowy.
Nazwy do rzeczy przylegają ściśle.
Nic dodać, ująć, zmienić i przemieścić.

Czas zawsze taki, jaki na zegarze.
Przeszły i przyszły mają zakres wąski.
Dla wspomnień pojedyncza miniona
sekunda,
dla przewidywań druga,
która się właśnie zaczyna.

Słów ile trzeba. Nigdy o jedno za dużo,
a to oznacza, że nie ma poezji
i nie ma filozofii, i nie ma religii.
Tego typu swawole nie wchodzi tam w
grę.

Niczego, co by dało się tylko pomyśleć
albo zobaczyć zamkniętymi oczami.

Jeśli szukać, to tego, co wyraźnie obok.
Jeśli pytać, to o to, na co jest
odpowiedź.
Bardzo by się zdziwili,
gdyby umieli się dziwić,
że istnieją gdzieś jakieś powody
zdziwienia.

Hasło „niepokój”, uznane przez nich za
sprośne,
nie miałyby odwagi znaleźć się w
słowniku.

Ужасный сон поэта

Вообрази себе, что мне приснилось.
Всё было совершенно как у нас.
Земля у ног, вода, огонь и воздух,
Отвес и уровень, круг, треугольник,
Лево, право.
Погода сносная и неплохой пейзаж,
И множество существ способных
говорить.
Однако речи их на наши не похожи.

Их предложеньем правит наклоненье
безусловное.

И в строгом соответствии названия
вещей.

Ничто нельзя ни взять, ни дать, не
изменить, не переставить.

И время всюду как в часах.

Прошлое с будущим ограничены
строго.

Воспоминанию минувшего —
секунда,

Предвиденью — другая,

Которой только начался отсчёт.

Слов, сколько требуется, и нет
такого, чтоб одно пошло за многих,
А это значит — нет поэзии,
Нет философии и нет религии.
Такого типа шалости не приняты в
игре.

И ничего такого, что придумать
можно

Или с закрытыми глазами увидеть.

Если искать то то, что точно рядом.
Если спросить то только то, на что
готов ответ.

Они бы были в удивленье сильным,
Когда б умели удивляться,
Узнай, что есть причина удивленья.

Świat przedstawia się jasno
nawet w głębokiej ciemności.
Udziela się każdemu po dostępnej cenie.
Przed odejściem od kasy nikt nie żąda
reszty.

Z uczuć – zadowolenie. I żadnych
nawiasów.
Życie z kropką u nogi. I warkot
galaktyk.

Przyznaj, że nic gorszego
nie może się zdarzyć poecie.
A potem nic lepszego,
jak prędko się zbudzić.

Wystarczy (2011). Są tacy, którzy

Są tacy, którzy sprawniej wykonują
życie.
Mają w sobie i wokół siebie porządek.
Na wszystko sposób i słuszną
odповідź.

Odgadują od razu kto kogo, kto z kim,
w jakim celu, którądy.

Przybijają pieczętki do jedynych prawd,
wrzucają do niszczarek fakty
niepotrzebne,
a osoby nieznanne
do z góry przeznaczonych im
segregatorów.

Призыв «тревога!» признан
непристойным,
И мужества не хватит, искать его в
словаре.

Свет представляется ясно
Даже во тьме глубокой.
Всё каждому доступно по цене.
И сдачу никто не требует, от кассы
уходя.

Чувство — удовлетворенья. Без
всяких скобок.
Жизнь с точкой в ногу. И тархтение
галактик.

Признай, ничего нет хуже,
Что может стрястись с поэтом.
И тут ничего нет лучше,
Чем вовремя пробудиться.

Есть те, которые

Есть те, которые идут по жизни
чётче.
Имеют и в себе, и около себя
порядок.
На всё — решение и правильный
ответ.

Угадывают сразу: кто кого, кто с кем,
В которой клетке и каким путём.

Печать поставившие на единственные
правды,
В уничтожитель факты бросят
лишние,
А неизвестных лиц
В назначенный им сверху
скоросшиватель.

Myślą tyle, co warto,
ani chwilę dłużej,
bo za tą chwilą czai się wątpliwość.

A kiedy z bytu dostaną zwolnienie,
opuszczają placówkę
wskazanymi drzwiami.

Czasami im zazdroścę
– na szczęście to mija.

Думают столько, сколько стоит того
Или немножко дольше,
Поскольку за этим мгновением
таится сомнение.

А когда получают отставку,
То уходят с поста
Указанной дверью.

Временами исполнено завистью к
ним
— самоуважение.

Содержание

От составителя (О. В. Матвиенко)	4
Слово о конкурсе (К. С. Корконосенко)	5
МАТЕРИАЛЫ КОНКУРСА НАЧИНАЮЩИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ ИМЕНИ Э. Л. ЛИНЕЦКОЙ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2016, 2020)	7
ПЕРЕВОДЫ С АНГЛИЙСКОГО	8
АНГЛИЙСКАЯ ПРОЗА	9
<i>James Joyce (1882–1941). Araby</i>	9
<i>Джеймс Джойс (1882–1941). Аравия.</i> Переводы М. Верещука, Н. Плюснина	
<i>Liam O'Flaherty. The Wave.</i>	22
<i>Лайам О'Флаэрти. Волна.</i> Переводы Ю. Котляра, М. Белоголовского, Д. Мочаловой, О. Матвиенко	
АНГЛИЙСКАЯ ПОЭЗИЯ	32
<i>Wystan Hugh Auden. Who's Who</i>	32
<i>Уистен Хью Одэн. Кто есть кто.</i> Перевод А. Шабашова	
<i>Dante Gabriel Rossetti. The Honeysuckle</i>	33
<i>Данте Габриэль Россетти. Жимолость.</i> Переводы А. Кувшиновой, В. Соломахиной, В. Курьянова, О. Комаровой, О. Матвиенко	
ПЕРЕВОДЫ С НЕМЕЦКОГО	35
НЕМЕЦКАЯ ПРОЗА	36
<i>Klabund (1890–1928). Aus dem «Kriegsbuch» (1921). Der Flieger. Die Schlachtreihe</i>	36
<i>Клабунд (1890–1928). Из «Книги войны» (1921). Летчик. Побоище.</i> Перевод С. Субботенко.	
<i>Peter Bichsel (geb. 1935). Aus: «Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen», 1964. Der Milchmann. Петер Биксель (род. 1935). Из сборника: «В общем-то, фрау Блум не прочь познакомиться с молочником», 1964. Молочник.</i> Переводы К. Ивановой, О. Матвиенко	39
НЕМЕЦКАЯ ПОЭЗИЯ	43
<i>Klabund (1890–1928). Die Ballade von den Hofsängern</i>	43
<i>Клабунд (1890–1928). Баллада бродячих певцов.</i> Перевод И. Есиповой.	
<i>Клабунд. Баллада уличных певцов.</i> Перевод О. Матвиенко	
<i>Erich Kästner (1899–1974). Из сборника: «Lärm im Spiegel», 1963. Sachliche Romanze</i>	45
<i>Эрих Кестнер. Но так и бывает порой.</i> Перевод А. Степанова. <i>Эрих Кестнер.</i> Деловитый романс (из сб. «Шум в зеркале», 1963). Перевод О. Матвиенко	

ПЕРЕВОДЫ С ФРАНЦУЗСКОГО	48
ФРАНЦУЗСКАЯ ПРОЗА	49
<i>Mme DE SÉVIGNÉ (1626–1696). De Mme DE SÉVIGNÉ A Mme DE GRIGNAN. A Livry, mardi saint 24 mars 1671.</i>	49
<i>Мадам ДЕ СЕВИНЬЕ (1626–1696). Мадам ДЕ ГРИНЬЯН от мадам ДЕ СЕВИНЬЕ. Ливри, Великий вторник, 24 марта 1671 г. Перевод Н. Янкелович. От мадам де Севинье — к мадам де Гриньян. Ливри, вторник Страстной недели, 24 марта 1671 г.</i> Перевод А. Гладошук	
<i>Christian Gailly. L'Incident. Кристиан Гэйлли. Падение.</i> Перевод О. Щербаковой.	51
<i>Кристиан Гайи. Случай.</i> Перевод И. Солнцевой.	
<i>Кристиан Гайи. Происшествие.</i> Перевод Д. Мищенко	
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЭЗИЯ	58
<i>Théophile de Viau (1590–1626). Ode.</i>	58
<i>Теофиль де Вио. Ода.</i> Перевод Н. Марянина	
<i>Marc-Antoine Girard Saint-Amant. La Pipe (1649)</i>	59
<i>Марк-Антуан Жирар Сент-Аман. Трубка (1649).</i> Переводы О. Матвиенко, Б. Ломакина, В. Бирчиковой, А. Пешехонова	
ПЕРЕВОДЫ С ИСПАНСКОГО	63
ИСПАНСКАЯ ПРОЗА	64
<i>Miguel de Unamuno (1864–1936). La Sima del Secreto</i>	64
<i>Мигель де Унамуно (1864–1936). Тайнственная бездна.</i> Перевод С. Ширяевской.	
<i>Мигель де Унамуно (1864–1936). Бездна, таящая секреты.</i> Перевод Э. Соболевой	
<i>Antonio Machado (1875–1939, España). Juan de Mairena. (Sobre una filosofía cristiana)</i>	67
<i>Антонио Мачадо (1875–1939, Испания). Хуан де Майрена. (О христианской философии).</i> Перевод Е. Щербаковой	
ИСПАНСКАЯ ПОЭЗИЯ	69
<i>José Moreno Villa (1887–1955). Soneto Final</i>	69
<i>Хосе Морено Вилья (1887–1955). Заключительный сонет.</i> Перевод М. Медвинской. <i>Хосе Морено Вилья (1887–1955). Последний сонет.</i> Перевод И. Черновой.	
<i>Miguel de Cervantes Saavedra. Don Quijote. Tomo I. Capitulo XXXIII</i>	70
<i>Мигель де Сервантес Сааведра. Дон Кихот. Том I. Глава XXXIII.</i>	

Rafael Alberti. A la Gracia. Рафаэль Альберти. Грация. Переводы Оли Прощёной (О. Екшибаровой) 71

Cesar Vallejo (1892–1938, Perú). El Tálamo Eterno. Сесар Вальехо (1892–1938, Перу). Вечное ложе. Перевод Б. Ковалева. *На брачном ложе вечности.* Перевод О. Комаровой. *Вечное брачное ложе.* Перевод В. Соломахиной

ПЕРЕВОДЫ С ИТАЛЬЯНСКОГО 74

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПРОЗА 75

Giovanni Verga (1840–1922). Il Tramonto di Venere. Джованни Верга (1840–1922). Закат Венеры. Перевод А. Субботиной 75

Vittorio Alfieri (1749–1803) «Del principe e delle lettere» (1786). Alle ombre degli antichi liberi scrittori. Витторио Альфиери. К душам древних свободных поэтов. Перевод Е. Пантелеевой. *Витторио Альфиери.* К призракам свободных писателей древности. Перевод В. Сычевой. *Витторио Альфиери.* Отрывок из трактата «О государе и о литературе» (1786). Под сенью свободных писателей античности. Перевод Д. Войницкого 86

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ 90

Ugo Foscolo. Dei Sepolcri. А Ippolito Pindemonte. Carme (1807). Уго Фосколо. Гробницы. Ипполиту Пиндемонте (1807). Перевод А.О. Демина 90

Gaetano Rossi. Semiramide. Гаэтано Росси. Семирамида (фрагмент). Перевод Е. Арабаджи. *Отрывок из музыкальной драмы Г. Росси (1774–1855) «Семирамида» (1823), положенной в основу одноименной оперы Дж. Россини.* Перевод О. Комаровой. *Гаэтано Росси.* Семирамида (отрывок либретто). *Второй акт. Дуэт Семирамиды и Арзаце (фрагмент), начинается как любовная сцена, завершается счастливым взаимным узнаванием матери и сына.* Перевод О. Матвиенко 91

ПЕРЕВОДЫ С ВЕНГЕРСКОГО 93

ВЕНГЕРСКАЯ ПРОЗА 94

Bartók Imre. Jerikó épül (részlet). Имре Барток. Строится Иерихон (фрагмент). Перевод А. Алиповой. *Имре Барток.* Стройся, Иерихон! (отрывок). Перевод Е. Капитохиной 94

ВЕНГЕРСКАЯ ПОЭЗИЯ 100

Tóth Krisztina. Kelet-európai triptichon. Кристина Том. Восточноевропейский триптих. Переводы В. Кузьминой, Е. Капитохиной 100

ПЕРЕВОДЫ С КИТАЙСКОГО	103
КИТАЙСКАЯ ПРОЗА	104
刘醒龙 《蟠虺》 (节选) Лю Синлун. Змеиный узор (отрывок). Переводы А. Храмцовой, Е. Нечаевой	104
КИТАЙСКАЯ ПОЭЗИЯ	112
徐志摩. 再别康桥. Сюй Чжимо. Прощание с Кембриджем. Перевод Н. Марянина	112
陈敬容. 《珠和觅珠人》. Чэнь Цзинжун. Жемчужина и ловец. Перевод Ю. Каретниковой. Чэнь Цзинжун. Жемчужина и искатель. Перевод Ю. Кокоры	114
Опыт художественного перевода в Донбассе	117
Секвенции Пасхального цикла в «Прозарии» Монастыря Св. Марциала в Лиможе. Перевод с латинского и комментарии Е.Вишневской	118
Jane Austen. Jack and Alice (A Novel). Part 2. Джейн Остин. Джек и Элис. Перевод А. Исаевой	122
Jack Delany. The Case of The Lower Case Letter. Джек Делани. Дело о маленьких буквах. Перевод Я. Смирнова	143
Jean Portante. Un Monde Immonde, Le Jeudi, Luxembourg. Жан Портант. Полный мир (газета «Jeudi», Люксембург). Перевод А.В. Поповой	147
Verdandy Isenstein. Dreimal. Ферданди Изенинтайн. Три раза. Перевод В. Матвиенко	149
В переводческой мастерской	152
Из переводов Ольги Комаровой. Ernest Hemingway. Pursuit as Happiness. Эрнест Хемингуэй. Погоня как счастье. Vicini (tratto da Paolo Cognetti «Il ragazzo selvatico. Quaderno di montagna»). Соседи (глава из повести Паоло Коньетти «Дикарь. Записки горца»)	153
Из переводов Игоря Волокитина. Поэзия Виславы Шимборской (перевод с польского)	183

Литературно-художественное издание

Отражения. Выпуск 11.

Первые опыты художественного перевода

Редакторы и составители: К. С. Корконосенко, О. В. Матвиенко

Иллюстрации: В. В. Бондаренко